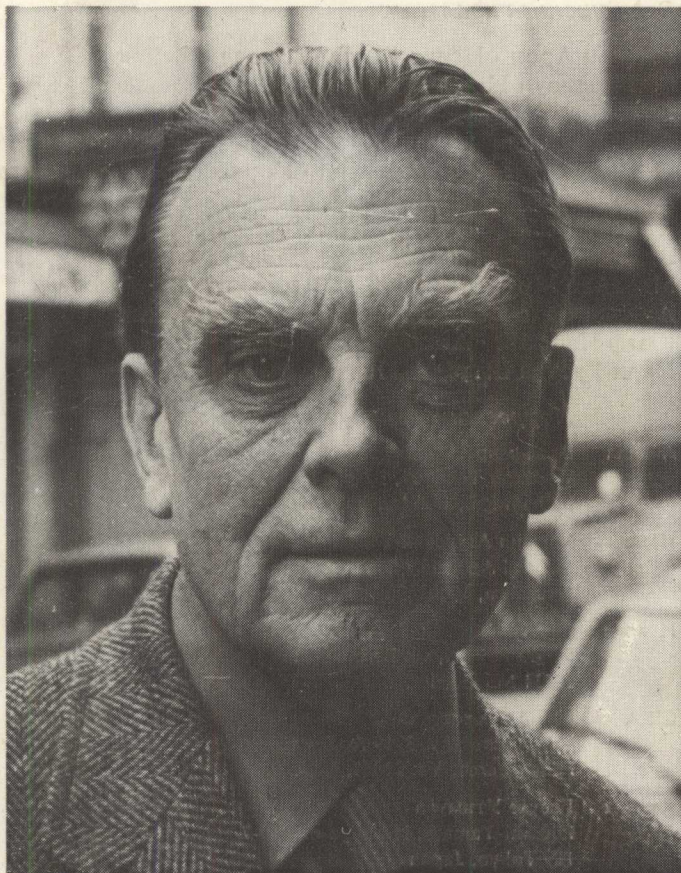


КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Чеслав Милош — Нобелевский лауреат 1980 года

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6

Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia

США Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

26

Издательство «Континент»
1980

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский — Эклога IV-я (зимняя). Стихи	7
<i>К тысячелетию крещения Руси</i>	
Геннадий Русский — Клейма. К иконам северорусских святых	15
Хелла Фришер — Листки. Стихи. Перевод с немецкого Феликса Розинера	61
Юрий Гальперин — Три рассказа	69
Герман Плисецкий — Стихи разных лет	94
Владимир Маразмзин — Начальник. Повесть	100
Наталья Горбаневская — Из стихов 1979-1980 гг.	139
Арман Малумян — Лагерные притчи	149
Вадим Делоне — «Нет меня, я покинул Россию...»	167
Инна Лиснянская — Стихотворения	174
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Эдуард Кузнецов — Статус советского политзаключенного	187
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Анджей Дравич — Зарубежная Россия	207
ЗАПАД — ВОСТОК	
Герберт Кремп — Китайская оттепель	231
Жан-Пьер Руссо — Финляндизация совести	253
НАУКА	
Д. С. — Заметки о биографическом словаре математиков	257
ЭКОНОМИКА	
Стефан Куровский — Доктринальная обусловленность нынешнего экономического кризиса в ПНР	273
СПОРТ И ПОЛИТИКА	
Эммануил Штейн — Шахматные носороги	299
ИСТОКИ	
Михаил Володарский — Игра в кошки-мышки. (К шестидесятилетию советско-иранских отношений)	311
ФИЛОСОФИЯ	
Вацлав Белоградски — Три ключевые темы диссидентства	323

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Интервью с Виктором С п а р р е	334
ИСКУССТВО	
Кира Са п г и р — «Муравьиный лев». (Размышления у картины Ильи Глазунова)	345
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Борис За к с — Немного о Гроссмане	352
НАША ПОЧТА	364
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	371
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Татьяна Го р и ч е в а — Поиски истины в предрассвет- ном сумраке	373
Н. Д ю ж е в а — «Как раскачана волна...»	377
В. Ка га н — Интеллигент в стране ээ-ка	380
Ма р р а н — Русские манихейцы	385
Владимир Фи л а н д р о в — Как солотчинский перелесок...	398
В. Бе та ки — В мире молний	404
КОРОТКО О КНИГАХ	411
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	
Юрий Ми л о с л а в с к и й — О журнале «22»	415
Вадим Не ча е в — Голоса русских женщин	426
НАША АНКЕТА	
Разговор с Чеславом Ми л о ш е м	433

Иосиф Бродский

ЭКЛОГА IV-я (ЗИМНЯЯ)

*«Ultima Cumaei venti iam carminis aetas;
magnus ab integro saeculorum nascitur ordo...»*

Virgil, Eclogue IV

I

Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.
Сухая, сгущенная форма света —
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами
оставляют следы. Ночь входит в город, будто
в детскую: застает ребенка под одеялом;
и перо скрипит, как чужие сани.

II

Жизнь моя затянулась. В речитативе выюги
обострившийся слух различает невольно тему
оледенения. Всякое «во-саду-ли»
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».

Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,
и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, на застав радиста.

III

В феврале лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,
лютей самого металла — дабы
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,
точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить климат

или пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,
— мир, не слышавший о лондонах и парижках,
мир, где рассеянный свет — генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило

одиночество. Но, как у бюста в нише,
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.
Там, где роятся сны, за пределом зренья,
время, упавшее сильно ниже
нуля, обжигает наш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое как ослица,
стоит оно между нами, поднявши ворот,
как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимою на самом деле
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
свет уже выключили или еще не включили?

Газеты могут печататься раз в неделю.
Время глядится в зеркало, как певица,
позабывшая, что́ это — «Тоска» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
Ход конем лоскутное одеяло
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
Чем больше лютует пурга над кровлей,
тем жарче требует идеала
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек
в тесном ущелье, мушиный куколь
между стеной и торцом буфета:
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь
тлеет в серой золе рассвета.

VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.
Населенье сдается, не сняв треуха.
Города — особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна
выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.
Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звёзды
как разбитый термометр: каждый квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.
Днем, когда небо подстать известке,
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горé, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.

X

Я не способен к жизни в других широтах.
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.
Слава голой березе, колючей ели,
лампочке желтой в пустых воротах,
— слава всему, что приводит в движенье ветер!
В зрелом возрасте это — вариант колыбели,

Север — честная вещь. Ибо одно и то же
он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный голос;
в затянувшейся жизни — разными голосами.
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,
напоминая забравшемуся на полюс
о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.
В космосе самый глубокий выдох
не гарантирует вдоха, уход — возврата.
Время есть мясо немой Вселенной.
Там ничего не тикает. Даже выпав
из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —
точно «чижика» где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого
города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.

XIII

В определенном возрасте время года совпадает с судьбой. Их роман недолог, но в такие дни вы чувствуете: вы правы. В эту пору неважно, что вам чего-то не досталось; и рядовой фенолог может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстаёт от жеста. Треугольник больше не пылкая теорема: все углы затянула плотная наутина, пыль. В разговорах о смерти место играет все большую роль, чем время, и слюна, как полтина,

XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже скованы льдом; можно надеть рейтузы, прикрутить к ботинку железный полоз. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха. И голос Музы звучит как сдержанный, частный голос.

Так родится эклога. Взамен светила загорается лампа: кириллица, грешным делом, разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, знает больше, чем та сивилла, о грядущем. О том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

К тысячелетию крещения Руси

Геннадий Русский

КЛЕЙМА

К иконам северорусских святых

И СОТВОРИ ОБИТЕЛЬ

Глухим еловым суземом, звериными тропами, с пестерем за плечами, с посохом в руке пробирался пустынный. Лесная глухомань сдавила его, скрыла сияние солнца и глухое небо, облапила чашбой, цепляла колючими ветками, загораживала путь буреломом. Гниль и зеленый мох были под ногами, черные тучи гнуса висели над головой, гудели и зло жарили. Не ведал он, где исход блужданиям. День за днем шел он от зари до зари, вкушая сухую корку из скудного своего запаса да собирая ягоды. К ночи останавливался, где приходилось, разводил огонек, коли мог, а утром, помолившись, шел туда, где вставало солнце. Тесен, мрачен, молчалив был сузем, и птицы тут не пели, еще горше были тут мшары. Унылы были просторы желтых мхов, поросших мелкими сосенками, караулила в них гиблая топь, зыбились кочки под ногами, не раз проваливался он в трясину, но милостью Божьей оставался невредим. Суземы и мхи запутали его, ни ручейка не было в неприглядной низменной местности, пил он в лягах гнилую воду. Уходил он, и силы слабели, спотыкался и падал, но, укрепившись молитвой, продолжал путь.

Свежим светлым утром слышался ему звонкий птичий посвист и поманил надеждой. И радостной

Главы из книги. Продолжение публикации. Начало — в «Континенте» № 22.

радостью взыграло сердце, когда увидел он в просвете деревьев блеснувшую серебристую струйку. Маленькая речка бежала по камушкам с веселым шумом. Взмолвленный, пустынный встал на колени у воды, перекрестился, зачерпнул горстью воду, сладко напился. Присел на поваленное дерево, достал из пестеря корочку — последнюю, омочил в воде, неспешно вкушал, радуясь, что Господь не оставил его, привел к ключам водным. Векша соскочила с ели на поваленное дерево, цокала, вертела рыжим хвостом, сверкала бусинками глаз, удивлялась на пришельца. Пустынный отломил кусочек, кинул белке. Та отскочила, поцокала, осмелела, схватила корочку и стала грызть. Пролетели утицы над речкой, летели вверх. Сверху доносился птичий гомон, играла там водяная птица. Возблагодарил Господа пустынный, что через пернатую тварь указал дорогу: поначалу он хотел направиться по течению, а теперь знал, что идти ему встречь, и там, где гомонит птица, быть озеру.

И новой радостью взыграло сердце — увидел он в этом Промысел, чаял, что там конец пути, там место обетованное. Нетерпеливо поднялся он в путь. Векша зацокала ему вслед. Легким шагом спешил он вперед. Лес расступился, речка завиляла в сухом кустарнике, птичий гомон стал совсем близко. Сухая ломкая треста, выше человеческого роста, скрыла пустынного, и не сразу вышел он на открытое место. За болотиной местность повышалась, и на угоре дружной купой стояли медностволенные сосны. Пустынный взошел на угор.

Перед ним во всю ширь открылось желанное озеро. Сияние водной глади слепило взор. Дальний берег скрывался в голубой утренней дымке. Озеро лежало в низменных берегах и только там, куда вышел пустынный, берег возвышался, и на нем божьими свечами тянулись к небу сосны, благоухая ладанным ароматом. Мнилось: через тяготы и блуждания Госпо-

день Промысел вывел его. Сие место уготовано ему Господом!

Велик, долог и тяжел был его путь до места сего. Был Андрей уроженцем северной земли, с великой реки Двины. В юности мечталось ему повидать белый свет и, когда умерли родители его, отправился в великий Новеград. Служил он у знатного господина, оженился, народил детей. Но нашло моровое поветрие, унесло все его семейство и господина его. И понял он, что Промысел заставляет его послужить иному Господину. Пошел он в славный Юрьев монастырь, да не приняли там бывшего холопа. Говорили же богомольные люди, что истинное благочестие не за каменными стенами, а в лесах полуночных, в кельях пустынных, области дышущаго моря-океана. Не прост туда путь и не одолеть пешему: побьют лихие люди, растерзают дикие звери, сгубит голод и холод. Пристал он к торговым людям, направлявшимся в земли заволочьские, без платы работал им в пути. Прошли они свирепое Онего, порожистую речку Водлу, Водл-озеро, через волоки вышли на Кен-озеро и по Кене-реке к быстротекущей темноводной Онеге. Здесь поплыли торговые люди на устругах вниз, а он остался на Кене-реке в пустыне старца Пахомия.

Древен старец был Пахомий Кенорецкий, бел, высок, сух. Строг был старец и беспокоен: дни проводил в работах, ночи в молитве, пищи вкушал малую толику и столь же сурово жили с ним шестеро его иноков. Не хотел он принимать пришельца, несколько дней не замечал, не разговаривал. Решился он и бросился старцу в ноги. «Чего тебе, неразумный?» — строго выговорил старец. «Постричься хочу, отче!» — «Отъиди», — рек старец и отвернулся. «Ни, отче, не уйду!» — вскричал он. «Восстань, неразумный. Что тебе в житии иноческом?» — «Спасения чаю, отче!» — «Сие не каждый вместит. Тягче жернова иноческий

подвиг. Воззри на ся». С этими словами подвел его старец к берегу реки и заставил наклониться над водой. «Таков ты есмь», — рек старец, указав на его отражение в воде. «А таков станешь» — продолжал и слегка шевельнул рукой воду — и исказилось, вытянулось, изрыбилось отражение. «Внимай словесам моим. Скорбно место сие, несть нам радостей земных, ни питания, ни ядения, ни иных утех, дни проводим на работе, сечем лес, пашем нивы, влачим жизнь гладкую, умываемся слезьми, а помрешь от столь скорбного жития, бросим твое тело на растерзание лешим зверям и птицам». — «Не утрашусь, отче!» — «В последний раз глаголю: одумайся, неразумный!» — «Ни, отче!» И тогда старец размахнулся и больно ударил по ланите. Но выдержал и это испытание и, подставив другую щеку, рек: «Так, отче!» И тогда старец со слезами облобызал его.

И пробыл он в послушниках год и был пострижен в иноки под именем Антония. Правду молвил старец, тяжка была жизнь иноческая, тяжче самой тяжелой работы, но не дрогнул он и не уклонился с пути, не дрогнул и когда зимой стало нечего есть и питались сосновой мукой и роптали иные братья и преставилось двое от глада. Пять лет пробыл он в Пахомиевой обители. Упрочивалось благоденствие монастырское. Пришла на монастырь грамота великого московского князя, жалующая обитель окрестными деревнями, пашенными землями и рыбными тонями. Умножилось число братии и построилась церковь древяна во имя Святой Троицы. А Антоний затосковал, поминал он дни, когда не стяжали монахи земного, в посте и трудах жили пустынно. Имел он некий дар, переданный ему родителем — иконное художество, но не дерзал, пока не задал старец урока, а по исполнении благословил писать образа для новой церкви. Кончена бысть та работа к празднику Святой Троицы, к освящению храма, а сам он удостоен сана иерейско-

го. Но тоска томила его и тянуло в отлеглие земли, на светлые озера, на места пустынные. И неведомый глас внушал ему во сне и в яви: «Иди и сотвори обитель!»

Шел он к старцу Пахомию и просил благословения. Вовсе ветох стал старец, как живой мертвец, лицо что кожа дубленая, глаза выцветшие, но разум не угасший. Благословил его старец, тихо молвил: «Нарек аз тя именем Антония, перевозжидателя иноческого. Уповаю на тя. Иди и сотвори обитель». Плакал Антоний, видя, что недолги дни старца, плакал, расставаясь с милой обителью, но духом был крепок и в подвиге неустрашим. Путь его лежал через Ямецкую пустынь на Онеге-реке у великих порогов синегорских. Радостно приняли его братия пустыньки, и написал он им образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, но не остался с ними, хотя и просили его. Обрел он двух братьев, взыскующих жизни пустынной, и с ними ушел искать светлого озера, места уединенного...

Пустынник раскрыл пестерь. Немногая была его поклажа. Горсть муки в тряпице, щепотка соли, медвян котелок, трут с огнивом, топор, рыболовная снасть — леса и крючки, живописный снаряд — кисти да краски в тусеске, и, превыше всех богатств — образ Пречистого Спаса, вынесенный из Великого Новгорода. Его достал он, укрепил на дереве и помолился усердно, умиленным взором глядя на икону — отражение Божества и на весь сияющий мир — Его творение. Помолившись, начал он раздумывать, где поставить Крест Господень, а где срубить келейку. Любовався он сосновым бором и жалел тронуть — так стройно в купе стояли сосны — жаль было нарушать Божью красу, но и его дело тоже было Божье. Походил он меж деревьев, поударил по стволам обушком — гулко звенело спелое дерево — но ни единого не решился коснуться острием.

Зной в сосновой роще сморил его. Пустынник лег на мягкий белый мох, закрыл глаза, а перед умственным взором вставали суземы и мшары, светлое озеро и сосновая грива. Кончились его блуждания, дошел он до места и мог тут, по греховной слабости немощной плоти человеческой, отдохнуть недолго перед долгим трудом. Молил он, чтобы сон его был тонок и дал ему, недостойному, Господь знак указующий. И представало взору светлое озеро...

...Светлое озеро виднеется сквозь сосны. Валит он спелые деревья, отесывает бревна, ставит часовню и келию, а с ним два брата-содруга. Бысть пустыня во имя Святой и Единочальной Троицы... Весело смотрится пустынька своими золотистыми срубами в зеркале водном... О Петров день благодать летняя, застыла вода серебром... О Устинов день золотится нива на склоне, золотятся леса... О Воздвиженье тучи поползут низкие, серые, озеро взлохматилось, белые мухи мелькают... О Покров берега побелели, озеро черно, курится туман над водой... О Введении озеро обратилось в белую поляну, снега все гуще, заваливают жилье... О Николин день очажок дымит, зябко, в лесу стонут деревья от мороза... О Рождество Христово зима глухая, чадно в келии, лучина потрескивает, один читает по книге, двое вяжут сеть — в пустыне без рукоделия нельзя... О Богоявление солнце одним глазком заглянуло в келейное оконце, а лютует зима... О Сретенье закапало с островерхой крыши, наст встал, везде дорога... О Благовещенье забормотали ручейки, днем шумят, к ночи стихают... О Светлое Воскресение Христово ожила земля, запели птички голоса... О Троицын день оделся лес зеленью...

Чередой за годом год, семь годов...

... «Пакость!» Стоят мужики с кольем, белы как мука лица братьев. «Не хотим в кабалу идти! Не даем вам места!» — «Изыдите, нечестивцы, из места сего святого! Дьявол омрачил ваши очи! На крест святой

воззрите!» Дюжий рябой малый, немой от рождения, мыча «Гы-гы!», размахивая колом, выскакивает вперед. Брат Михаил закрывает лицо руками...

...Попран Крест Господень, все разбито, разворочено, раскиданы бревна часовни и келейки. Плачет, причитает брат Михаил. «А мы уже думали, зашибли тебя... Нас били, так били! За что, Господи, Господи?!» — «Уходить надо, — говорит брат Осей. — Рухлядишко токмо сберем, рухлядишко не тронули, святотатцы...» — «Искали пустынного жития, обрели злобу людскую! За что, Господи!»

...«Ино место обрящем!» Горит огонек, отгоняет зверя и гнуса. Светла и тиха ночь северная. На Онегу вертаюсь, — насупившись говорит Осей. — Там обителей много. У обжитого места теплее!». — «И я с тобой! — спешно говорит Михаил. — А ты, отче?» «Лепше ми от дивьего зверя убиену бысть, нежели от Божьего дела отступиться!» — «О Господи, Господи!»

...И мелькают ветки сузема и нет конца пути, а надо идти, и нет сил двинуть ни рукой, ни ногой...

Очнулся он от забытья весь изломанный, не в силах шевельнуться, и не сразу вошли жизненные силы в утомленное тело. Солнце склонилось к заходу, жара спала и не так слепил блеск озера. Пустынник спустился к воде. Наклонился зачерпнуть горстью воду и увидел свое отражение — глянул на него изможденный лик, и ожил в памяти голос старца Пахомия: «А таким ты станешь!». Напился он и умылся и хотел было вернуться на гору, о еде и ночлеге позаботиться, как заметил вдруг, что не пустынно тут место. Недалеко в тресте стоял полузатопленный челн, а поодаль натыканы были вешала для сетей. Заметил он и кострище с белой золой. Недавно, зная, бывали здесь люди. И не безлюдно было озеро, как показалось сначала. Из протоки выплыл челнок с двумя людьми и направился в его сторону.

Пустынник подождал их. Челнок подплыл, раздвигая шуршащую тресту, были в нем мужик-средовек и мальчонка. Мужик вышел на берег с секирой в руке и нахмуренно глянул на пустынника.

— Откулева, чернец?

— Не ведаю, запутался я.

— Куда ладишься?

— Пришел я. Зде вселюся, — указал пустынник на горку.

— Жить здесь хочешь?

— Так, человече!

— Эй, Олька! — крикнул мужик мальчонке. — Бери-кось секиру, наруби дров, заведи огонь. — И он смаху, сердито вогнал секиру в сырую колоду.

Мужик стоял, нагнув крупную лохматую голову, исподлобья озирая пришельца.

— Что взираешь на мя лютым зверем? — удивился пустынник. — Впервой видимся. Чем досадил те? Инок есмь, зла никому не делаю.

— Не ты ль с Шелеховского озера?

— Так, человече.

— Сгонили тебя шелеховские?

— Бысть так попущением Божьим, напастью вражей.

— Теперь у нас хочешь жить?

— Так, человече.

Мужик медленно побрел на угор, угрюмо кивнув пустыннику, чтоб следовал за ним.

— Видишь, чернец, озеро? — показал мужик с угора.

— Зрю.

— Туда глянь. Там что?

Пустынник взгляделся вдаль. Разглядел он крышу избы, не углядел утром за маревом.

— Жилье.

— Деревенька моя, один дом, а там в поприще другая, а там пять поприщ — третья, дале сорок по-

прищ жилья нет, а там уже шелеховский куст. Тебе бы тропой идти, а ты через мох потащился. Дивлюсь еще, как цел остался...

— Куда клонишь, человече?

— Станешь ты у нас жить, поставишь келейку, будешь себе Богу молиться. Пока ты один, хорошо, ладно. Да вы, монахи, что тараканы, друг друга находите. Придут к тебе другие монахи, станет у вас монастырь, даст вам князь грамотку и припишет к вам нас всех с чадами и домочадцами, и озеро наше, и лядины, и пожни. Были мы вольные крестьяне, станем ваши рабы. Что, неправду говорю? В Пахомиевой пустыне не так стало, в Ямецкой не так ли? Не за то ль тебя шелеховские изгнали?

— На место сие привел мя Промысел Господень!
— пустынный взмахом руки обвел окрест.

— Укажет тебе Бог иное место. Иди дальше, ищи место нежилое.

— Неразумный, не ведаешь, что речешь. Можно ли послушаться воли Божьей? В Бога веруешь ли?

— Верую.

— О спасении души помышляешь ли?

— Осмеро душ на моей заботе, а кто накормит? Земля худая, родит скудно, одной рыбой живы, а поставится монастырь, последнее с нас отымут. Уходи, монах, ищи мест нежилых, там селись.

— Промысел Господень мя вел, а ты мя гонишь аки пса? Велик грех берешь на душу!

— Не возьму греха! Дам тебе рыбы и хлеба и соли на дорогу, ни в чем не обижу, в путь провожу, но и ты нас не обидь. Не кори меня грехом, грех тому, кто бедного обидит!

Монах коротко вздохнул.

— Бысть так, человече!

Он подошел к своему коробу, собрал его, вскинул на плечи.

— Ты стой, — нерешительно сказал мужик. — Ночь близко...

Монах, не оглядываясь, побрел с холма.

Мужик смотрел в его покорно согнутую под ношей спину, пока тот не скрылся в кустах.

— Олька! — заорал он. — Чё там завозился, вот ужо!

Внове брел пустынный суземом, но веселее стал путь — шел он вдоль речки, вела его быстрая струя и журчала рядом. Глухой глухоманью проходил он, встречались ему дикие звери, не раз выходил медведь, но, почуяв человеческий дух, отступал. Тяжко и томно становилось идти, глад терзал внутренности, а бременное тело извне жалили тучи гнуса. Терпел пустынный. Раз в день доставал из пестеря тряпицу с мукой, разводил мучицу водой и выпивал. Пытался забрасывать рыбную снасть, но не ловилась рыба. Кончилась мука, ел он сырые грибы и ягоды, и вовсе иссякли силы. Но не страшился пустынный, зная, что не оставит его Господь. Не заколебался и когда нашла непогода и три дня не переставал холодный дождь и негде было согреться и обсушиться и отсырело огниво. Речонка впала в другую речку побольше. Хотел он срубить плот, но не хватило сил свалить сушину. Не раз темнело в глазах, и валился он на сырой мох. Распухшее лицо стало бесчувственно к укусам гнуса. Все чаще падал он и, казалось, не подняться, но поднимался и шатаясь брел дальше. Река становилась шире и спокойнее, не раз слышался человеческий голос, но было то наваждением. Изнемог он и, в смертельной истоме прошептал: «В руке Твои, Господи, предаю душу свою!», упал на землю. Но Господь снова не оставил его. Очнувшись, увидел он, что лежит на выкошенной поженке. Ободрившись, он поднялся и тихонько пошел вдоль берега по еле заметной тропинке. К вечеру, подвигаясь ползком, увидел впереди по

плесу избенку. В темноте он вполз в лесную избенку с земляным полом и без сил уснул в ней.

Снилось ему, что подходил кто-то к нему, добрый, улыбался ласково и покрыл теплым тулупом. Проснулся пустынный, увидел, что спал под чужим тулупом, удивился и выбрался из темной избенки на свет Божий. Непогода ушла, хмарь разнесло, ясно сияло солнце, а на берегу возле костерка сидел светловолосый рыбарь и улыбался. И от той улыбки радостью взыграло сердце и возвеселился дух. Пустынный распрямился и стоял на негнущихся ногах, прислонившись к стене избенки. Рыбак поспешно вскочил и подошел под благословение. С радостью благословил его пустынный и по-братски облобызался с ним. И смотрел на него рыбарь, как на ангела Божия, места не находил от счастья.

— Знаю, знаю тебя, отче! — воскликнул он.

— Как так?

— Бывал я на Шелеховском озере, видел тебя. Антоний ты!

— Антоний, — легонько засмеялся пустынный.

— И то знаю, что сгнали тебя шелеховские!

— Все ты знаешь! — посмеивался пустынный.

— Знаю, знаю, отче, чего тебе надобе! — восторженной скороговоркой зачастил рыбарь. — Ищешь место пустынное, благолепное. Знаю я такое место, знаю, знаю, знаю тебя!

— Веди! — ликуя сказал пустынный.

— Сведу,веду! Да путь не близкий. Садись, покушай со мной, устал ты, отдохни. Семушки отведай, сытна она, семушка! Попалась ко мне в сети кормилица, сладкая рыбка.

Истово крестился рыбарь, когда пустынный благословлял трапезу, и радовался Антоний, видя такое благочестие. Глад телесный побуждал его зверем накинуться на снесь, но, прочтя в уме молитву, сдержался, немного поел рыбки, попил ущицы. Молча по-

трапезовали они, и прочел после трапезы пустынный благодарственную молитву.

Видно, не терпелось рыбарю рассказать, и сразу же начал он:

— Дивное есть место, отче: озеро великое, светлое, а на том острове полуостров, а на нем двенадцать берез белых, белых как херувимы! Был я там, отче, веришь ли, и слышал на том месте сладостные голоса, не иначе ангельские, да не я один, многие там слышат. Сказал я себе, ужаснувшись: не иначе, быть здесь Божьей обители, и вот тебя встречаю. Дивные чудеса в мире свершаются!

— Живет там кто?

— Никто от сотворения мира не жывал, пусто место, леса лешие да озера лешие, много озер, каждое на свой взгляд, и везде своя рыба водится. Ездим мы туда за рыбой, да не часто за отдаленностью. А места-то там, места! Боры сосновые, чистые, голос отдается, войдешь, как во храм Божий!

— Да кто ты такой? — радостно вопрошал пустынный. Видел он, что не без Промысла была сия встреча.

— Самуил я, рыбарь. Жизни иноческой взыскую, да не дано мне...

— Семья у тебя, чада?

— Как не быть... Кабы не семейные, давно бы постригся, да детей малых с жонкой жалею, нужда больно велика.

— Благодать Господня будет, Самуиле, с тобой и твоими искренними!

Рыбарь повалился пустыннику в ноги.

— Восстань, брате, — ласково говорил пустынный, и по лицу его текли слезы — видел он перед собой веру истинную и умилялся. — Всех Господь поставил на свое место. Не без Промысла, всё не без Промысла. Меня Бог к тебе привел, а тебя ко мне. Приказал

мне Господь сотворить обитель, а тебе указать место ее. Так и будет, брате! Исполним волю Господню!

И поплыли они в рыбацком челне, сначала речкой Емцей вниз, затем речкой Ваймугой вверх, а далее, за волоком, тихой речкой Сией, что течет через многие озера, и на третий день достигнули великого озера, и стояли там на полуострове двенадцать берез белых, белых как херувимы, и не было места светлее и краше во всей подсеверной стране. И водрузил здесь Антоний Крест Господень, и срубил келейку, и сотворил обитель.

**ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ СЯГОГО ПРЕПОДОБНОГО МУЧЕНИКА
ИОВА УЩЕЛЬСКОГО, МЕНЗЕНСКОГО ЧУДОТВОРЦА,
*вкупе со сказкою о разбойнике Зажеге.***

Вот что знаем мы об Иове Ущельском:

«По грамоте от новгородского и великолуцкого митрополита Исидора инок Иов Патрикеев Мозовский возведен из чтеца иподиакона в пресвитеры церкви Преображения преподобных отец Зосимы и Савватия Соловецких. Оная грамота дана в царство царя Василия Ивановича при патриархе Германе (описка — Гермогене) 7117 (1609) ноября в первый день.

Лета (дата непонятна, по другим источникам — 1614) прииде на Мезень и вселися в Ущельскую пустынь, а прежде был в Соловецком монастыре и неведомо почему оттуда изыде, коей ради потребы, и нача лес сещи, лес черный, и пашню расчищать и созда храм Рождества Христова и келий постави и братию собра.

И во сто лет 33 году (1625; по другим данным — в 1628 г.) пришли разбойники, а братья была на страде монастырской, и поймали святого и начали мучать, чающе взять много серебра, огнем жгли и по ужище влачаху его дондеже отпадоша тайны уды его, последи

же и главу его отсекоша. Собрались люди и погребли его близ храма Рождества Христова в Ущельской пустыни на северной стране...»

Далее следует перечисление чудес: исцеления глазные, ушные, рук, ног и душевных болезней.

Таковы житийные сведения, содержащиеся в поздней мезенской рукописи.

Существует и печатный вариант жития, более легендарный, по которому на Иова напали разбойники и повесили его под мостом через ручей возле монастыря. Ключ от обители, которого требовали разбойники, Иов бросил в воду, где ключ был проглочен щукою, щуку эту потом выловили рыбаки и вернули ключ братии.

Легенда о ключе обнаруживает связь с фольклором и восходит к легенде о поликратовом перстне. Скупые строки рукописного жития с описанием надругательской пытки, подстать XX веку, вернее убеждают нас своей подлинностью.

Нападение разбойников на отдаленные северные пустыни — событие не единичное. Известно житие Адриана Ондрусовского, ученика преп. Александра Свирского, умерщвленного разбойниками в 1551 году. Житие Макария Высокоезерского сообщает о мученической кончине преподобного от разбойников — его жгли огнем, за ногти вколачивали деревянные спицы — год 1683.

Но разбойники на дальней, труднодоступной Мезени — явление необычное. Кажется, вероятнее передвинуть дату — 1625 — на десять лет назад, к 1615 г., когда догуливали по Северу последние воровские шайки свое лихолетье. Но оснований оспорить дату нет, как нет оснований оспаривать факт появления разбойников на Мезени. Отзвук этих событий доселе хранит народная память, правда, очень смутно. Так, на верхней Мезени, в краю удорских коми, старожилы вспоминают, что прежде деревни ставились так, что-

бы незаметны были с воды, будто бы из-за боязни разбойников. А на нижней Мезени, где живут русские, свидетельствует народное творчество, претворившее реальное событие в образы фантазии. Это — известная в нескольких вариантах сказка о разбойнике Зажеге (или Зажегине), которого уничтожил в огне крестьянин-богатырь Пашко, иначе Павел из Юромы. Павел, по всей видимости, не измышление фантазии и имел реальный прототип (легенда называет его ласково Павликом — так уменьшительно, шутливо величают силачей), народная молва приписывает ему участие в строительстве юромской церкви. Знаменитая юромская церковь (ныне не существует) построена в 1685 году. Следовательно, если целиком довериться легенде, разбойники, убившие Иова в 1625 г., и шайка Зажеги, с которой боролся Павел, — две разные шайки. Однако трудно допустить, чтобы бедная, малонаселенная Мезень XVII века представляла постоянный интерес для грабителей. Вернее считать, что разбойники, убившие Иова, и шайка, наводившая ужас на всю реку, которую уничтожили местные крестьяне, выследив на привале и перестреляв из луков, — одна и та же шайка. Поэтому мы вправе соединить быль и сказку.

Как всегда, народ сказкой рассчитывается со злоделателями. А Иов Многострадальный не в сказке, он — в истории.

Семнадцатое столетие по Рождеству Христову и второе столетие на осьмый век по сотворению мира, как исчисляли на Руси, началось всеобщим нестроением. Неладное творилось с землей, был и глад, и мор, и воинская напасть, и разорение. Сходились приметы, что наступают дни последние, а придут они на осьмый век, как предсказано пророками. Тревожные вести приходили в дальний Соловецкий монастырь. Старцы молились и ждали худшего. Сходясь, толковали по книгам Даниила, Ездры, Откровению Иоанна.

Тогда благочестивый Иринарх, не иначе по научению свыше, прорек: не последние времена, но испытание великое. Событие сие предречено бысть словами Кирилла Новоезерского, нового чудотворца, иже и сбывшееся. И тем прекратил смуту в умах.

Но велика была смута в государстве российском.

Гниль началась с головы: бес вселился в державного государя и учал он бить свой народ хуже татары; затем кроткое царствование Феодора омрачилось страшным злодеянием — убиением отрока царевича Дмитрия в Угличе. Воссел на престол рюриков художодный татарский выходец и тем подал пример дерзкому самозванству. Морока покрыла глаза и умы русских людей, смутилось царство, наступило лихолетье. Знали все на Москве, что не Дмитрий-царевич воцарился, а беглый чудовский чернец Гришка, а поддались на лесть. С самозванным царем проникли на Москву извечные недруги — ляхи, принесли с собой латынский крыж, хулили православие. Однако самозванца мало было по грехам нашим, объявились иные: Лже-Петр и Лже-Федор. Восстал московский народ, убил польского свистуна, сгнуло и двое других лжецов. Выкрикнут был народу новый царь Василий Иванович, да не в добрый час. Двигал на Москву свои отряды атаман Болотников. Едва отбились, как объявляется новый дерзец, второй Лже-Дмитрий. И опять заморочились московские люди, снова верили второму самозванцу, тушинскому вору. Гибла русская земля. Бесчинствовали войска самозванца, бунтовали мужики, дворяне стакнулись с иноземцами, шла на Русь польская сила. Ляхи и русские изменники осадили обитель Сергиеву, и только крепкие стены и чудотворная помощь охраняли сидельцев...

Утешение православным, что пастырем русской церкви стал патриарх святейший Гермоген, муж кроткий перед Богом и твердый в слове, великий молитвенник. Царя Василия знали как человека лукавого, пест-

рого, надежда народная была на патриарха, чаяли, с таким вождем церковь устоит, а устоит церковь, устоит и государство.

В таких горестях и чаяниях пришел год 7117.

В годы лихолетья в обители святых Зосимы и Савватия появился новый чернец. Был он высок ростом, силу в руках имел немалую, лицом носаст, чернус, с козацкой бородкой, взгляд имел строгий, но нрава был тихого, и, только слыша обидное слово, вспыхивали гневом его глаза, но уста оставались безмолвны. Говорил же мало и о себе ничего. Знали только, что родом он из ляхов, именем Мозовский, что состоял на русской службе и принял правую веру. Отнеслись к нему поначалу настороженно и направили на черную работу — ходить за скотом, но все снес смиренно. По прошествии испытания, как был он грамотен, поставлен был в чтецы-иподиаконы Преображенского храма, а, видя и впредь его прилежность к службе церковной и неустанное рвение в вере, рукоположен был в иереи.

И в некотором времени по поставлении в иереи пришел иеромонах Иов к монастырскому настоятелю старцу Антонию и просил благословить на подвиг.

— Отче, молю тя, благослови отойти на полуночную страну созидать обитель.

Странна и не по времени была просьба. Невозвратным представлялось время великих пустынников, созидавших ветрограды Христовы по лицу русской земли, и соревнование с ними было дерзкой гордыней. Иным было их время. Хотя и находили разные напасти, но стояла Русь и крепла под державой христоролюбивых государей. Ныне же, когда качнулась Русь, шатнулась в вере и законе, одни монастыри оставались крепостью православия и не могли одолеть их супостаты, как не одолели Сергиев Дом Троицы. Не распылать следовало христоролюбивое иноческое воинство, а копить силы, держаться всем заодно.

Свейские немцы разорили обитель преподобного Трифона, зарятся на Соловецкий монастырь и его поморские волости. Лъзя ли братии растекаться во все стороны?

Посему упрекнул игумен инока в недомыслии и гордыне и возложил на него эпитимию.

Пришел год 7119 и был тот год погибельный для Русской земли. Вся земля запустела, горе и стон стояли над градами и весями. В Москве изменники-бояре свергли царя Василия, впустили в город литовцев. В Новеграде стояли свейские войска. Не кончилась самозванщина, вместо второго дерзца появился третий, а остальным и счет потеряли. Бесчинствовали черкасские люди. Безбожные ляхи затворили в темницу патриарха, но не смирился святитель в заточении, рассылал грамотки по всем русским людям, призывая дерзать на кровь во спасение земли. Но слаба еще была русская сила...

Дошла беда и до Поморья. О том же годе sweи воевали Поморье и многие разорили, и спасались от них люди на святом острове. На твердыню соловецкую не покусились sweи, отошли восвоеся.

Пришел год 7120 и был тот год великого последнего стояния. Казалось, смутилась вся земля и не осталось людей, но вышли из поволжских городов последние люди. Последняя русская рать со святым именем Сергия на устах шла на спасение Москвы. Освобождена была белокаменная столица от недругов. Но великое горе православным: умучен был от безбожных ляхов патриарх всея Руси Гермоген...

О том же годе бысть печаль в обители Зосимы и Савватия: почил в Бозе игумен Антоний. Новым игуменом избран был всей братией единодушно кроткий Иринарх. Умолял старец со слезами избавить его от тяготы не по силам, но не вняла братия. Избран же был за великую высоту ума и за великую доброту.

Слаб и кроток был старец, но крепка соловецкая братия, сильна властью в вотчинах, и, когда зимой лета сто двадцать первого набежали литовские и черкасские люди в поморские волости, дали им отпор и разогнали воров.

Год 7121 принес надежды. Выборные всея земли возвели на престол законного государя. Отступила смута, начиналась созидательная пора.

Но все еще беспокойно было на Руси: не сразу утишается вода после бури. Народ поотвык от повиновения, отстал от работы, заворовался. Шайки литовских людей и русских воров продолжали бродить по Поморью и Заволочью, ища легкой добычи, грабя деревни, разоряя Божии церкви и малые обители. Путник не мог безопасно ходить по дорогам. Не щадили и монашествующих, над ними надругивались особенно зло. Северные города и веси сидели в страхе, а мятежники творили с землей что хотели, и не было на них до поры укорота.

Настал год 7122.

И тогда иеромонах Иов решился и пал на колени перед настоятелем.

Столь добр был Иринарх, что никому ни в чем не отказывал, и злоупотребляли тем иные. Когда же просили неподобающего, смотрел так жалобно, будто не его, а он просит, и трогалось даже жестокосердое сердце.

И сейчас, увидя коленопреклоненного монаха, сам опустил перед ним на колени. Смушался Иов, смушался и кроткий игумен.

— Прости, отче! — сказал монах.

— И ты прости, брате!

Легонько, как пушинку, приподнял Иов маленького игумена.

— Отче, молю тя, благослови отойти на полуночную страну созидати обитель.

— Камо идеши? — тихо спросил игумен.

— На Мезень-реку. Доселе не бывало там обителей, а места пригожи. Сказывали мне люди из Окладниковой слободы, что обильна река рыбой и пожнями, а народу невелико число, церковей всего две, а по весям молятся по поганскому обычаю деревьям.

— Ко времени ль мечта твоя, брате? Лихие люди бродят по земле. Разорят замысел твой, прежде нежели созиждешь.

— К тому призвал мя Господь.

— Ежель Господь... — схватив монаха за руку, прошептал игумен, — то Его моли, а мя, червя, пошто молишь?

Путь Иова лежал в монастырской лодье на Двинское устье, мимо невеликого Архангельского городка на Колмогоры. С Колмогор в осиновом челноке поднимался вверх по Пинеге на Пинежский волок. И чем далее был путь, тем короче становились ночи, теплее дни, зеленее луга и леса.

На Пинежском волоку на Чермной горе обретался монастырек убогий. Десять лет как пришел сюда черный поп Макарий, сам из здешних жителей. Стояла на горе церковка деревяна и возле келейки, братии было трое. Терпели монахи великую нужду, ели хлеб с сосновым корьем, но стояли на месте крепко. Место обители давно было отмечено и прославлено чудесами: не раз видели тут светлое сияние, восстававшее до неба, и слышались ангельские голоса. Устроитель обители Макарий, до иночества — Мирон, прежде был попом в соседнем селении и имел дивное видение: архангел в одеждах багряных повелел идти на Чермную гору и устроить обитель. «Как пойду от семьи монашествовать?» — вопрошал поп Мирон. «Не печалься о том», — рек архангел. И вскоре бысть мор и глад и измерла семья попова. И внове явился архангел в дивном сне, и еще ярче пламенели одежды его, и повелел не мешкать. «Кто пострижет мя?» — вопрошал поп. «Иди на Колмогоры», — был ответ.

На Колмогорах принял поп пострижение, но все еще медлил он, и в третий раз явился архангел, и сияние одежд его было нестерпимо и жгло огнем. «Вставай, иначе испелю тебя!» — грозно прорек, и пробудился поп ото сна, вокруг дым и пламя, и еле успел выскочить из пожара, как сгорела храмина его. Столь дивным было событие, что страх прошел меж людьми, и в покаяние грехов своих собрались люди чистить лес под пашню и рубить храм. Нашлись у Макария сотрудники, и устроилась пустынька.

Прост был поп Макарий, обиходу крестьянского, говорил скороговоркой, прицокивая, и, когда рассказывал о виденных им знамениях, глаза его круглились восторгом и ужасом.

— Я цто, грамоте мало свычен, — виновато посмеивался Макарий, — какой я поп!

Плешивый, низенький, в засаленной ряске, он смотрел на гостя, как мужик на грамотного человека, изумляясь его учености. А гость смущался духом перед великой чистотой веры. Знал он, что видит перед собой святого человека.

— Ой, батька! — качал головой поп. — Одним бы глазком взглянуть на дивную обитель Соловецкую! — и тут же смеялся невинным детским смехом над неисполнимостью своей мечты.

— Не ты мною, друже, я тобою изумляться должен, — говорил Иов сокрушенно. — Зрю свою недостойность. Прежде дерзал в ума гордыне, а ныне, тебя увидя, слабею и трепещу. Не дал мне Господь твоей простой силы.

— Ой, что ты, батька! — моргал глазами Макарий. — Да как же ты... да я... ой, что ты, Бог с тобой!

— Вижу, не смочь.

— Да как не смочь! Али трудно дело? На Мезени простору много, земли нетронутые. Первое дело — выбери место красно. Второе дело — крест поставь и живи у того места, не сходи, Бог тебя и на-

градит, люди добрые помогут, лес станешь сечи, бревна тесать — вот тебе и монастырь. Али не Божье дело делаем? В Божьем деле Бог поможет!

— Велика твоя простая мудрость!

И как старшему брату поклонился Макарию в ноги.

А тот глазами заморгал, сам встал на колени, заплакал:

— Бог с тобой, Бог с тобой!

И побратались они и поменялись крестами. У Иова был на гайтане крест серебряный, а у Макария деревянный, и стеснялся строитель взять от брата дорогой крест.

— Ой, не надо! — сокрушался он.

— Стало быть, суждено так, — увещевал его названный брат. — Быть твоему монастырю богату, а моему деревянну. Не мои слова, чую божественный глагол в сердце.

— Ой, батька, чую и я, не свидеться нам боле на сем свете. Бог с тобой, возьму крест!

Столь горестно прощались братья, что плакали и прочие чернецы.

В провожатые назначил Макарий мужика Тимофея, обитавшего при обители. С ним поднимались на двух челноках сначала по Пинеге до устья речки Ёжуги, где стояла невеликая деревенька, и далее вверх по Ёжуге. Веселый человек был Тимофей, ладно вел свою лодку на шесте под берегом и, хотя не слаб был Иов, а далеко опережал и еще песни распевал. Лохмат и нечесан был как леший и ходил без шапки. На стоянках рассказывал, как промышлял зверя, ловил рыбу, про леса рассказывал, про реки, а всего больше пел песни, пел мирские, пел и духовные. Ладилась работа в его руках: пока доспевал Иов до места ночлега, там уже горел огонек, нагревалась вода в котле, и трепетала на росистой траве выловленная рыба. Дивился Иов его детской простоте и не пенял, что мало гово-

рит его провожатый о духовном, видел — чистое сердце — и к Богу ближе.

— Однако, ты веселый! — говорил Иов.

— Наши пинежские все веселые. Вот мезенские, те хмурые. Какую песенку тебе еще пропеть? Хочешь духовную, про Книгу Голубиную?

И звучал в светлой ночи протяжный напев, и тихо струилась белая река, и под белым прозрачным небом лежала притихшая земля таинственной книгой и таила в себе неразгаданные Божьи чудеса...

Поднялись они по речке Ёжуге Пинежской, а потом по приточной речонке Кокорной до волока на Ёжугу Мезенскую. Там подняли они Иовов челнок на плечи и перенесли через волок. На вершинке Мезенской Ёжуги попрощался провожатый с Иовом, назад пошел и песню запел.

Один поплыл Иов и скучал без веселого спутника. Поначалу была речонка мала как ручей и мелководна, застревала лодка на камнях, и приходилось сволакивать ее, но дальше становился поток быстрее и полноводнее, скоро полетел челнок по кипящим порожкам. Успокоилась река, легла спокойными плесами, кротко улыбаясь лесам и солнцу, вышла в луга, окружили ее кусты и травы, и выпала в Мезень.

Широко и привольно лежала неспешная река Мезень, голубыми плесами среди красных гор. Дивные крутые откосы-щелья вздымались оправоручь. Взыгравший ветерок подхватил легкую лодочку и понес вдоль берега встречь течения. У лесистого мыса накатом вынесла волна лодочку на песок и дивно — стих ветер. С забившимся сердцем, ощущая присутствие чуда, вышел Иов на берег. Встал на колени и, воздев руки к небесам, возблагодарил чудный Промысел. Над ним темно-красной стеной вздымался береговой откос с нависшими деревьями на круче, и чудилось, что встает над рекой дивный ветроград с церковными

шатрами и маковками, и тягуче плывет над речной далью колокольный гул... Вспомнились прощальные слова названного брата, бесхитростного мудреца: «Сядешь в лодочку, так и плыви и плыви, а где взойдешь на бережок, там и месту быть».

С трепетом взошел путник по глубокой расщелине — с ущелью с бегущим ручейком — вверх. Плоская вершина высокого берега обросла крепким листовым лесом. Подошел к обрыву: от высоты дух захватило, от простора необъятного сердце зашлось восторгом. Веселила ширь речная, луга за рекой, леса дальние, золотые речные пески, дальние красные берега, солнце летнее, ветерок свежий.

Приметил пустынный, что не вовсе безлюдно место, бывали здесь люди: нижние ветви старой листвы увешаны были цветными тряпочками, лежали конские черепа у корней — было здесь тайное поганское капище. В святом рвении взял Иов секиру. Велико было дерево, а сердцевина сгнила, и с глухим стоном рухнуло поганское древо. После сего обрек на жертву спелое дерево, свалил и на другой день поставил крест. Водрузив крест, освятил место — отныне и вовеки быть здесь святой обители.

По окончании первых дел, отправился Иов в Усть-Вашку, просить о милости земские власти. Верно говорил Тимофей — иные люди на Мезени, хмурые, молчаливые, неприветливые. Леса и воды были богаты, а жили бедно. Задвённая, забытая Богом сторона была земля мезенская. Невеликим селением была Усть-Вашка, стояла в ней церковь без пения — попа не было.

Староста, простой мужик, смотрел на пришельца без удивления, как во сне, и, сонно моргая белесыми глазами, выговорил:

— Живи.

В земской избе сидели мужики и смотрели, как писарь, молодой парень, выводит буквицы на грамот-

ке. На монаха все воззрились как на диковинку, но никто не встал и под благословение не подошел. А когда объявил Иов, что по воле Божьей основывает он святую обитель, что близ устья Ёжуги на ущелье, один из мужиков толкнул другого усмешливо:

— Смотри-ка, Анфим, сосед тебе!

Тот, кого звали Анфим, хмурый мужик с несатым взором, недобро сверкнул глазами, но ничего не сказал.

— А посему, — возвысил голос Иов, — бью челом московскому государю и великому князю Михаилу Федоровичу на монастырское устройство!

Мужики разинули рты и поодиночке стали выходить из избы. Писарь вскочил и поклонился монаху в пояс.

— Пошта государева до нас не доходит! — проговорил он испуганно.

— Пошлешь на Колмогоры с оказией. Пиши: «Государь и великий князь...»

Когда Иов шел назад, тех же мужиков он увидел у избы с елкой. Теперь они пробудились от сонной одури и глядели с озорством. Анфим без шапки и кафтана, заложенных в кабаке, смело преградил пустыньнику дорогу, глаза его горели злобой.

— Ты кто такой, я тебя спрашиваю?

Пустынный обошел его, как бревно поперек дороги.

— Нет, постой! — ухватил он монаха за рукав.

Иов остановился и твердо взглянул ему прямо в глаза. И как злобный пес под человечесьим взором, замер мужик в своей злобе. Провожаемый лаем острых черных собак, ушел пустынный. А вдогонку ему похабно орал молодой голос: «Монах весь век не ..., а ... про запас держал!»

Через многие веси земли северной прошел пустынный и всякое испытал. В иных домах принимали его как посланца небес, в иных, завидя, затворяли двери. Хмуро смотрели хозяева богатых дворов, и всегда был

ночлег в хижине бедняка. Ласковы были старые люди, жестокосердечны молодые. «Много вас тут ходит!» — не раз слышал он, изнемогшим и усталым подходя в вечерний час к жилью. Не обижался он и никого не судил: Бог всем судья. Ожесточился народ в лихолетье, стал дерзким и безжалостным, столь много испил он горя. Злее стали люди не к нему, странному человеку, а зачерствели сердца. И смущен и встревожен был он теперь, встретив необъяснимую злобу к себе самому. Враз, люто возненавидел его сей человек, Анфим. Ярость людская — корень всех бед, и по разуму следует избегать греха, непрочно сеять на худом поле, подкосит замысел благой черная злоба. Мала ли река Мезень и мало ли иных мест, не омраченных злым оком? Но никуда не мог он уйти с определенного места — таков был Промысел выше его помышлений, и внезапная злоба, поселенная дьяволом в сердце того человека, была испытанием, которое должно принять...

Валил Иов листвен лес на горе, отесывал бревнушки. Остановил его посторонний тяжелый взгляд, и, не поднимая глаз, знал он, что рядом стоит ненавистник его. Сдержал свое сердце пустынный, но хуже шла работа под недобрым взглядом. Отложил он топор и, потупя очи, спросил кротко:

— Что тебе, человеце?

Никто не ответил. Но не ушел недоброжелатель, стоял возле и смотрел злобно.

— Послушай, человеце, пошто смотришь волком? Чем прогневил тя? Скажи.

Ничего не ответил тот, смотрел хмуро в лютой похмельной злобе.

— Вижу в тебе злобу нечеловеческую, бесовскую, а посему заклинаю тя: удались с места сего, очистишь молитвой и вернись не врагом, а другом.

И злобно засмеялся Анфим:

— Ты... монах в дырявых штанах... дай-кось лучше на опохмелку!

Злобой бесовской горели глаза человека, и чуял пустынный, как в нем самом закипает злоба, и поспешно стал творить в уме защитительную молитву.

Сплюнул Анфим презрительно. И не выдержал пустынный.

— Не смей плевать на святое место, пес!

Он схватил Анфима, согнул его и ткнул лицом в землю, говоря:

— Вылижи свою блевоту, пес, и изыди вон!

И отшвырнул его от себя, тяжело дыша, с глазами застланными гневом. В великое искушение он впал, подняв руку на человека, но не мог сдержаться, коли бесчестят святое место. Сам принял бы любое поношение, но места позорить дать не мог.

Анфим поднялся.

— Ты меня мордой в землю... так ты меня... — всхлипывал он, размазывая кровь и сопли по лицу.

— Убью! — заорал. — Не жить нам двоим на свете! Так и знай — убью!

И эхо разнесло над рекой: «ю-ю-ю!»

Убравшись с горы злобный человек.

Пустынный принялся тесать бревнушки, но не ладилась работа в его дрожащих руках. Тогда встал он на колени у креста и просил прощения у Владыки и молился за помраченного злобой Анфима.

Недавно началось монастырское строение, омрачено было злобой людской. Не повинен был в том пустынный, но случилось так, не его волей вошел грех в доброе начинание. И как ни казнил себя пустынный за гнев свой, а как было оборонить святое дело от поругания? Подтверждалось ему, что слаб он и недостойн, не так было у зачинателей святых обителей, коим возомнил он дерзновенно подражать. Дано им было добротой своею разрушать козни неприятеля, ничто дурное не смело коснуться их замысла. И Мака-

рию дано, названному брату, который в простоте не подозревает о своей святости. Свой он человек пинежским людям, сам мужик и монастырь его мужицкий на помин душ жителей. А он, Иов, всем чужак, чужд и одинок, ни защиты, ни подмоги ни в ком. Взялил ношу, кою поднять невмочь. Искал глуши, места пустынного, а вышел на место людное. Искал души спокойствия и молитвы уединенной, а встретил злобу необъяснимую. Но зрел во всем испытание и судьбу и знал, что не смеет нарушить начатого дела, а станет стоять до конца, не утрущаясь, и пусть судит его Бог! Ныне, после лихолетья, пошатнулся в человеке образ Божий, посему надлежит с великим прилежанием ревновать в вере, любые испытания, мученичество кровавое принять, дабы ярче пламенел в русском народе огонь веры.

И молил Господа пустынный, чтоб не оставил его, жалкого неумелого раба.

Снова взялся за топор, затесывал бревнушки. Голоса слышались. Вернулся на гору Анфим, а с ним рослый мужик с топором в руке.

— Паш, ты смотри, что делает... — скулил Анфим. — Меня бил, по земле волочил... Ты его, Паш...

С ожесточением в душе, головы не поднимая, работал пустынный. Одно знал — стоять будет насмерть. Но не бранное слово слышалось, другой топор застучал. Глянул пустынный — силач отесывает бревно. Улыбнулся мужик — лицо доброе, румяное, детское — и пустынный ему улыбнулся. И веселее застучали топоры, скорее пошла работа — переглянуться, улыбнуться — и снова звонко поет дерево под топором и звонко душа поет.

Посмотрел Анфим, сплюнул пугливо и убрался восвояси.

Притомился пустынный, а мужик все машет топором — экая силища!

— Кто ты? — спросил Иов.

Оставил работу мужик, в пояс поклонился.

— Павлик я, из Юромы. — Простодушно смотрел детским взором. — Ехал мимо, слышу — топор стучит. Удивился — никогда здесь не селились. Понял — хижину ладишь.

— Будет на сем месте святая обитель. Иов меня зовут.

— Ладно, — сказал мужик и снова взялся за топор.

И работали они до позднего часа.

— Домой поспешу, — сказал незванный помощник. — Жди, приеду с подмогой и еды привезу.

И уплыл вниз на лодке по светловодной речке Мезени.

Понял пустынник, что дошла молитва его, не оставил его Господь, что простой мужик сей — его крепость, ибо крепость — сердце человеческое, и вознес Богу хвалу.

Приехал Павел не один, с мужиками, и споро, ладно возвели невелику клеть, покрыли палаткой на четыре ската, водрузили крест — и бысть часовня, и другую невелику клеть поставили с рудовой топкой — келейку. Не было святых икон для часовни, и посему укрепили на моленной стене деревян крест с резными литерами: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Пресветлое Воскресение Твое славим».

Никого не звал пустынник на помощь, но повелось так: проезжал кто мимо, проходил, всяк старался пособить святому делу. Никого не просил пустынник, а молва прошла: кто на пустынь порадует — Богу угодит, грехи искупит, в великом деле сотрудник — в мезенской земле первое монастырское устройство. Иной приходил — помогал валить черный лес под пашню, иной рыбки приносил с улова. Приходили люди с требами: за упокой отслужить, иной — по скоту помолиться, чтоб заблудшая коровенка отыскалась, иной — рыбка-кормилица в невод шла. За

все молился Иов, только молитвой своей мог помочь он бедным людям.

Осень подошла, листья пожелтели, хмарь нашла, дожди, ветер разгуливал по реке, подымал крутые волны, завывал на горке. В такой день писал пустыльник на берестяном листе глухариным пером разведенной печной сажей молитвы, тропари, кондаки, дабы освежать память и не пребывать в праздности, ибо праздность — мать греха. Показалось ему — пришел кто-то. Отворил дверь — стоит баба в убогой одежде с двумя малыми детьми, брюхатая, посеревшая лицом.

— Взойди, — сказал ей.

Но баба застыла как окаменелая.

— Чего тебе, говори?

Ничего не могла сказать убогая, ее девчонка за нее тихонечко проговорила:

— Мы есть хотим.

Вынес и отдал им пустынный все, что у него было, и ушли убогие.

Снег выпал, шла по реке шуга, ляги затянуло льдом. Пришла к пустыннику убогая девчонка, та, что просила есть, быстро залепетала:

— Тятка прознал, что мамка к тебе ходила, бил ее в пузо сапогом, она скинула, лежит, помирает...

Столь мал был ребенок, а знал все страсти житейские!

— Да кто твой отец?

— Анфим с Нисогор.

— Идем.

— А ты не боишься? Тятка на тебя у-у как сердит! убить грозитя!

— Не боюсь.

Бежала рядом девчушка в легонькой одежонке, тараторила.

— Тятка пьет много, урожай пропил, коня пропил, нам есть нечего, мамка говорит, помереть бы скорее, и нам, говорит, с братиком надо скорее помереть, тогда мы пойдем на небо ангелочками, а тятку туда не пустят, его черти возьмут... Я через Ёжугу бежала, лед тонок, думала потону, буду русалкой у водяного царя...

Не слушал ее Иов и не видел вокруг тихой убавленной природы, черная злоба людская, которой все мучаются и страдают, которая звериной злобы хуже, покрыла очи и неизбывной тоской сжала сердце, шел он на брань со злобой во спасение души человеческой.

На устье Ёжуги девочка остановилась.

— Ты-то проскочишь? Я-то легкая. — И перебежала по льду.

Но великая окрыленность была в сердце пустычника, летела в нем сила молитвенная на великое свершение, и прошел он тонким и ломким, как стекло, льдом, лишь погнулся лед, затрещал, и выступила из трещин вода.

Неблизок был путь, вся издрогла девчушка, а пустыжник не замечал холода. Пришли они к красной щелье и поднялись на Нисогору.

Стоял здесь дом Анфимов, запустел и обветшал был вид его, слепо смотрел заволоченными окнами, как неживой. Вошел Иов в смрадную нетопленную избу. Маленькое слюдяное оконце еле пропускало свет, и не сразу разглядел он в углу кучу тряпья на полу, где лежала женщина. С полатей слез мужик и встал перед монахом.

— Пошто пришел?

— За жену твою молиться.

Женщина приподнялась на куче тряпья и опала, стонучи.

Иов подошел к больной, встал в изголовье.

— И вы, детки, молитесь со мной, ваши молитвы скорее Бог услышит.

Хлопнула дверь — ушел Анфим, а пустынный с детьми начали молитву. Стонала и металась в жару женщина, но, видно, велика и трогательна была детская молитва, успокоилась больная, стала дышать легче и забылась сном. Потрогал пустынный ее лоб — спал жар, а с ним и болезнь.

— Господь внял вашим молитвам, чада, жива будет мать ваша.

И вышел пустынный из избы с легким сердцем, торжествуя духом, видя великую силу чистой молитвы.

Возле избы Анфим яростно тесал слегу. Завидя пустынного, злобно сверкнул глазами.

— Иди, жива жена твоя, — сказал Иов.

— Не-ет, монах, — протянул злорадно Анфим, — таперича посчитаемся. — И пошел навстречу с топором. — Посчитаемся...

— Зверь лютый то не творит, что ты, не бьет в чрево самку свою. Воззри на ся, утерять ты облик человеческий, бес тебя ломает, дитя свое ты убил во чреве! В великом ты грехе, покайся во имя Господне, в последний раз заклинаю тебя!

— Убью! — кричал Анфим, размахивая топором.

— Можешь меня убить, но себя ты погубишь навеки.

— Ых! — взревел Анфим и кинулся на пустынного, но выбежали из избы дети, ухватились за ноги его, плача и крича:

— Не смей его! нас убей!

И отшвырнул детей своих злобный человек, как немощных щенят, и простерлись малые дети на земле.

Не сдержался пустынный, бросился на злодея, перехватил топором, лишь плечо рассекла секира, отшвырнул Анфима. Глубоко вогнал топор в колоду, поднял детей с земли — целы они были, лишь испугались. Анфим вскочил, к топору бросился, но не смог его выдернуть.

— Целуй крест! — приказал пустынник. — Целуй крест, что не сделаешь зла ближним своим!

Но несмирима была злоба в мужике.

— Убью! — хрипел он и хватался за слегу.

Согнул его пустынник и перекрестил и, как ни вырывался тот, прочел над ним молитву, изгоняя беса злобы, и утихомирился было бес, но капнула кровь с рукава из раны, и снова взъярился бес.

— Угу, и тебе досталось!

— Радуюсь крови человеческой, бес лукавый, заклинаю, выйди из него! Целуй крест, что не сделаешь зла домашним своим.

И плюнул злодей на крест!

И, осердясь, видя, что не взять беса словом, а силой, бил пустынник богохульника и волочил по земле, выбивая беса, пока не ослабел мужик. И, приведя в чувство, велел целовать крест и поднес к губам. Но остались сомкнуты губы, бесовская злоба затворила уста. Не смирился бес, но притих, видя превосходящую силу.

И, оставив мужика, сказал пустынник:

— Вижу, слову ты непокорен, силы боишься. Спадет един волос с голов ближних твоих, знай, не одобровать тебе.

Так и не покорился бес злобы в мужике, чуя пролитую кровь-руду, и прохрипел злобный человек вслед пустыннику:

— Все одно — убью!

Назад шел пустынник и черно было в его глазах, но не от гнева, а от раны кровоточащей. На речке Ёжуге, кою пересек в первый раз без опаски, подломился тонкий лед, и едва выбрался он на берег, оледенев на пути к обители.

В горячем огне простуды лежал пустынник и сгорел бы, кабы не добрые люди выходили его. И была долгая голодная зима, когда едой было сосновое корье и не было помощи, все в округе голодали. Прибегал

в мясоед Пашко, лосятины приносил, но не взял пустынник, скоромного, по уставу, в рот не брал. Мог погибнуть голодной смертью, да не дал Бог — прислал брат Макарий с торговыми людьми мучицы и рыбки. Так дожил до светлых вешних дней. Не сдвинули его с места первые испытания и искушения и знал он, что отныне встал здесь твердо и несдвигимо.

Креп и окорялся Ущельский монастырь, прознали его по всей мезенской земле и в иных северных землях — с моря приходили, с Печоры-реки. Отошло вдаль лихолетье, поправились люди, годы были урожайные, и рыба с моря шла как никогда дотоле. Возросла ревность людская к церковному строительству — ладились по селам церкви, а в монастыре мирским усилием воздвигнут был храм Рождества Христова, церковь с трапезой, древяна вверх. Поставились братские кельи, жили монахи, послушники и трудники. Встала оградка округ обители, — невысокая, решетчатая, не для запора, для украшения, с резными воротами. Имел монастырь пашни и луга за рекой, держал скот и одного коня. Но не скоплял монастырь богатства, а все сверх потребности раздавал бедным, и ширилась и множилась его слава.

Случилось нехорошее происшествие о Петров пост: свел кто-то из стойла монастырского коня. Странно было: давно на Мезени про татьбу и разбой не слышали. И тать был, видно, неумелый: остались конские следы на глине и шли берегом вниз. Догадался Иов, ничего братии не говоря, сел в челнок и поплыл на Нисогору. Там, под берегом снова обрел след и нашел оброненную конскую подкову.

Давно не слышно было об Анфиме, канул неведомо куда, говорили, бродяжничают. Жена его с детьми бывала в обители, подходили к Иову под благословение, и он беседовал с ними. Жили они скудно, но спокойно, дети подрастали, помогали матери. И вот опять появился непутевый мужик.

У избы встретил Иова Сашко, Анфимов паренек, остановил:

— Не ходи туда, пьют они, злые, а конь у нас, я тебе его сведу, когда они напьются!

Погладил его Иов по головке, вошел в избу.

Сидели за столом у штофа трое, смотрели с пьяной наглостью.

— Зачем ты сделал это? — спросил Иов, показав подкову.

— А ты как понимаешь? — злым смехом засмеялся Анфим.

— Затем ты коня увел, чтобы я к тебе пришел. Я пришел.

Анфим выскочил из-за стола и начал развязно говорить перед своими приятелями, маша руками. Прежде, до бродяжничества, он не говорил так бойко.

— Вы смотрите, любезные мои приятели, вот он, мой смертельный обидчик! Бил меня дважды, мордой по земле волочил, крестил как беса. Встал он мне поперек дороги. Как он в наших краях появился, житья мне не стало, до того довел, сбег я из дома. И опосля всего ко мне в дом приходит! Да ему не конем, ему жизнью со мной не рассчитаться! Ты пошто, враг ненавистный, ко мне в дом пришел? Снова меня хочешь харей в землю тыкать? Так я теперь не тот! Я сам кого хошь ткну!

— А ну, валяй! — смеясь, подзадоривали мужики.

— Знал я, Анфим, что встретишь меня злобой и новым поношением, но пришел я не укорять тебя в злобе и татьбе, а ища примирения. Нельзя жить в злобе, злоба твоя тебя убивает, дом твой, жену, детей, меня. Молю тебя: очистись сердцем, отринь злобу. Коли виноватым меня пред собой считаешь, я у тебя прощения прошу.

Анфим улыбался с ласковой злобой в глазах.

— Ты прощения просишь? Вот как! Вот так! Ан нет! Это мы прощения просим!

И, изловчившись, он ударил Иова по лицу.

Гневом впились в обидчика глаза монаха, судорожно сжались руки — и вскрикнули мужики в изумлении — сломилась в них подкова. Бросил Иов обломки к ногам злодея и вышел из избы. Вывел коня со двора, пошел с ним. В избе истошно вопил Анфим: «Погубил он меня, погубил!... Пропал я, братцы, пропал!»

А ночью в монастырь прибежал Анфимов мальчонка, в одной рубашонке, с испуга долго не мог говорить.

— Тятка напился... мужиков прогнал... мамку! уби-и-ил! сестренку! уби-и-ил!... меня убить хотел...

Поднялись монастырские люди, побежали на Нисогору — поднималось там пламя, горел Анфимов дом. Сгинул Анфим неведомо куда, а мальчонка его стал жить при обители.

Пришло лето по сотворении мира сто тридцать третье на осьмый век. Странная молва разнеслась: появились в северной стране разбойники. Десять лет не слышать было о лихих людях, с той поры как осаждали литовские и черкасские люди Колмогоры и оттуда побежали грабить поморские волости. Говорили, будто объявился внове атаман Зажегин, зорит и жжет веси, потому он и Зажега. Будто словили его и посадили на цепь на Колмогорах, а он, Зажега, чародейству свычен, вместо руки палку подсунул. Выпросил он у молодого стрельца уголек, а тот стрелец не знал, что запрещено давать Зажеге. Нарисовал Зажега на стене темницы кораблик, сел в него и ушел на воду и других колодников с собой прихватил. Дано Зажеге уходить в воду, на воде его нипочем не поймать — обложат со всех сторон, а он в воду уйдет и в новом месте объявится. Много баснословного было в рассказах и мало верилось, но в одном все сходилось — держат путь разбойники на Мезень. Говорили даже, будто видели Зажегу на ёжугском волоке. Но кто мог

видеть? О эту пору люди там не бывают — столь велико множество гнуса: плат подкинешь — висит в воздухе. Так и не знали в Ущельском монастыре, верить или не верить слухам.

Канун был праздника Спаса, Господне Преображение. Зной стоял, марило, гроза собиралась. Работали братия в заречных лугах на покосе. Один Иов был в монастыре. Прибежал к нему Сашко, Анфимов сын, еле выговорил:

— Разбойники плывут!

Посмеялся Иов:

— Какие разбойники, знать гости торговые.

— Разбойники! И тятка с ними! Бежим, отче!

Настал час решительный, час судьбы неминуемой.

— Поспешай к людям, сыне, торопись!

— Не уйду без тебя! Убьют они тебя!

— Не обо мне печись, жизнь наша в руке Божьей, обитель спасай.

— Я тятку умолю, не тронут тебя!

— Повелеваю тебе игуменским словом. Спасай дело Христово. Беги!

И благословил и поцеловал паренька.

Едва убежал паренек, как ворвались в обитель разбойники и схватили Иова.

Страшно было лицо атамана, все оно было изрезано бугристыми шрамами, не осталось на нем живого места, торчком росла куцая борода, над перебитым носом яростно горели глаза.

— Где золото, серебро, быстро показуй! — с нерусским выговором крикнул атаман.

Тут же возле него вертелся Анфим и твердил:

— Он это, он! Мне его отдай, атаман!

Ничего не ответил Иов лихим людям. Спутали его веревками, в рот забили кляп. Кинулись бесчестить святую обитель разбойники. Остался с мучеником Анфим, бил его, плевал в лицо, колот ножом. Но не мог в глаза взглянуть — укоряли глаза.

— Глаза вырежу! — замахнулся злодей ножом.

Окриком остановил его атаман, велел вынуть кляп.

— Где сокровище, говори!

— Сокровище наше — сия обитель.

— Где пинензы, деньги?

Не ответил Иов.

Кинулись разбойники сдирать со страдальца одежду, рванули ворот.

— Смотри-как, атаман, — крикнул разбойник, — говорит, золота нет, а это что?

И подал снятую с шеи страдальца золотую ладонку.

Взял атаман ладонку, посмотрел, поднял брови.

— А ну, геть отсель! — приказал людям. — Я сам поразмовляю.

Разбойники разбрелись по обители, ища поживы, и не слышали, о чем говорил атаман с пленником, да и услышав не поняли бы — речь шла не по-русски.

— Пан будет поляк? — усмехнулся атаман.

— Я Иов, чернец.

— Откуда у бедного мниха сия вещица? — показал атаман ладонку.

— Надо ли знать тебе? Хорошо, я скажу. Это наш родовой амулет, на нем написано по-латыни «Да хранит тебя Бог» и ниже наше родовое имя.

— Тут написано — Мозовский.

— Таково было мое мирское имя.

— Так ты шляхтич? — и, вынув саблю, он обрезал путы на ногах и руках пленника. — Скажи, как ты стал монахом в этой варварской стране?

— А как ты, пан, стал разбойником?

— Мне не было иного выхода.

— Мне тоже, пан атаман.

Атаман усмехнулся.

— Мне трудно поверить, чтобы поляк по крови

покинул лоно апостольской церкви и стал монахом в этих лесах.

— Так и мне трудно поверить, что поляк забыл Бога и стал убивать незащищенных людей.

— Посмотри на мое лицо, пан Мозовский. Они клеймили меня. Я сам своими руками вырезал их клейма! Вот почему я так страшен и вот почему я мщу за унижение!

— Нельзя мстить никому, а ты вымещаешь злобу на невинных людях.

— Э-э, то не люди, то быдло.

— Все дети Божьи, и тот, кто верует в Христа, знает, что за злодейство единая кара.

— То еретики и вера их еретическая, война с еретиками оправдана.

— Но ты не на войне, ты разбойничаешь, ты вне человеческого и Божеского закона.

— Для чего мне спорить с тобой? Ты — мой пленник. Я верю слову шляхтича и, думаю, ты не лжешь, говоря, что здесь нет богатства. Я вижу, монастырь ваш беден. Пусть так. Я скажу другое. Ты видел моих людей, это люди без жалости, они ничего не щадят. Только я могу тебя спасти, если ты поможешь спастись мне.

— Спасение твое в едином покаянии.

— Э-э, все это слова. Я не хотел быть разбойником, но я стал им. Я бежал из темницы и могу скрываться только с такими людьми. Но не думай, что я доволен своей участью. Я хочу на родину, в Речь Посполитую, но мне нет пути. Я мог бы передать моих людей властям, но боюсь, мне это не поможет... Ты мог бы помочь мне, ты мог бы вступить за меня, как лицо духовное, если я сдам свою шайку властям. Можно придумать и другое...

— Ты боишься человеческого суда, а Божьего суда ты не боишься?

— Оставь... Мы — люди одной крови. Ты — чужой в этой стране, как и я. Мы — поляки! Вспомни нашу родину, вспомни Речь Посполитую!

— Странно слышать слова о родине в устах убийцы. Я вижу, ты цепляешься за всякую тростинку надежды, но знай — ни от человеческого, ни от Божьего суда тебе нет спасения. Ты сказал о нашей родине. Первая моя родина — Господь Бог. Вторая моя родина — Русь, тут я родился, тут моя вера и родина.

— Я предлагаю спасти тебе жизнь, пан Мозовский.

— Я монах и давно умер для мира.

— Ты не знаешь моих людей, они не просто убьют тебя, они предадут тебя таким пыткам, коих не ведали святые мученики.

— Ты напомнил мне, что я шляхтич. Так знай, что ни пан Мозовский, ни монах Иов никогда не примут милости от убийцы!

— Ты прав, я убийца и во мне давно нет жалости, но ты шляхтич и мой соплеменник... Я готов пощадить тебя, но мои люди не любят оставлять свидетелей... Я могу взять тебя заложником...

— Оставь свой гонор, пан разбойник. Мы не соплеменники, мы — враги. Ты был среди тех, кто разорял и бесчестил русскую землю и русскую веру. Избежав возмездия, ты снова льешь кровь и жгешь селения. Нет, ты не поляк! Ты — безбожный Зажега, поляки проклянут твое имя, как проклинали его на русской земле!

— Довольно! — крикнул атаман. — Эй, люди! Он — ваш.

Сошел атаман с горы на речной берег, чтобы не видеть совершаемого, не слышать стонов истязуемого соплеменника.

Набежали разбойники на кровавую добычу и принялись мучить ненасытно.

— А ну, иголки! — покрикивали разбойники.

Щепали сосновые шпильки, загоняли под ногти, сначала на руках, потом на ногах. От мук нестерпимых терял сознание Иов, отливали его водой и продолжали терзать. Секли его ножом, ремни из кожи вытягивали, крест на груди вырезали. Текли слезы по лицу Иова.

— Смотри-ка, плачет! — глумились разбойники. — Што, ай не по скусу?

— За вас... — простонал мученик.

Смеялись разбойники, только один из них, Ермил именем, понял, что скорбел страдалец о геенне, их ждущей в том веке, и сказал:

— Отпустить надо душу к Богу.

— Мало! — заорал Анфим. — Я ему такую казнь придумал! А ну, вяжи его за ...!

Захохотали, загоготали разбойники. Сорвали со страдальца ветхие одежды, обнажили его девственное тело, на которое сам пустынный грехом почитал смотреть, обвязали веревкой тайные уды и с лихими криками и смехом поволочили по земле. Добежали до откоса, дернули веревку и отпали тайные уды, скатилось тело страдальца на берег к ногам атамана.

Увидал атаман, что содеяли люди его, увидел взгляд страдальца последний, не на него, на небо Божье, услышал слова молитвы на устах в пене кровавой.

— Негоже шляхтичу околети яко псу, — вымолвил атаман, вынул саблю и снес голову мученика. Откатилась голова и застыло смотрела в небо отверстыми очами.

Отер атаман кровь с клинка, взошел в гору.

— А цо, хлопцы, кто таку гарну казнь удумал? — усмехнулся атаман, и те разбойники, кто знал ту усмешку, наполнились страхом.

— Это я, я, атаман! — подскочил Анфим.

— Добже, не вшикий тако удумает... — Обрадовался Анфим, а атаман продолжал. — Ты нас сюда пшивел, молвил, богато злата, где воно?

— Я найду, найду, вот сейчас! — засуетился Анфим, почуя недоброе.

— Солгал ты, пшеклентый пес! Цо за лжу бенде, тебе ведомо? А ну, хлопы, с раската его!

С гоготом бросились разбойники на новую добычу. Истощенным смертным криком надрывался осужденный. Потащили его к обрыву, за руки, за ноги раскачали и швырнули. Смеясь смотрели, как, вертясь в воздухе, с погибельным криком летел человек и пожабь, глухо шлепнулся в прибрежное мелководье.

— Ай, да испукался! — гоготали разбойники.

С любопытством смотрели, как тело человеческое с отшибленными внутренностями, переломанными костью, выпавшими из глазниц очами, подобно раздавленному червю извивается, ползет по красной бровке, волоча черный след. Доползло тело до страдальца убиенного, ткнулось в ноги его, дернулось и застыло.

— А ну, хлопы! — крикнул атаман удалым голосом. — Зажигай! На то я — атаман Зажега!

Едва бросились разбойники разводить огонь, как прогремел громовой удар и потряс он всю гору. Небывалой черноты туча встала над горой и наплывала снизу реки дождевая полоса.

— Атаман! — подбежал один разбойник. — Кони скачут!

— А ну, пищали!

— Атаман! — крикнул другой разбойник. — Лодки на реке, обходят нас!

Бежали разбойники к лодке, последним сел атаман. Едва отплыли, как появился на круче всадник и крикнул могучим голосом, перекричав грозовой вихрь:

— Не уйдешь, Зажега!

И раскололось небо и огненная стрела пронеслась над лодкой, вонзилась в берег, вскипела река, хлынул водяной поток с небес.

Побледнел Зажега, будто крикнул ему ангел смерти. И бежали разбойники, боясь погони.

Но не было погони. Был один Павел с Юромы, что, встреча на дороге мальчонку, скакал на подмогу и опоздал. И лодки были не воинские — братия возвращалась с покоса. Сошлись они у бездыханного безглавого тела многомучимого страдальца, и плакали люди, и лили слезы небеса.

Погребли святого преподобного мученика Иова Ущельского в его пустыни у храма Рождества Христова, а Анфима, что ног его в смертной истоме коснулся, у ног его. И великие чудеса стали свершаться у гроба святого: исцелялись немощные и болезные и всем с верой приходящим была помощь от чудотворных мощей его.

А Зажега не ушел, настиг его Божий и человеческий суд.

Бежал он к морю, думал морем уйти. Поначалу, с Двины бежав, хотел с Пинеги выйти на Кулой, но задержали его ратные люди на Пинежском волоку, еле отбился. Ушел в глухую тайболу, там отсиделся, вышел на Мезень. Думал, добро награвя, до низу дойти, захватить шняку и заставить везти себя в каянские или свейские земли.

Но уже вся Мезень была встревожена. В Юроме стояли на круче мужики с кольем и стрельнули по лодке из пищали, а сами спрятались. Хотел покарать их атаман, да раздумал, побоялся людей терять, семеро их было. А скоро и шестеро стало — близко к лесу шла лодка, вылетела из чащи стрела и свалила одного в воду.

Бежал Зажега по Мезени изо всех сил, везде, за каждым кустом чудились ему выслеживающие глаза. Людей же в деревнях не было, скрывались жители. Зажигал пустые избы — пусть помнят разбойника Зажегу!

Не пошел Зажега на низ, знал, что ждут его стрельцы в Окладниковой слободе, схитрил, свернул на Пёзу.

Думал снова в тайболу забраться, отсидеться на печорском волоке, а по весне выйти на Печору, пробраться на Пустоозеро, захватить купецкий корабль или с аглицкими гостями сговориться — за меха увезут. А то и дальше уйти, за Камень, — мало ли места для гулящих людей, мало ли мехов и злата? Не хотят инородцы белого царя, так не завести ли новую смуту, свое царство сибирское объявить? Были замыслы дерзновенны и велики. Одно надо было — от погони уйти, чудилась она по пятам с того дня, как монаха убили, неведомый грозный всадник гнался за ними, и не раз доносился тяжкий конский топот, и не раз в сумеречный час в отдалении на вершине холма появлялся черный всадник на фоне кровавой зари.

На Пёзе-реке успокоился атаман — не было погони, тихо текла река, спокойны и безлюдны были ее берега. Отлегло от сердца у лихих людей, легко поплыли они, с песнями.

В поздний час остановились разбойники на чистом берегу, костер разложили, стали кашу варить. Родовались — еще погуляем, хороша Расея, простору много.

Сварилась каша. Взял ложку атаман, варево попробовал, и поперхнулся: гулко раздался над лугом ужасный голос: «Иов!» И рухнул атаман в костер — сквозь шею прошла каленая стрела. Вскочили разбойники, и снова просвистела стрела, как утиные крылья в ночи, и еще один упал. Схватился другой за пищаль и навзничь опрокинулся. Бросились двое бежать в разные стороны, да светла ночь северная, и ткнулись оба в землю. Лишь шестой разбойник, Ермил, что пожалел святого, не бежал, лег, притворившись мертвым. И услышал над собой: «Вставай, тать!» Взглянул и увидел чудного богатыря с луком в руке.

— Вставай, злыдень, беги к людям, скажи, что Пашко с Юромы Божий суд свершил!

И бежал разбойник со всех ног, и всю ночь свистело небо Божьими стрелами, утиными крылами, и

пришел он в Окладникову слободу и повинился и объявил все, как было. Злая была ему казнь — был бит кнутом и ослеплен. И без свету в очах, в рубище убогом побрел он по городам и весям земли северной и за сухую корочку сказывал добрым людям про Зажегу-атамана, про Пашко Туголукого и про Иова Много-страдального.

CHALIDZE — PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue
New York, N. Y. 10018

Хроника защиты прав (по-русски и по-английски)

Годовая подписка
(4 номера)

Индивидуальные подписчики	15.00 долл.
Студенты	10.00 долл.
Институты, библиотеки	20.00 долл.
Подписчики-спонсоры	100.00 долл.
Отправка «авиа»	5.00 долл.

Сборник документов общественной Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Выпуски 1-6, 1977-1979, цена — 5.00 долл. за выпуск (издание продолжается).

РЕЛИГИОЗНЫЙ САМИЗДАТ

НАДЕЖДА

Христианское чтение

Составитель — Зоя Крахмальникова

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРЕДАНИЕ · ОТЦЫ ЦЕРКВИ · ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ · ПРАВОСЛАВНОЕ ПАСТЫРСТВО · МУЧЕНИКИ XX ВЕКА · РУССКИЕ СУДЬБЫ · ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ · ПРОБЛЕМЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

392 с. Цена отдельного выпуска — 24 нм.

(Магазинам, церковным приходам и другим распространителям — скидка)

ПОДПИСКА

на сборники «Надежда»,

обеспечивает читателям более дешевое их получение.

Подписная плата на 3 очередных выпуска при заказе непосредственно в Издательстве — 50 нм. При заказе через магазины и посредников — 60 нм. При подписке — доставка за счет издательства. Просим при подписке сообщать, с какого выпуска начинать высылку сборников.

Сборники «Надежда. Христианское чтение» нужны в России. Приобретайте их для переправки в Россию. Шлите нам пожертвования для той же цели. Благодаря содействию организации «Православное дело» третий и четвертый сборники выпущены увеличенным тиражом для бесплатной отправки в Россию. Но этого недостаточно — нужна и Ваша помощь!

POSSEV-VERLAG, Furscheldeweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

ЛИСТКИ

Перевод с немецкого Феликса Розинера

В сталинских лагерях молодая женщина познакомилась со старым по «стажу» и годам, больным, еле передвигающимся профессором, бывшим заместителем Луначарского по делам театра РСФСР. Они подружились, он помог ей хоть как-то разобраться в происходящем, помог, насколько это было возможно, утихомирить тоску по родине, мужу, родным, свободе, вовлек в воспоминания о театре, литературе, искусстве. В глубокой благодарности она стала напевать ему песни на своих родных языках — немецком и чешском, и постепенно, сама не зная как, писать ему ежедневно на клочках бумаги «Листки» (Lose Blätter). Их было очень много — сотни, но большинство погибло при обысках, на этапах. Сохранившиеся автор весьма неохотно отдал переводчику.

Ф. Р.

* * *

I

Вечерами хотела бы я
возвращаться
полная усталости
и впечатлениями дня
И совершая путь свой
непрестанный
от печки к столу
хотела бы
во всех подробностях
и точно
рассказывать тебе

что днем происходило
но и о том что не происходило
тоже
А ты бы
отрываясь от работы
ты взглядывал бы на меня
не слишком часто
но внимательно
и радостно-серьезно
И больше
ничего
я, собственно,
и не хотела б...

Коми, 1947

* * *

II

В твоём воспоминаньи
Пусть ты меня увидишь
Такой, какая есть —
Не лучше и не краше
Не упрекая
И не прощая
Той, кем была,
Такой, чего я стою,
Такой еще, чтобы
Порадовала тебя.

* * *

III

Мотиву песни этой
учила мать меня
давно, давным-давно.
И всякий раз
лишь зазвучат во мне
ее слова
напев ее
мне чудится, что снова
мать поет,
как и в те дни,
когда ей довелось
все горести познать,
а я о горе ничего не знала,
и было не понять мне, почему
трепещет сердце,
когда мать поет.

Коми, Межод, 1944

* * *

IV

Как долог день.
Оно нерасторопно — время.
Душа моя тоскует о тебе.
Как долог день,
Минуты тянутся сквозь
непрерывную работу,
К тебе мой путь не скор.
Как долог день,
но в нем —
Для радости и мига нет.

И лишь к ночной поре
Я расскажу тебе,
Как пуст и долг день.

* * *

V

Изборожден твой лоб
И нет числа морщинам
Около твоих глаз.
Своя повесть у каждой складки.
И каждая говорит.
 И одна из них
 Резкая борозда —
 Это повесть моя.
В ней вся скорбь —
Все, что я тебе принесла.
И то, что ты сказал мне —
 Тогда
Когда борозду эту
На лик твой нанесла.

* * *

VI

Когда та дверь
Закроется за мной
В последний раз,
Ты станешь долго смотреть вослед,
Долго — так долго
Не понимая,
Что нет — почти уже нет меня.
После этого многое — лица,

События
Пройдут в ту же дверь
К тебе,
Но не я.
И тогда ты с долгой
Медленно растущей болью осознаешь:
Я лишь в тебе присутствую.
С тобой же — нет меня,
Мой друг.

* * *

VII

Годы,
что прошли передо мной,
люди,
страны,
событий яркий след,
безмолвье пережитых чувств —
все разом воплощается
в воспоминанье,
что так болит,
что слито воедино
с самым давним,
но до сих пор живым
кровоточащим.
И в неизбывной тяжести бессонной
ночи
с воспоминаньем этим
я возвращаюсь далеко назад.
В ладонях моей матери
лежит моя ладонь
и влажные глаза глядят
в мои глаза
и всё-то

всё
провидят
понимают
хотя сказала я одно лишь:
— Мама,
 прощай!
 Коми

* * *

*Написано после Коми,
т. е. после «последних ворот».*

VIII

Ежевечерне
с окончанием работы
как прозвучит сигнал
ты думай обо мне
в короткий миг
так сердцем ожидая
как если б я могла сейчас прийти
и в это время
отстранясь от мира
всем существом своим
с тобою буду я.

* * *

IX

Вечер длинен,
темна твоя избушка,
задушевен твой взгляд,
восторженно мое сердце.

Между нами несутся слова,
хрупкие, как музыка,
и музыка,
хрупкая, как наши слова:

Ты,
с Тобой,
Дом...

А потом исчезают все слова
и вечер продолжается
без слов?
без музыки?

Княж-Погост

* * *

X

Проходит лето.
Осень зацветает.
И здесь, где ты и я,
Зиме грядущей не найти меня.
И все,
все то, что было нашим,
исчезнет навсегда:
на утреннем рассвете встречи
каждый день
и вслед за этим
бесконечность ожидания,
когда наступят, наконец, минуты,
которые нас вновь соединят,
и пустяки и важность
разговоров
среди сумерек,
среди утренней зари...
И не входить мне
в комнату твою,

и уж моим листкам
не радовать тебя
перед приходом ночи.

Ракнас. Окт. 47 г.

Большой ежемесячный Календарь на 1981 год

с 13-ю первоклассными репродукциями русских православных икон, с полными святцами, Евангелием и Апостолами на каждый день. Весь текст календаря, за исключением святцев, четырехязычный — русский, английский, немецкий и французский. Размер календаря — 41 × 30 см (14" × 10"). Печать икон — многокрасочная, глубокая. Печать текстов — двухкрасочная, плоская. Календарь покрыт защитной фольгой.

Цена прошлогодняя — 24 нм., включая пересылку при розничных заказах при оплате одновременно с заказом.

POSSEV-VERLAG, Furscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

ТРИ РАССКАЗА

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Поселок двадцать девятого километра начинался на пологом склоне, сразу за поворотом, там, где дорога, ведущая в город, ответвлялась от Кандалакшского шоссе. Дорога круто взбиралась вверх и лежала между четырьмя почерневшими домами в два этажа. Дома стояли на высоком месте, а бараки вытянулись на зеленом уклоне, за которым в низине у протоки тянулось болото.

Со второго этажа крайнего дома открывался вид на озеро, светлое в июне, и на шоссе далеко внизу.

Дети играли на лугу у болота. Крики доносились навверх. Галя глазами отыскивала среди них своего мальчишку и отошла от окна. Ей не хотелось оставлять сына одного, но муж не любил, если они приезжали вместе.

У Галки был муж — ласковый мужик с мягкими руками. Ладони его задубели от топора, но казались ночью мягкими. Такое приходило ощущение. Она ждала их прикосновения и не могла привыкнуть, и хотела еще. Мальчику он был чужим, чужим и остался. Не корил Галю, но никогда не спрашивал о сыне, не пускал в свою жизнь. Временами Галке казалось, что он и это не сможет до конца в свою жизнь впустить.

Автобус уходил через сорок минут. Ужин и завтрак для парня стояли на столе, а к обеду она думала вернуться. В записке сообщала, что будет на работе, иначе сын обидится, что не взяла.

Лейтенант Городецкий не застанет ее. Через три часа они встретятся с мужем. До заповедника три часа

на автобусе, а они не виделись больше месяца. Больше месяца — значительный срок, и ей было трудно. Не могла она без мужа. А тут еще лейтенант, веселый и упрямый, и на мотоцикле. Прощлый раз он так и сказал: «Поедешь со мной в Питер...» А куда же с ним ехать, если его самого разжаловали в лейтенанты и прислали из Питера сюда.

Галка вышла из магазина с поллитровкой, когда на дороге показался мотоцикл. Мотоцикл покати́л к ее дому, а она пошла вдоль по дороге к автобусной остановке.

— Часа через три буду у мужа...

Она подумала, что сошлась с ним не по любви, но как складно все устроилось. Главное вовремя понять свою слабость. Иначе останешься, как дом без стены — каждый заходит и берет. С мужем она была спокойна. А то, что давно не виделись и ослабла, можно исправить. Она улыбалась, предвкушая светлые шорхи ночи и запах сена и леса, и смолы.

Мотоцикл обогнал ее и остановился неожиданно. Городецкий, быстроглазый, с лицом, как после юга, со скрипом повернулся в кожане.

— Далеко?

— В заповедник.

— Значит и сына бросила, бежишь?

— Бегу, — засмеялась она. — От искусителей.

Мотоцикл опять затарахтел, но лейтенант опять обернулся:

— Накладные выпиши на мел.

— Ты что! На автобус опоздаю!

— Мел нужен позарез, — лицо лейтенанта стало серьезным. — Иначе план горит... Не зря же солдат в воскресенье вывели работать.

— Значит, завтра рабочий день? — спросила она.

Городецкий покрутил ручку газа.

— Садись!

— Утром выпишу... Вернусь на первом автобусе...

— Ты что, ребенок?.. Бабе тридцать лет, а все дурью мается. Съедят тебя, да?

— Шоферы в гараже в ночную работают, может отвезут? — подумала она вслух, ей нужно было добраться до заповедника.

В складе было темно, и Галка зажгла свет. Накладные куда-то запропали. Наконец, она разобралась в ворохе бумаг. Городецкий стоял за спиной. Она слышала его дыхание и не могла сосредоточиться. Легкая рука легла на плечо, скользнула по шее.

— Отойди.

Позвякивая ключами, он отошел и опустился на мягкую кипу поролона в углу.

— Ух ты, как хорошо! Иди ко мне.

— Тороплюсь, как же.

— Это серьезно, — сказал он. — В Питер поедем, вместе с пацаном поедем. Ему учиться надо. Парень такой замечательный, что же он с четырьмя классами останется?..

Галка слушала. Ей хотелось верить. В тридцать лет это трудно. Мужиков много, отцов вот нет.

На дороге прогудел автобус. Галка знала, что не успеет. Надежда была на шоферов и на Леню-диспетчера, и она не торопилась с накладными.

— Всё.

Лейтенант поднялся.

— Возьми на столе.

Галка вышла из склада и направилась к диспетчерской.

Сарай-склад находился на территории гаража, огороженной колючей проволокой. Гараж был не большой: десятка два грузовиков, кирпичный домик для ГСМ и запчастей, полуразвалившиеся зимние боксы на пять машин, да эстакада. Вагончик диспетчерской стоял напротив склада. Галка оглядела еще раз гараж и вдруг поняла, что машин нет: на ремонте стояли два самосвала и в стороне чернел командир-

ский «газик». Обида пробудилась в ней. Она еще стояла, подержалась за ручку двери и вошла.

Леня-диспетчер, белокрысый москвич третьего года службы, сидел за столом и писал письма. Он видел Галку каждый день и знал, что сегодня она собиралась в заповедник. Когда он обходил гараж, на складе горел свет, и у входа стоял мотоцикл Городецкого. «Опоздает», — подумал он. Затем проехал автобус, и Леня пошел писать письмо. Он знал, Галка сейчас прибежит просить машину. Машин у него не было. Он не мог ей помочь и злился от того, что придется это объяснять.

Галка сидела молча. Диспетчер писал письма. Иногда он поднимал голову и поглядывал на нее. Толстоморденькая, как сдобная булка, надутая, она серьезно смотрела в окно. Но когда взгляды их встретились, Леня почувствовал в ней сверстницу.

Вошел лейтенант. Диспетчер вскочил.

— Товарищ лейтенант!..

— Стаканы есть? — спросил Городецкий, в руке у него была поллитровка.

— Зачем взял? — рассердилась она.

— Все равно уже не поедешь, я завтра отдам.

— Тогда и закуски принеси. В сумке.

— Пацану лучше оставь.

— Там много.

Леня достал кружки и стакан. Лейтенант ушел за сумкой.

— Не пей, — сказал Леня.

— А и выпью, ничего.

Леня пожал плечами. Он видел, как она дрожала.

После водки диспетчеру писать не хотелось. Лейтенант ближе придвинулся к столу. Он сбросил куртку. Теперь на его погонах хорошо были видны пятнышки от снятых звезд. В вагончике сделалось жарко. Леня нацепил ремень и вышел во двор.

Опьянения он не чувствовал, но ему было хорошо. «Убрался бы этот лейтенант, — подумал он и представил, как они с Галкой остаются вдвоем. — Славная баба, но лучше без этого...»

«Газик» стоял пустой. Леня хотел посидеть в кабине, пока они там. Но передумал и направился к самосвалу.

Из-под машины торчали ноги в грязных сапогах и замасленном ХБ.

— Тыква! — позвал Леня. — Отвези кладовщицу на Салму. Нужно ей в заповедник к мужику.

Васька Тыква поднял большелобую голову:

— Лейтенанту хочешь помешать, ревнуешь?

— Иди...

— Вези ее сам, если охота. У меня крестовина полетела.

— «Газончик» на ходу. Я тебе путевку выпишу, отвези.

Тыква сопел под машиной.

— Верный шанс заработать, бутылку она поставит.

Леня постоял еще с минуту, повернулся и пошел к вагончику. В диспетчерской никого не было. На гвозде висела забытая куртка.

Тыква явился через полчаса.

— Выписывай путевку. Если поставит, вместе пьем.

Леня достал чистую путевку, припрятанную на всякий случай.

— Выпиши сам, я на склад...

И он вышел за дверь.

Солнце уже опустилось низко и, зацепившись за крышу, выплескивало слепящий свет прямо в глаза. Мотоцикл стоял у сарая. Дверь была заперта изнутри. Ленька пнул ее сапогом и пошел назад.

Мотоцикл разбудил его. Треск слышался за домами, он удалялся и скоро пропал. Леня выглянул в окно. Небо над тундрой было зеленое, с позолотой. Солнце спряталось за темную вершину Нитиса, и гора в малиновой дымке стала еще черней. Облака тяжелые, тоже позолоченные, плыли к ней в предутренних сумерках.

Галка шла через двор, на ходу застегивая пальто. Леня вышел на порог, протирая глаза.

— Тыква тебя отвезет, — зачем-то сказал он.

— Я домой. Мальчишка мой не приходил?

— Здесь он.

Галка хмуро посмотрела на диспетчера и рассмеялась. Ей хотелось спать, но солдат рассмешил ее, такой у него был вид.

Она поднялась к нему и с крыльца оглянулась: озеро вдаль казалось розовым. Спокойным и безмятежным оно было в июне. Галка вошла в диспетчерскую улыбаясь. Леня отворил дверь и пропустил ее вперед — малыш спал на сдвинутых стульях, укрытый курткой лейтенанта.

В ЭТОЙ ЖИЗНИ

Макнамаре было пятнадцать лет. Ее голубые трусики развевались на ветру на палке, поднятой над баракком, как флаг третьего взвода.

Никто не знал настоящего имени девушки и откуда она. Известно было, что Макнамара не из ближнего поселка и вообще нездешняя. О происхождении своем она молчала. Может быть, потому, что не спрашивали.

Была она худенькая, светловолосая, с большим недетским ртом, — плоская грудь, мягкий живот женщины. Улыбалась как-то изнутри: по лицу словно

тень пробежит. Но если она просила и улыбалась, никто не мог отказать.

Когда Тима простудился и лежал с температурой, Макнамара не подпустила к нему безграмотного узбека-фельдшера и выхаживала сама.

Сквозь бред и лихорадочный калейдоскоп лиц и теней Тима запомнил руки легкие и прохладные, и как стучат зубы о край жестяной кружки и откалывают эмаль, и эмаль остается на зубах. Он запомнил эту кружку, в которой всегда вода, детские пальцы — тонкие, но уверенные и проворные, и тень — перед глазами все время качалась худенькая тень, хрупкая фигура в старом платье.

После аспирина температура упала до 35,7. В дощатой казарме дуло из щелей. Укрытый шинелями и ватниками, Тима стучал зубами от холода. Потом, ослабев, он перестал дрожать и лежал совсем смирно, как неживой. Иногда Макнамара забиралась под одеяла и отогревала его своим телом.

Она выходила его.

Мало кто помнил, как Макнамара появилась в казарме. Но Тима помнил: ее привел кто-то из парней в тот вечер, когда его друг Саня Чистяков уехал в самоволку в Лоухи. Ночью нагрянуло начальство — устроили проверку. Пересчитали личный состав: все люди оказались налицо. Макнамара укрылась под одеялом, ее приняли за спящего солдата.

Пока Чистяков отсутствовал, она спала на его месте. Он вернулся, и они с Тимофеем подыскивали ей исправную койку, подушку и матрац.

Во взводе к ней привыкли. Парня, с которым она пришла, перевели в другой отряд, а Макнамара по-прежнему жила в казарме. Она обедала вместе с солдатами. Днем сержант выгонял взвод на работу. Макнамара оставалась помогать дневальному: чинила одежду, топила печь, где сушились сапоги, или отсыпалась.

Под вечер она забиралась к кому-нибудь в койку, нагревала место и ждала. Ребята за день выматывались, а койки были узкие, и, когда солдат засыпал, Макнамара осторожно вставала и, накинув ватник, до утра слонялась по казарме. Одна в своей постели она зябко ворочалась и уснуть не могла.

Тима лежал в углу. Иногда она подходила, чтобы поправить подушку. Но, прежде чем приблизиться, долго всматривалась — спит ли он. Она стеснялась Тимофея, и это стеснение пугало ее.

— Чего следишь за мной, влюбился что ли?

Голос скрывал надежду грубой хрипотой.

Тима опускал ресницы. В синем свете ночника Макнамара скользила по проходу, обманутая взглядом. В походке сквозило разочарование.

Из отряда позвонили и предупредили, что едет начальник штаба. Два дня наряд наводил марафет в казарме. Макнамара, подоткнув юбку, вместе с дневальными драила полы. Когда все было готово и послали машину на станцию встречать начальство, сержант подошел к Макнамаре.

— Свалила бы ты куда, капитан приезжает.

— Ну и что? — удивилась она. — Я и с капитаном могу.

Она закрылась в каптерке. Никто не стал ее оттуда тащить.

Приехал капитан. Он был утомлен дорогой и в раздражении, но увидел порядок в казарме — просветлел. Смотр шел хорошо, пока в сушилке он не заметил застиранную комбинацию, висевшую на гвоздике.

— Что это?

— Макнамара забыла...

Сержант не успел растеряться.

— Что за Макнамара?

— Да есть тут одна, товарищ капитан, приبلудная вроде...

— О чем вы думаете, сержант! Чем вы здесь занимаетесь? Развели, п-понимаете... Убрать!

И позднее, немного остыв, он добавил:

— Что же мне об этом в штабе докладывать?

Капитан двинулся дальше по коридору, рассматривая плакаты на стенах.

Когда машина с начальником штаба скрылась за лесом по дороге на станцию, Макнамара выбралась из каптёрки. Она взяла у дневального веник и, насвистывая, вымела за капитаном крыльцо.

Утром сержант сказал Макнамаре:

— Капитан приказал убрать посторонних.

— Еще чего! — ответила она. — Ребята не захотят.

— Их не спрашивают, это армия, — спокойно сказал сержант.

Ребята молчали.

— Вы молчите? — удивилась она. — Разве я уже всё... не нужна?

Солдаты отворачивались. Никто не проронил ни слова.

— А я думала...

Голос ее упал.

Тима хотел сказать, но слова потерялись, и какой здесь, к черту, устав, если нельзя было посмотреть ей в глаза. Тима понимал: все, что он скажет сейчас, будет ложь. Ему стало противно. Он ненавидел обстоятельства, принуждающие лгать.

Тима молчал, но и молчание его не было правдой. Не лгала лишь одна Макнамара — ей действительно некуда было идти.

— Куда же я пойду?

— Не знаю... Капитан приказал.

— А я так думала, что нужна, — сказала она опять, когда они шли через лес.

Макнамара быстро собралась. Чистяков подарил ей свитер, а Тима солдатскую куртку с капюшоном и шерстяные носки. И они пошли проводить.

Трое брели по лесу, по тонкому талому снегу. Была весна, и в лесу звенела вода. Попадались островки сухой прошлогодней травы. Макнамара опустилась на один такой островок и просительно улыбнулась:

— Хотите в последний раз?

Тима покачал головой.

— Ну, он-то никогда не хочет, такого не уговоришь. А ты? — спросила она Чистякова.

Чистяков грустно отказался.

— Тогда пойдем, — сказала она и двинулась вперед, разбрызгивая снег сапогами.

На шоссе они остановили попутку. Макнамара улыбнулась, и шофер согласился взять ее. Он рассмеялся в кабине и подмигнул солдатам.

Макнамара взобралась на подножку и сказала:

— Я вернусь. Если кто вспомнит обо мне — я приеду.

— Ведь я не смогу тогда не приехать, правда? — сказала она и поцеловала Тиму.

Она уехала. Никто ее больше не встречал.

Тима долго не хотел понять, почему Макнамара поцеловала его, а не Чистякова. Если она и вправду приедет, что сказать тогда? Он боялся, что опять придется лгать, и не решался много думать о Макнамаре.

Бояться бесполезно. Это он понял позднее.

БОБИК ТАРАНУХИНА

Рядовому Собакину не хватало роста. Но он хорошо помнил, что у Наполеона рост был еще меньше. Собакин перерос императора и не дотянул до желан-

ной отметки. В том видел он подтверждение своей невезучести.

Не везло ему хронически. Причина была неопределима. В институт Собакин не поступил, в экспедицию не уехал. Осенью его забрали в армию.

Мать радовалась этому обстоятельству, потому что сын начал играть. Она не пожелала, чтобы после аттестата Боря шел на завод, там среда не для Бори, — устроила его в свой НИИ: у лаборантов много свободного времени, можно заниматься. Собакин занялся преферансом. И, возможно, мать сама попросила военкома ускорить призыв.

В карантине играли в секу, в козла. К плебейским развлечениям Собакин был равнодушен. Но охотно пил водку, если угощали. Водку приносили из города. Собакин не ходил в магазин. Он давал деньги или вовсе отказывался. Он не боялся попасться, ведь все знали: за самоволки в карантине не имеют права наказывать по всей строгости. Но Собакин не ходил, потому что не хотел быть на посылках.

В карантине Собакин познакомился с Докушевым. Они подружились.

Докушев лежал с температурой. В первые недели почти все переболели, и многие лежали в старой сырой казарме. В изолятор не брали с температурой меньше, чем 38. Изолятор был переполнен. Капитан медицинской службы спокойно называл это «переакклиматизацией». И, действительно, никто не помер.

Докушев хрипел на койке второго яруса под бушлатом и двумя одеялами. Собакин приносил ему кофе по утрам, днем компот, вечером чай. Масло Докушев отдавал ему. Но Собакин еще не умел есть один и делился с Мишкой Савельевым.

В мае растаял снег. Только сопки голубели под солнцем. Тайга ниже уровня снегов стала грязно-бурая, потемнела, как будто даже потеряла цвет. Зеленовато-розовая дымка окутала леса. Там, за дымкой,

творилось таинство. Мы это чувствовали. Нас манило туда. И однажды, когда на подъеме роту выгнали из казармы, все увидели, что сопки зеленые, а снег узкой полосой блестит на самом верху.

Но это случилось уже в июле, когда мы с Собакиным сошлись покороче. К тому времени он сильно переменялся, сделался добрее, спокойнее, увереннее даже. Он чутко отмечал происходившее вокруг и жадно впитывал, как будто насытиться не мог ощущениями, открытыми вдруг. Собакин мало делился и не говорил о себе. Но в то утро, когда мы стояли на крыльце казармы и смотрели на зеленые сопки, он заговорил.

Рота строилась на зарядку, и нас никто не окликал.

После завтрака мы пошли на работу пешком. Дорога была мокрая после ночного дождя и вела через лес. Птицы пели свои июльские песни. Собакин говорил и говорил. И думая о том, что произошло с ним, я забыть не мог, как стояли мы утром на пороге, смотрели на зазеленевшую тайгу, и что-то откладывалось в нас, в каждом свое.

Наверное, ничто не безответно, и в судьбе человеческой принимает участие всё...

А в мае, когда отряд вышел на работу, Собакин не ведал, что ему предстоит. И у него не было сил переменить судьбу.

Задача была ясна: бригада-отделение копала котлован под фундамент. На дне трехметрового углубления траншеи плескалась вода. Собакин стоял повыше и отламывал ломти глины отбойным молотком. Докушев спустился вниз в резиновых сапогах. Лезвие лопаты блестело на солнце, глина сочно чавкала, вода заливала за голенища. Докушев ослабел за время зимней болезни, и лопата часто вырывалась из худых рук, вместе с прилипшим комом глины вылетала на бруствер. Тогда Мишка Савельев, по прозвищу Граф, ло-

вил ее наверху, отбивал на камне и кидал вниз. Он ходил по самой кромке, и земля сыпалась Докушеву за шиворот.

Обеда не хватало. Суп привозили в термосах, в дороге он превращался в кашу.

Столы из свежеструганных досок были врыты в землю под соснами на берегу реки. Вода пенилась и звенела. От воды ломило зубы и руки. И семга плескалась между камнями.

Собакин работал со всеми. Он больше молчал. Молча выполнял, что указывали. И ничего не начинал сам. И обедал он молча, и руки мыл в стороне.

Ему было мало порции, но просить добавки он не умел. И когда однажды во время дележки Граф подрался со «стариком», надел тому миску с горячими щами на голову и его никто не тронул, Собакину сделалось невыносимо — он не мог так легко и свободно совершить подобное, а если бы с отчаяния и решился, его бы непременно побили. И никто бы не заступился. А может, и убили бы. И уж лучше пусть убьют совсем, чем просто ударят. Собакин боялся, что его ударят, — он знал, что не ответит.

Работа выматывала. Дорога с работы выматывала еще больше. На грузовиках не хватало мест. Приходилось возвращаться пешком — шесть километров через тайгу.

Мы топали по размытому гравию, перебирались через ручьи. Птицы кричали над головами. Казалось, они кричат о нас, о долгих годах, что впереди, и о том, что оставлено, и о нежелании осознать потерю — не было ничего в прежней жизни, ничего не осталось... Но мы были отравлены воспоминаниями. Хотелось скорее дойти и лечь, закрыть глаза и вернуться хоть на миг, хоть на ночь к невозвратимому. А скалы нависали на склонах. К вечеру они темнели, и краснела подснежная брусника в молодой траве.

После ночной смены идти пешком в казарму было совсем неважноту. Солнце светило ночью, светило днем. Пропадало ощущение времени. Завернувшись в бушлаты, солдаты спали на сырых досках. Рядом работал бульдозер, но его не слышал никто.

Однажды Собакин и Докушев в поисках места посуше забрались на крышу компрессора. Металлическая крыша была еще теплой, и они уснули на ватниках. Дневная смена завела двигатель, но Собакин проснулся лишь, когда компрессор затих. Его заглушили и ушли на обед.

Собакин лежал. Вокруг было тихо и тепло. Ему показалось, что он умер — мертвый лежит, и никто больше не гремит, не трясет и не трогает его.

Он открыл глаза. Солнце ослепило, и сразу заболела голова. Докушев спал. Неизвестно было, как они вдвоем уместились на узкой крыше и никто не свалился. Но Докушев спал, и теплый воздух от двигателя поднимался вверх и щекотал ему ноздри.

В отряд они возвращались через лес и говорили о йогах, о Боге, о религиях востока. Собакин привез с собой в армию книгу йога Рамачараки. Он мечтал о высоких совершенствах.

— Высшее счастье — не желать, — пытался утверждать он.

— Ты не умеешь, — возражал Докушев. — Нельзя одновременно «не желать» и умирать от унижения, если дали плохой кусок.

— Ты не понимаешь буддизма.

— А ты не понимаешь себя.

Собакин пожимал плечами. Понимать людей и быть ими понятым — недостижимая мечта. В девятнадцать лет трудно отказаться от попыток объяснить себя. Собакин не желал согласиться с тем, что знал о себе. В нем не было мира и силы, чтобы принять, а затем переменить себя. А пребывание в себе таком становилось для него невыносимым.

Но, когда они шли по лесной дороге, ему достаточно было и того, что Докушев шагает рядом.

Не везло Собакину по-прежнему — он умудрился обыграть в карты старшину.

Старшина Таранухин, двухметровый верзила по прозвищу Тарантас, с огромными ленивыми руками, которыми загребал выигранные у солдат деньги, брался за карты, чтобы раздобыть на выпивку. Это ему неизменно удавалось.

Везение или особые таланты были здесь ни при чем. У Таранухина серьезно болела печень. Зимой он провел в госпитале. И жена боялась за него, не давала денег. А без питания он не мог.

Любили играть с ним «старики». У них, почти у всех, были в городе знакомые, и субботние увольнения становились потребностью. Поэтому у Таранухина была водка, а одни и те же люди по субботам неизменно увольнялись в город. Субботнее увольнение имело преимущество перед воскресным: возвращались на час позже, а иногда отпускали и на сутки.

Собакин всего не знал. Он и выиграл какую-то малость. Но Таранухин ему этого не простил.

С тех пор на подъеме Собакина первого трясли и будили. Одеяло слетало с него под «бруг-га-га!» Тарантаса. «Шевеляйся, шевеляйся!» — гудела над ухом иерихонская труба. Старшина засекал время, и фамилия Собакин громогласно склонялась от подъема до развода.

Его наказывали за медленный подъем, хотя он и слетал с койки так стремительно, что сбивал с ног копошившихся внизу. Его наказывали за невыход на зарядку, даже если он предъявлял освобождение врача. Его наказывали за плохую заправку постели, даже если койки рядом были смяты или вовсе не заправлены. Его наказывали за разговоры в строю и за курение, даже если курили и разговаривали в другом конце

шеренги. Утром его наказывали, а по вечерам он отработывал наряды.

Собакин колол дрова, мыл полы, дневалил, подметал траву, вытирал пыль, гонял ночных бабочек в казарме. Он чинил табуретки, складывал и перекладывал старые валенки на складе, топил печи, скалывал грязный лед, засыпал песком и гравием выбоины на дороге, мыл самосвалы и делал много различных и необходимых, и бессмысленных вещей.

Все вечера у него были заняты. На воскресенье его ставили в наряд на кухню, точнее в посудомойку.

Собакин похудел, осунулся, щеки ввалились. Он дергался, если слышал свою фамилию, и ладони у него моментально потели. ХБ за месяц так поистрепалось, что неприятно было смотреть. Он сделался самым неисправимым нарушителем в роте. Наказания сыпались нещадно. Он даже не успевал нарушать и, в конце концов, разучился понимать, где нарушение, а где нет. И уже действительно нарушал и, получая наряды за дело, сам не ведал, что творил.

У Собакина была привязанность. Он любил Бобика Таранухина, точнее Тарантасова пса, рыжего веселого драчуна, безродного и беспризорного предводителя местных собак и грозу самовольщиков. Из-за любого солдата, замеченного ночью за оградой, он поднимал яростный лай, хотя днем не обращал ни на кого внимания.

Собакин прикармливал пса. Все немногое свободное время проводил с ним. Он часами мог сидеть на солнышке, гладить Бобика, вычесывать ему шерсть.

Бобик отвечал взаимностью. По вечерам он исправно являлся к столовой. На ужин нам давали рыбу: рыбу с картошкой, рыбу с макаронами, рыбу с кашей. Свою рыбу Собакин отдавал ему.

Таранухин ревновал Бобика. Он пытался его наказывать, но пес убегал от ремня и отработывать наряды, объявленные ему пьяным старшиной, не стал. На-

конец, Таранухину удалось поймать его. Бобик был заперт в сарае и посажен на цепь. По-видимому, его перевоспитывали — по вечерам у сарая слышалась пьяная ругань и жалобный визг.

Собакин, не видя несколько дней Бобика, отвык и скоро почти забыл о нем. И рыбу за ужином съедал сам.

Всё, что случилось потом с Собакиным, вроде бы и не сложно, но есть вещи, которые и понимаешь нутром, а не объяснить. Может, он слишком много думал о йогах и о тайных религиях Востока. Может быть, он думал об этом, когда отрабатывал наряды, а мысли на подневольной работе настраиваются на определенный лад. Может быть, просто время пришло, и пробил час.

Мишка Граф достал три рубля. Собакин с Докушевым сидели на койке в ожидании ужина. Граф присел рядом, молча расстегнул клапан левого кармана гимнастерки и показал зеленый уголок. Докушев так же молча встал и направился в каптерку. Вернулся он с банкой консервов и куском копченой колбасы — все это ему присылали из дома.

Собакин не получал ни посылок, ни переводов. Только нравоучительное письмо раз в две недели: его нельзя было прочесть на закуску — на первой фразе подавишься. Он мог бы попросить на кухне, там к нему привыкли, не откажут. Но конкурировать с Докушевым не посмел.

— Йоги не закусывают, — сказал он.

— Йоги бегают в гастронорме, — ухмыльнулся Граф. — Если попадешься, тебе все равно всех нарядов не отработать. А ужин твой мы принесем.

Магазин находился в четверти часа быстрого хода, в Лесной Слободе. Поселок этот на окраине города стал поселком лет пятнадцать назад. Прежде здесь был лагерь. Но бараки разгородили, сделали комна-

ты, посадили цветочки под окнами, а колючую проволоку увезли. Жили в поселке рабочие. Многие строили подземную электростанцию и жили здесь еще до поселка, а потом остались, не оценив перемен. Может быть, в их жизни перемены эти запоздали или были оценены по-своему. Так или иначе, в поселке не любили солдат, но к стройбатовцам относились хорошо. В гастрономе они пользовались привилегиями, и водку Собакину отпустили без очереди.

Собакин боялся наткнуться на сверхсрочника или офицера из части, еще хуже на чью-нибудь жену: за несколько месяцев лихой службы Собакина в военном городке знали все, и многие успели попользоваться услугами — старшине безразлично, куда посылать солдата отрабатывать наряд. Из осторожности в казарму он возвращался не по дороге, а через сопку, спокойно топая в тяжелых сапогах по узкой тропе в лесу. Бутылка оттопыривала карман. Она приятно булькала у бедра.

Собакин не торопился. Он старался ступать по зеленому мху и не слышал собственных шагов. Лес молчал. Даже птицы молчали. Тишина была, как музыка. И он раскачивался в такт этой невероятной музыке и шурил глаза.

Таранухин появился неожиданно, будто из-за елки шагнул. Бобик с лаем подкатился к Собакину. Огромная щель Тарантасова рта уже скривилась, и в горле булькнуло первое «ха!». Он протянул руки, словно сгрести хотел нарушителя в охапку. И когда корявые пальцы мелькнули перед лицом, Собакин, еще не успев испугаться, вдруг прыгнул вперед, вырвался и побежал, преследуемый треском кустов, лаем и воем, а затем и топотом. Старшина гнался за ним, прыгая с камня на камень, выбивая искры подкованными сапогами. Теряя равновесие, он ломал молодые сосенки на склоне и истошно матерился.

Собакин задыхался. Бежать становилось труднее. Он чувствовал, что оторвался не намного, и остановиться не мог. Портянки сбились в сапогах, и бутылка на бегу была по ноге. Он уже не бежал, но падал по склону, разогнавшись и едва успевая переставлять ноги, пытаясь ухватиться за ветви, чтобы остановить это полупадение. Понимая, что останавливаться нельзя, он оглянулся на ходу и, пролетев по воздуху, цепляясь за какие-то не то корни, не то стволы, в последний момент успев перевернуться не на бутылку, зарылся в сухой песок.

Топот и лай пронесли над головой и стали удаляться.

Собакин лежал, не решаясь пошевелиться. От сотрясения он выдохнул воздух, и внутри образовалась как будто пустота. Даже живот подтянуло. Он не мог вздохнуть и, поначалу не чувствуя ничего, медленно возвращался к действительности, ощущая и сознавая давящую боль в груди, реальную, как плач ребенка сквозь сон.

Наконец, он открыл глаза и вздохнул.

Мотогонщики после падения прежде, чем встать, ощупывают кости (кто-то рассказывал ему об этом). И он вспомнил и ощупал себя. Затем вытер кровь с расцарапанного лица и посмотрел вверх: до кромки было метров шесть.

На площадке рядом и вокруг торчали обломки скал и круглые валуны. Он лежал между камней на песчаном откосе. Это было единственное место, куда стоило падать. Мало того, бутылка уцелела. Видимо, чем-то он разжалобил своих богов.

Собакин поднялся. Он стоял в нерешительности, еще не осознавая, что с ним, где он и как было до этого. Возможно, что ничего и не было. Одно лишь падение и валуны вокруг, больше ничего.

На зубах скрипнул песок. Он нащупал бутылку в кармане и усмехнулся: может, что и было.

Некоторое время он стоял, прислушиваясь к шороху осыпавшегося песка. Крики и веселый лай заставили его встрепнуться. Топот возвращался.

Припадая на правую ногу Собакин отошел за кусты. Теперь голос старшины доносился сверху. Но Бобик забежал в расщелину и кинулся к Собакину, радостно повизгивая. Собакин поднял камень. «Назад, пошел назад», — зашипел он. Бобик остановился и опять кинулся к нему. Камень попал собаке в грудь. Рыжий комок заметался по песку, скуля, завывая, и, наконец, жалко поджав хвост, выбежал из расщелины.

— Ищи, Бобик... Ищи, — хрипел старшина. — Собакин, отдай бутылку по-хорошему, я же тебя все равно найду, подлеца. Я тебя в роте найду. Отдай бутылку и убирайся. Я с тебя наряды сниму. Ты где?

Собакин сидел за кустом тихонечко, вытирал кровь с лица грязным платком, и ему не было страшно. Он слушал ругань наверху и треск ветвей и сам удивлялся, почему вдруг не страшно. И чего это он боялся, зачем боялся? Всё казалось странным ему. То есть то, что было с ним прежде: и он сам, и вокруг него — все прежнее казалось странным и непонятным, а теперь сделалось простым. И когда Таранухин стал бить пса, Собакин вышел из укрытия.

— Не смей бить животное, — сказал он.

Таранухин оглянулся и стал искать место, чтобы спуститься вниз. Собакин нагнулся и подобрал с земли острый камень.

— Только сунься!

Старшина отпрянул от края.

— И не смей бить собаку. Тебе надо десять лет над собой работать, чтобы стать таким же умным, как он.

Прихрамывая, Собакин пошел вниз по расщелине, обходя валуны и не скрываясь. Он шел, ступая очень осторожно, придерживая бутылку рукой. Он ожидал, что старшина пустится следом, но того не было вид-

но. И Собакин перестал думать о нем. Он шел так, будто сам на себя со стороны смотрел, как он идет, и очень старался себе самому, со стороны глядящему понравиться, угодить. Это ему удавалось, а более и не требовалось ничего.

На поверку старшина не явился.

Собакин ждал. Он даже хотел, чтобы Таранухин пришел. Ему не терпелось. Он испытывал зуд, непонятный и странный, и все время улыбался, и озирался на дверь, и продолжал озираться. Ему не стоялось, и он вертелся в строю.

Поверку проводил командир роты. Сержант выкрикивал фамилии. Рота была большая, у сержанта болело горло, и на середине списка он охрип. Капитан расхаживал вдоль строя. Первая шеренга заметно волновалась: люди напрягались при его приближении и расслаблялись за спиной.

— Почему вы улыбаетесь, Собакин?

Собакин молчал. Он попытался сделать серьезное лицо.

— Почему вы улыбаетесь в строю?

Собакин попытался собраться. Он смотрел перед собой не мигая и чувствовал, как рот судорожно расползается в улыбке и не слушается его.

— Я вас накажу!

Собакин засмеялся. Он ничего поделать не мог с собой, ему было смешно и жутко. Он поперхнулся и рассмеялся опять, еще громче. И вокруг засмеялись, зашумели, заговорили.

— Вы обкурились анашой... Выйдите из строя!

Собакин вывалился на середину. Он трясся весь, руками придерживая на животе расстегнувшийся ремень.

— Я не курю, товарищ капитан... Здесь все знают, я не курю!

— Идите в канцелярию.

Собакин не сдвинулся с места.

— Выполняйте, рядовой.

— А я знаю, что рядовой. И так ведь ясно: рядовой Собакин, и можно делать с ним, что хочешь, и даже из ряда можно. А уж из рядовых нельзя, дальше уже некуда. Все сделали, что можно, а дальше уже некуда. Некуда, товарищ капитан, уже все со мной сделали... А я вот он! Вот он я, что вы со мной делаете еще?... Да что угодно... А я буду! Ниже нельзя уже, так я все равно останусь, так и делайте... Себе делаете!

Докушев побледнел. Капитан побледнел.

— Вы устали, Собакин... Идите, отдыхайте.

— Довели! — загудели задние ряды.

— Молчать! — закричал сержант. — Р-равнение на-пр-ра-ву!

— Это они себя, себя, только себя. Мне-то что теперь! Пусть...

Сержант потащил Собакина в спальню. Собакин шел, не упираясь. Он ждал, что его втолкнут в каптерку, где спали остальные сержанты. Но его не втокнули. Значит, бить не будут. Он не боялся, но и не хотел.

— Раздевайся! — скомандовал сержант.

— За сорок пять секунд? — юродствовал Собакин. — Мне и ширинку за столько не расстегнуть. Дай лучше наряд?

— Да ложись...

— А ты дай наряд, ну объяви, ну что же ты! Вот поставь перед строем и объяви. Как же так, не наказали меня! Почему не наказали? Непорядок...

Капитан кричал в коридоре. Сержанты бегали по казарме. Рота гудела. Поверку закончили. Капитан приказал распустить людей и через пять минут в спальном помещении гасить свет.

Кружки с отбитой по краям эмалью стояли на табурете в проходе между койками. Докушев ножом накладывал консервы на хлеб.

— Дурак ты, а не йог, — сказал Граф. — Чуть все дело не испортил.

— Оставь его, — попросил Докушев.

Собакин молчал. Одетый и в сапогах он лежал на койке.

— Теперь они тебя загоняют.

Собакин рассмеялся. Докушев сдвинул кружки. Пустая бутылка покатилась под кровать. Теперь он резал колбасу. Докушев делал это точно и сосредоточенно, чтобы никого не обделить.

— Завтра все узнается, — сказал Граф. — Выяснять начнут, кому водку нес.

— Не пей, если боишься.

Собакин молчал.

— Никому здесь ничего не докажешь, — сказал Докушев. — Они только верующих не трогают, пацифистов. Они боятся верующих. Силу чувствуют, не связываются. А один чудака патриарху написал, дело чуть ли не до ООН дошло, так после этого командира части сняли...

— Голова у тебя, Докушев!

— А может, я и вправду верующий? — вдруг поднялся Собакин.

Он сел рядом и взял кружку.

— Но Бога ведь нет?

— Давай за то, что Бога нет, — хихикнув предложил Граф.

— Я-то верю!

— Во что?

— Не знаю еще... Веру в себе чувую.

— Но ведь ты знаешь, что Бога нет, — сказал Докушев.

— Это нельзя знать. Можно только верить или не верить. Вера есть.

— Во что же верить?

— В себя... в деревья... или в Бобика... Камнем я его ударил, а отчего? От слабодушия.

— Дурачок тебя понюхал, — сказал Граф. — Ты это серьезно насчет Бобика?

— Вера есть, — сказал Собакин. — И сила в ней. А про Бога я не знаю, — он пожал плечами.

Кружки еще раз стукнулись. По сторонам беспокойно заворочались, завистливо заскрипели койки. Собакин пил глупо, мелкими глотками. Водка была теплая и противная. Он знал, что опьянеет.

Дневальный видел, как Собакин выходил из казармы, и записал его. Дневальными старшина ставил своих людей.

Собакин откусил колбасу и сунул недоеденное в карман, для Бобика. Пролезая через дыру в заборе, он еще не знал, куда пойдет. Наверное, собирался пойти на то место и посмотреть всё еще раз. Но услышал чьи-то шаги и остановился, прислонившись к забору.

Солнце уходило за вершину сопки. С моря прорывался ветер. Тени расползались по земле, превращаясь в сумерки. По небу неслись подсвеченные лиловые облака.

Собакин ждал. Его не пугало, что попадетсся он за пределами городка в поздний час. Ему было любопытно, и звук шагов казался знакомым.

Из леса вышел Таранухин. Старшину раскачивало, но он упорно шел к дому, и, когда приблизился, Собакин заметил, что лицо у него в грязи, а руки изодраны до крови.

Таранухин остановился перед врагом. Наклонив голову он смотрел сверху, слюна засохла у него на губе.

— Там он, — Таранухин махнул рукой в сторону леса. — Всё там...

И он полез в пролом.

Собакин брел по тропинке. Он решил дойти до того места. Ему было интересно, что оставил Таранухин там. Но идти далеко не пришлось.

Поляна, на которую он вышел, была небольшая, вся розово-серая от вечернего освещения и сухой под ногами пожухлой листвы. С правого края стояла мертвая лиственница, и на нижнем суку — Собакин даже не понял сразу, что это, — висел на брючном солдатском ремне Бобик Таранухина. Он висел неподвижно и как-то отяжелело, даже ветер не раскачивал тело. Хвост повис, лапы беспомощно опустились по швам. Он был похож на маленького солдата.

Борис тронул его рукой. Собака была ни тепла, ни холодна. Он прижался к пыльной шерсти лицом, потом поспешно достал нож и перерезал ремень. Тушка соскочила вниз. Собакин тскал на руках живого Бобика, но мертвый оказался тяжелее, и он не смог его удержать, уронил на землю к своим ногам. И вдруг согнулся, будто удар получил в солнечное сплетение, и упал сам на остывающее тело, и заплакал тихо, вытирая слезы о рыжий мех.

ГАЛЬПЕРИН Юрий родился в 1947 году, в Ленинграде. Учился на историческом факультете Ленинградского университета. Сотрудничал в журналах «Звезда» и «Костер». С 1979 года живет в Швейцарии.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА

Поэты, побочные дети России!
Вас с черного хода всегда выносили.

На кладбище старом с косыми крестами
крестились неграмотные крестьяне.

Теснились родные жалкою горсткой
в Тарханах, как в тридцать седьмом
в Святогорском.

А я — посторонний, заплаканный юнкер,
у края могилы застывший по струнке.

Я плачу, я слез не стыжусь и не прячу,
хотя от стыда за страну свою плачу.

Какое нам дело, что скажут потомки?
Поэзию в землю зарыли подонки.

Мы славу свою уступаем задаром:
как видно, она не по нашим амбарам.

Как видно, у нас ее край непочатый —
поэзии истинной — хоть не печатай!

Лишь сосны с поэзией честно поступят:
корнями схватив, никому не уступят.

4 июня 1960 г.

РУЖЕНЕ

В отеле «Метрополе»,
под мухой, в час ночной —
чего мы намололи
на мельнице ручной?

Всё помнить обреченный —
припомнить не могу:
чему же муж ученый
учил нас в МГУ?

Всё помнить обреченный
на долгие года —
я помню кофе, черный,
как прошлая среда.

Как черный день позора
в отечестве квасном.
Хлебнув его, не скоро
уснешь спокойным сном.

Где ты теперь, пражанка?
Услышу ль голос твой?
Все глушит грохот танка
по пражской мостовой.

Почетно быть солдатом
в отечестве моем.
Стоим мы с автоматом,
всем прикурить даём.

Хотя и не просили
курильщики огня...
За то, что я России
служу — прости меня!

КУСТАРИ

Им истина светила до зари
в сыром углу, в чахоточном подвале.
Шли на толкучку утром кустари
и за бесценнок душу продавали.

У перекупщиков был острый глаз.
Был спрос на легковесных и проворных.
Бездарный, но могущественный класс
желал иметь талантливых придворных.

И тот, кто половчей, и тот, кто мог,
тот вскоре ездил в золотой карете.
И, опускаясь, дошли у дорог
к подделкам неспособные калеки.

О, сколько мыслей их потом взошло,
наивных мыслей, орошенных кровью!
Но это все потом произошло,
уже за рамками средневековья.

ВЕЧНА

Ночное метро. Наверху непогода:
туман красноватый клубится у входа,
и в мокром асфальте, как в крышке рояля —
огни, окружившие площадь роями.
Оттуда — капроны в подтеках и крапах,
и влажного драпа щекочущий запах.

А мраморный мир безмятежен и светел,
и залы ночные как будто просторней.
Подолы рванет субтропический ветер,
и шаром прокатится гром по платформе.

И вспомнит весну полированный камень
под нашими грязными башмаками.

Ночное метро — пассажиры ночные.
вагоны шатаются, будто хмельные.
Оттуда, где были — в кино, вероятно,
в гостях, вероятно — обратно, обратно...
На лицах усталость и тяжесть в ресницах,
но пахнут весною мимозы в петлицах.

Я помню всегда: мы живем не в романах,
ключи от квартир мы таскаем в карманах,
теряли мы голову — их не теряли,
тактично бренчали они: не пора ли?
Но нас наверху стережет непогода,
парные озера дымятся у входа,
сугробы чернеют, перегорая,
настояны скверы на запахах талых,
и бродят автобусы, подбирая
совсем охмелевших, совсем запоздалых...

* * *

О, как монотонны
и как элегичны
пустые вагоны
ночной электрички!

Закрывши глаза,
словно звучные стансы,
читаю на память
названия станций.

Мы расстаемся
при свете плафонов.

Мы остаемся
на мокрых платформах.

О, как одиноки
во мраке глубоком
печальные строки
светящихся окон!

Притоны влюбленных,
угла неимущих —
вагоны зеленых,
в ноль с чем-то идущих...

* * *

Ты умерла — и дом снесён,
одноэтажный дом на Бронной,
старинный дом, цельнооконный,
Екатерининских времен.

И вот стою через года
в том незастроенном квартале,
стою, стараюсь угадать:
где стол, а где тахта стояли?

Я — тоже призрак. И во мгле
мерещатся душе стесненной —
и те бутылки на столе,
и ты на той тахте снесенной...



Я просыпаюсь посреди
полночных перегонов
с провалом карстовым в груди
и с дрожью перепонок.

Там города лежат в ночи
в ознобе телеграфном.
Простуженные москвичи
закутывают шею шарфом.
Там женщины в дождевиках
стоят с синицами в руках.

Там счастье, детство и Москва,
разорванные в клочья,
вся всероссийская тоска,
нахлынувшая ночью.

И женщины, и фонари,
и города, и ливни —
все обрывается внутри,
как в падающем лифте.
Как будто, сотрясая мозг,
грохочет бесконечный мост...

НАЧАЛЬНИК

Повесть

1. С МОИМ НАРОДОМ

В четверг начальник пошел мыться в баню. В бане было много народу.

— Ну и пусть, — обиделся начальник. — Я тогда не пойду, пусть им будет хуже.

Но потом он утешился и занял очередь.

«Ничего, — подумал он снова, когда утешился. — Я могу и подождать. Значит, я живу теперь, как все, со всем народом, в полном согласии с расписанием телевизора: раз четверг выходной — весь народ устремляется в баню».

Он стоял, как и очередь, вдоль по стене и, скучая, болтался телом вправо и влево, слегка постукивая об стенку плечами.

Вдруг ему наступили на обе ноги и пребольно.

— Ой! — сказал начальник. И добавил вежливо: — Извините!

— Понаставили ноги! — крикнула сердито наступившая тетка. — Дома ведь не расставляют, а в бане можно. Своей жене не суют сапогами в походку! А тут, значит, баня, тут можно. Тут общественное место — значит, суйте.

И долго еще ворчала, спускаясь по лестнице, ничуть не приняв от начальника извинений.

«Ей мало, чтобы ты извинился, — думал ей в спину начальник со вздохом. — Ей еще об тебя и натешиться надо. Это пусть. Ничего. Лучше тут промолчать».

Женщин начальник не то что боялся — он себя над женщиной не чувствовал начальством, потому что главная женская жизнь идет где-то дома, куда не добраться со всеобщим порядком, который нравилось начальнику внедрять. Мужчины, что же — такие же точно, как и у него, у начальника, в цеху: над каждым есть свое руководство. А когда руководство его отпускает — мужчина тогда покупает газету. Газеты начальник регулярно читал, поэтому у него с мужчинами был общий язык, к тому же и сам он, начальник, мужчина.

Помывщиков впускал по одному нестарый банщик с бородой: красив, подлец, как русский царь.

— Хотя мы все честные и справедливые, а все же грязь на людях есть, как ни скажи, — сказал он начальнику, принимая талон.

Больше в бане ничего не случилось особенного, кроме того, что какой-то старик попросил начальника вымыть спинку.

— Ты покрепче давай, — попросил старичок и склонился, принимая на спину привычно мочалку.

«Как он запросто — я так не умею. Я не умею сразу же на ты переходить, — огорчился начальник. — Мне для этого нужно всегда много времени. Вот, скажем, нужно кого-нибудь обругать — на вы разве обругаешь как следует? Нет, ни за что».

«Но все же ругаются сразу на ты? — и ничего, а у меня это никак не выходит», — удивлялся начальник.

Он мылил и мылил стариковскую спину, а старик с удовольствием прогибался и ничего не говорил ему, что хватит. Не мог же он сам объявить, что довольно? Начальник надеялся хотя бы на маленькую, пожилую совесть, которая должна же быть у каждого старика.

— Ты не заснул ли случайно, дедушка? — спросил он, решившись.

— А, да! Хватит, милый, хватит. И правда, — спохватился старик. Он вроде, и верно, маленько со-снул.

«Ну вот, — подумал начальник. — Как это я хорошо. Если б я не сказал, он бы просто замылся. Ему б не хватило на такое усердие кожи. Значит, хорошо, что я начал отучаться от вы».

Но просить старика все же он постеснялся, поскорей вымыл сам себе спину, как мог, быстро оделся и двинулся к дому.

2. ВО СНЕ И НАЯВУ

Дома все спали, привыкнув рано ложиться. Он улегся не сразу, долго пил чай у себя на столе, вдалеке от кровати, чтобы никому не мешать. Настольная скульптура Петр Первый, слегка подняв свои чугунные усы на щеки, стояла перед ним, как собеседник.

Потом начальник разделся и лег. Он скоро уснул на краю постели, высунув чистые, парные коленки наружу. Он спал, подергивая согнутыми пальцами руки, иногда видел сны, приобнимал одной рукой жену за плечи, зовя ее к себе на помощь, в этот сон, и снова выкидывал руку обратно, за постель, за одеяло, чтоб рука успела что-нибудь сделать, пока он там спит.

Вдруг, в разгар самой ночи, ему показалось, будто он выплыл откуда-то на поверхность.

— Я лежу и сплю, и мне уже много для этого ночи, — подумал начальник. Сон его прекратился.

Жена отчужденно лежала во сне, раскинув ладоши среди одеяла, привалив сомлевшие ноги друг к другу. Была она занята только собой, только сном, не имевшим отношения ни к мужу, ни к целому свету.

Если бы он и появился у ней, в ее сне, прорвавшись силою ее — а не его — желания на это, он бы

оказался в ее сне не самим собою, был бы он искажен фантазией ее к нему отношения.

И что бы тут он ни делал, как бы ни старался, нельзя ему пробиться уже в ее голову. Можно разбудить, тогда она рассердится и, только вспомнив, что он — это он, что она его любит, может быть, вскоре заставит себя улыбнуться и сердитость подавит.

Сто лет назад и даже позже многие люди не спали ночами — и что из этого вышло? Теперь введено поголовное равенство, ночью всем нужно обязательно спать, кроме, разумеется, третьей смены станочников.

Избыток энергии мешал начальнику уснуть как надо. «Какой я все-таки энергичный», — подумал он, но не успокоился. Все время думалось про цех и про различные дела на работе, про которые думать сейчас бы не нужно.

Вчера ему прислали анонимное письмо: «Двадцать четвертого этого месяца ваша комсомолка Денисенко судится с Володькой. Вы пришлите честных людей посмотреть и убедиться, какие есть ваши комсомольцы. Наблюдающий».

А недавно пришел к нему наладчик Жора Крёкшин.

— Надо бы механизировать, — сказал Жора Крёкшин.

— Правильно, — ответил начальник. — А что?

— Всё механизировать, в цехе, что можно.

— Что же можно? конкретно? — спросил терпеливо начальник.

— Ну, я не знаю. Мое дело предложить. Я идею предложил, а там дело ваше, — отвечал хитрый Крёкшин.

Начальник хотел на него рассердиться, но передумал:

— Знаешь, Крёкшин, я тебя не пойму. Ты ко мне приходи еще раз с Михельсоном. Пусть-ка он тебя пой-

мет, а потом мне расскажет. Мне просто некогда всех понимать.

Крёкшин тогда на него разобиделся и пошел говорить, что его зажимают. Зажимать изобретателей было нельзя, и хоть, может быть, Крёкшину не очень поверили, но слово прозвучало, и все его запомнили себе на уме. Цеху от этого была не польза.

Начальник подумал о хитром Крёкшине и еще о своем заместителе Михельсоне. Надо бы ему прибавить зарплаты, давно он работает, и большая семья — да как это сделать? По штату больше ему не положено. Значит, выход один — перейти на другое место, а он начальнику нужен был в цехе.

Он ворочался один, в самом центре ночи, задыхаясь от своей энергичности, от хотения скорее продолжить дела, и было некому хотя бы рассказать, чтобы успокоиться, потому что даже самые близкие люди были заняты сейчас только сном.

Наконец, начальник опять заснул, и ему приснился еще один сон, которого он уже не забыл.

Цех его стал развиваться вдруг бурными темпами. Всем, кому можно, он повысил оклады. Рабочим удалось увеличить расценки.

Хитрый Крёкшин расхаживал в цехе, глядя на работниц, как на лишние стулья.

— Механизировать сегодня этот угол, — подавал идею Крёкшин, и один цеховой угол был сегодня же механизирован свыше.

Крёкшин получал за свою изобретательскую идею, отдыхал пару дней, а потом отправлялся в другой угол цеха и предлагал его механизировать завтра. Все не могли нахвалиться на БРИЗ у них в цехе.

Вскоре цех был механизирован вдоль и по диагонали. Начальник чувствовал к Крёкшину страх, не велел пускать его к себе в кабинет, вечерами, вспомнив, что он тоже инженер, изобрел небольшое приспособление, отличавшее Крёкшина от других людей цеха.

Это приспособление он устроил в двери, чтобы Крёшин не мог механизировать до конца руководство.

«Все же я человек несомненно нужный», — подумал начальник в том куске головы, который и во сне у него не засыпал; подумал, как будто он был дурачок, а на самом деле, как часто мы думаем в глубине про себя.

Цех покрасили наново. Если идти по нему к кабинету начальника — цех был красный, а если обратно — зеленый. По диагонали тоже были разные оттенки, позволявшие глазу отдыхать, не уходя из помещения. У входа висели большие часы, но вскоре их сняли, чтобы не огорчать опоздавших.

Каждый в цехе боролся за звание, но не каждому звание было присвоено (хотя и все его, конечно, достигли), потому что это было бы не мудро и не нужно, даже плохо: а за что же тогда все боролись бы дальше друг перед другом?

Выступая на празднике под названием «Что наметили, то и сделали», заместитель начальника как-то сказал:

— По данным отдела кадров завода, люди в нашем цеху на два сантиметра теперь в среднем выше, чем люди в других, аналогичных цехах.

И люди, которые стали выше других, хотели сплясать или спеть хором песню, но потом передумали, потому что не знали, чего с собой сделать для ради веселья.

Начальник во сне очень много работал для этой картины — впрочем, в нормальное, дневное время он работал точно так же, так как верил, что все развивается к лучшему, и эта хорошая вера двигала его вперед, а также желание отличиться в достойном деле — тоже не совсем плохое желание.

И когда он где слышал, что в других цехах хуже расценки и ремонта не было последние годы, он ругал их начальника и только его, потому что тот не добил-

ся, не постарался для цеха, а так бы все двигалось к лучшему и в том, другом цехе, и в другом заводе, и во всем нашем городе, и везде, в целом свете — если только все очень бы вдруг постарались, каждый у себя на месте.

Этот приятный сон уже ощутимо прекращался, но начальник его не отпустил от себя, сон замкнулся и несколько ушел в глубину.

Начальник снова увидел свой цех на большом красном острове посреди океана. В океане был ветер, а на острове солнце. Тепло шло откуда-то еще из-под низу и приятно грело ноги. На острове весело выпускали продукцию под охраной нескольких холщевых пожарников. Каждый день пожарники красили длинную лестницу и свои ворота. Ворота так и горели красной краской, и это горение привлекало к острову теплое солнце, а также спасало от опасных пожаров и ветра.

3. ВСТАВАЙ-ПОДЫМАЙСЯ

Было действительно рано. Ноги у начальника утрелись от солнечного света, с утра лежащего в конце постели. Он понял, что сегодня уже невозможно уснуть от прилива энергии.

Он собрался подумать над тем, что приснилось, но вдруг он увидел на стуле газету с большой статьей о расстрелянном в нелучшие годы. «Иди, вернись скорей к живым!» — призывала статья, и начальник враз почему-то заторопился, так, будто он это был расстрелян, а теперь призывался обратно.

— Маша! Мать! Ну, давайте-ка подыматься! — крикнул он дочери и жене, выскочил из постели на дующий холодом пол, приговаривая про себя название этой призывной статьи.

Маша сразу проснулась, будто находилась где-то очень близко и ждала, чтобы кончить это безынтересное дело; тут же стала натягивать лифчик, чулки.

Жена потянулась и заленилась, не хотела еще просыпаться из тепла на работу.

«Пусть полежит», — пожалел ее начальник (ему человеческое было не чуждо, хотя зачастую и непонятно) и стал помогать одеваться Маше.

Невысоко над коленками чулки у нее прицеплялись к красивым красным резинкам с белыми львами. Маша все время оттягивала эти резинки и смотрела на всякие превращения львов.

— Это львята, — говорила она и не трогала резинку.

— А сейчас это лев. — Она растягивала ее, лев удлинялся, становился пузатым и опять возвращался в размер — будто прыгал.

— Ты скорей! — торопился начальник.

— А зачем? — удивлялась Маша. — Зачем мне скорее?

— Я встаю, я уже, — бормотала жена, ласково глядя себя по животу и вокруг бедер поверх одеяла.

В них обеих было что-то, неясное для начальника, с самого их появления в его жизни.

«Иди, вернись... вернись!» — приговаривал начальник, повторяя про себя быстрее и быстрее, начиная вдруг понимать, что нуждается снова, с самого утра, в другой, более скорой жизни, уже отвык от нее за прошедшую ночь, и уже ему трудно, мучительно жить, одеваться, ждать, пока согреется завтрак, ехать трамваем и лишь тогда наконец добраться до того стремительного, быстрого дела, где только и получал он необходимое спокойствие для себя.

Он вдруг бросил одевание Маши, наскоро умылся и, не став даже есть, выбежал на улицу, покричав в коридоре что-то вроде: «я тороплюсь» или «мне уже надо».

Выйдя на улицу, он думал, что будет дрожать, и заранее сжался. В нашей сырости холод нельзя выносить.

Но на улице бойкий мороз только тронул начальнику щеку, да слепил друг с другом обе ноздри, чтобы он не дышал очень громко и самовольно, а от остального мороз отскочил, потому что в остальном начальник был хорошо упакован от воздуха. От этого у него поднялось настроение, по телу опять появилось довольство.

Довольство в теле, когда оно есть — например, после душа или если тебя миновало несчастье, — очень работает внутри, как будто новый мозг, и тело слушается его, гоняет какие-то круговые соки, занимает хорошие, легкие положения, делает быстрые позы, спешит.

Чаще всего начальник чувствовал это, если делал что-нибудь быстро, — уж он заметил.

Вот он быстро побежал на трамвай (хорошо!), быстро вскочил на подножку и быстро поехал.

— Голову, голову спрячьте в трамвай! — кричал в микрофон вожатый. Он спрятал.

Теперь было самое трудное: ждать. Хотелось хоть что-нибудь сделать пока, ну хотя бы пробраться вперед, чтобы ближе. Он дернулся одним плечом, он дернулся другим, но не мог освободиться, потому что руки и ноги были крепко зажаты среди населения.

4. ЗА ЧТО?

В цехе он встретил у входа Жору Крёкшина.

— Здравствуй, Крёкшин! — сказал начальник громко и весело. Своих рабочих он всегда звал на ты, без натуги.

— Здравсьте, — ответил неохотно Крёкшин и вернулся.

Начальник знал, что Крёкшин его не любит.

«И как ему не страшно меня не любить?» — изумился он про себя.

Начальнику хотелось, чтобы все его любили, а уж он посмотрел бы: кого ему любить, а кого бы и нет.

Если ему говорили, что кто-то его не любит, тот человек ему сразу же становился от этого интересен: а почему? вообще не любит или просто невзлюбил? И за что? За что его можно не любить? «А я его люблю или нет? — проверял он себя. — Нет, не знаю, вроде бы ни да, но и нет». Он начинал много думать про этого человека. Если кто поминал про того в разговоре, у него начинало щемить под ребром: «Да за что же он меня не любит? Так нельзя! Для чего ему это? Лучше бы он меня все же любил, пусть лучше я бы его не любил. Разве можно меня не любить? Или только за то, что начальник? Но ведь я еще — честно — хороший начальник. Бывают начальники хуже, я сам начальников всегда не любил».

«Да, почему это? — думал начальник. — Вот я — а начальников сам не люблю?»

5. ПРОИЗВОДСТВО ЭТО Я

На монтаже был с утра говорок. Женщины работали быстро, даже очень, но успевали при этом еще говорить. Столько им было сказать друг другу, и работая рядом по нескольку лет, бывая в гостях и встречаясь на танцах, никак не могли они всё рассказать, кто что думал. И думали они будто с виду по-разному, а на самом же деле на редкость согласно.

— Ну, так пойдем? — говорила, к примеру, Любаше Мария Ивановна.

— Нет, пойдем! — отвечала Любаша с упрямством, потому что хотела, чтобы слово прозвучало от нее, — а сама, конечно же, шла куда нужно.

Если б их поместить вдруг среди полной пустыни и не дать им смотреть телевизор, читать дома книжки, посещать агитпункты, кино и театры, — все равно бы им было о чем говорить каждый день, потому что, живя в одной жизни, очень они пропускали ее сквозь себя и всё в этой жизни их, женщин, касалось, даже небольшие события, которые мужчине незаметны, потому что он себя настраивает на большие дела и при этом нарочно забывает про течение жизни, от чего мужчине бывает не польза, потому что любое главное дело не может вырасти не из жизни, на открытом деловом плоскогорье, в деловом инкубаторе, — и всегда нужно помнить, зачем оно есть.

— Посмотрела кино... — говорила Любаша. — Жанна Прохоренко... Вот красивая!

— Красивая!.. какая же она красивая? — сказала работница с шестого конвейера, с непонятной даже злостью сказала. — Да если бы мы не работали, красились и ногти отращивали, мы такие же были бы красивые, и не меньше.

— Чего же она, не работает, что ли? — возразила Любаша. — Ведь артистка.

— Да уж что это за работа. Себе в удовольствие. Оделась, походила по сцене, а потом сразу в душ и домой. Каждый день принимает по душу.

«Странное дело, — часто думал начальник. — Почему у одних людей можно вызвать неправильным делом обиду, а у других тем же самым вызывается злость? Что ли там, где у всех людей лежит хорошая обида, у таких находится злоба? Видно, эти люди много хуже других».

— Да, это точно, конечно же, хуже, — говорил он при виде сердитой женщины с шестого конвейера.

Вот и сейчас она тоже — не обиделась, но озлилась.

— А тут даже душа у нас в цехе нет. Негде и помыться опосля такой спешки!

— Что? — заговорили кругом. — А? Что? Душ?

— Нету душа!

— Когда будет душ?

— Да никогда, кто же говорит, что когда.

— Как это никогда? Мы покажем никогда! Душ обязаны сделать, а то — никогда!

— Ну ладно, мы на производстве... нам некогда об этом много думать, — сказала Мария Ивановна, бригадир. — Нам надо с браком бороться, уменьшать трудоемкость и выполнять показатели. Если мы будем скандалами заниматься, мы никогда не закончим его, то есть производство.

— Это для производства и надо! — закричали громче прежнего с шестого конвейера.

Тут на монтаж ненароком зашел предцехкома.

— Мы вас искали, искали! — кинулись женщины на него полным скопом.

— А когда будет душ?

— Вас и не найдешь! Всё говорят: уехал или на каком совещании.

— Больно вы любите свои совещания!

— Мы выдвигали, на нас и работай!

— Что же вы думаете? — отвечал предцехкома громовым голосом. — Я для своего удовольствия ездил? Меня вызывали на девять утра, я полдня потерял, да еще двугривенный из своего кармана на дороге.

Так он просто сказал, по-профсоюзному, громко, и это сразу же всех убедило.

— Душ! Когда будет душ? — крикнули сзади, но уже потише.

Подошел Михельсон.

— И на что вам тут душ? — пошутил предцехкома. — Вы всё женщины чистые. Лично мне, например, душ не нужен.

— Вы бы хоть тогда о коллективе... в чистом коллективе и работать веселее! — крикнули сзади.

— Производство... — сказал Михельсон. — Требуется...

В это время краем монтажа прошел начальник. Начальник видел, что женщины расшумелись, и хотел подойти, но потом не пошел. Он не мог бы покамест ничем им помочь.

«Ничего... как-нибудь, — думал про себя начальник с легким риском. — Наш директор же не обратит на меня внимания, если я с кем-нибудь раскричусь? Нет, не обратит. Значит, и мне тоже не надо».

Директора лично начальник любил — на заводе этого директора любили, по сравнению с другими — и всегда проверял свои действия по нему.

У руководителя должны быть качества. А каких ему не достанет, теми качествами он окружает себя. Помощник в качестве подлеца и заместитель в состоянии грубияна ограждают его от нужды самому заполучить эти свойства, когда, конечно, их нету. (Правда, все же чаще есть они, есть.) И только к помощнику, только к заместителю он обязан быть тем же самым, что они для других, для многих. Такая тут зависимость, ее не избежать — ее и не избегают.

— Придется несколько подождать, — говорил тем временем Михельсон работницам, замещая в этом самого начальника.

— Ладно, ладно, подождем! — прокричала Любаша. — Подождем, если совесть вам позволяет!

Начальник прислушался: совесть ему позволяла.

— При чем же тут совесть? — спросил Михельсон.

Тут почему-то все кругом закричали, так что понять было вовсе нельзя, Михельсон ругнулся, махнул рукой и пошел вдогонку начальнику к кабинету.

— Ты что при женщинах ругаешься? — сказал Михельсону начальник.

— А женщины что — никогда не слыхали? Да женщина может такое сказать, что и мужчина не зна-

ет, где это растёт, — отвечал расстроенный Михельсон.

Начальнику был эпизод непонятен. «Неужели им всем не важнее производство? Раз производство не может — тогда погоди». Самому начальнику производство из всех его дел было самым важнейшим.

В конторе их встретила технолог Анна Львовна. Она была специальный технолог по цеховой чистоте.

— Я опять к вам о душе, — сказала она.

— И вы мне о душе? — удивился начальник.

— Извините, Иван Иванович, — сказала она, ясно глядя начальнику прямо в глаза. — Я пошла и пожаловалась на вас, потому что надо же что-нибудь с этим поделаться? Вы на меня не сердитесь, Иван Иванович?

— Да нет, ради Бога! — отвечал начальник в том же тоне. — Даже спасибо. Скорее решат.

«Не нужно раздражаться по пустякам, — думал начальник. — Но даже можно и раздражаться — только чтоб было это естественно и с талантом».

— Вот наш директор... — сказал он Михельсону совсем невпопад и опять подумал о директоре.

— Да, директор... — сказал Михельсон, потому что он понял.

— Он бы, директор... — опять не закончил начальник.

— Да! — подтвердил Михельсон, думая точно про то же.

«Хорошо подчиняться достойному человеку!» — подумал начальник.

«Мне только дали бы что почитать, я по натуре на редкость почтительный», — пронеслось у начальника совсем уже сокрыто, а потом он поспешно засел за дела.

6. В МОСКВУ, В МОСКВУ!

На столе непрерывно звонил телефон. Звонки были разные — от диспетчера и главного инженера, из завкома о премии для рабочих, из БРИЗа.

Позвонила женщина из проходной и сказала, что она жена автоматчика Соколова.

— Да, — сказал начальник. — Я слушаю.

И послушал.

— Как же это так, — сказала жена Соколова, — мужчина в заводе шестьдесят рублей заработал за месяц? Да таких и заработков не бывает. Что я — дура?

Начальник ей объяснил, что на этом участке в прошлый месяц случился простой: не хватило деталей.

— А вообще у нас заработок для рабочего выше, чем в других, аналогичных цехах! — похвалился начальник.

— Как же это простой? — удивилась жена. — Он мне вроде говорил, а я подумала, врет. Да разве так можно? Или вас за это никто не ругает?

«Как бы ей объяснить?» — затруднился начальник. Если бы им отдали участок штамповки, он уверен — простои бы сократились. Но разве женщине скажешь об этом? Что она, женщина, может понять, — что поймет в производственной сложности, если просто хозяйничает у себя на дому?

— Как же это так? — не унималась в телефоне Соколова. — Да таких-то и заработков мужских быть не может. Я и сама тогда столько-то заработаю. Для чего нам, женщинам, тогда в семье мужчина?

«И правда, для чего?» — подумал начальник. Начальник расстроился.

Потом зашла посоветоваться Мария Ивановна.

— Я по жилью. Может, после зайти? — спросила она, постеснявшись, что помешала. Просить о себе ей казалось неловко.

— Нет, отчего же, не все ли равно? — возразил ей начальник. Она рассказала.

Дело заключалось в том, что пока еще точно никому не известно, но она уже слышала, что ей жилья не дадут, хотя она была в списках от цеха, а дадут председателю их цехкома, которому нужно, да не так все ж, как ей.

— Он и на очереди, помнится, не стоял? — подивился начальник.

— Что же делать, — сказала Мария Ивановна. — Да чего же, я не против, пусть дают людям, токо дайте и мне. Я же своего прошу.

— А ему, значит, дали? — повторил начальник, как будто спросил, думая при этом о своем. Вот куда он сегодня, должно быть, и ездил! «Маленький цех, — в этом, ясно, все дело! Так бы дали и ему, и хватило бы ей, а на маленький цех положили в этот раз одну квартиру — и довольно. Да, все дело, конечно же, в этом, тут единственный путь: поскорей укрупниться».

— Да ведь он профсоюз, он там ближе, его и виднее, — отвечала тем временем Мария Ивановна.

«Ну да, — подумал начальник без всякого возмущения, вдруг с открывшимся интересом, как-то так, будто это и быть по-другому не может; подумал откуда-то вдруг по-крестьянски. — Он, конечно, виднее, чем мы тут, в цехах. Он у них бывает все время, замечает при случае члена завкома. Да и в город он съездит, замолвит словцо. Ну, ничего, им дадут, а потом и сюда».

— Я поговорю, — сказал он все-таки Марии Ивановне, зная, что, точно, он о ней поговорит. — Я с директором поговорю, уж я не забуду, а директор у нас справедливый, он этого не допустит.

— Он справедливый, это верно, я с ним еще в третьем цехе работала, — подтвердила Мария Ивановна. — Только он не один справедливость теперь соблюдает, у него по справедливости свои есть по-

мошники, он их не может не слушать, тогда что получится?

— Ну, а вам и за это спасибо, — добавила она с благодарностью и ушла.

«Интересно все-таки — вот, положим, случилась несправедливость: у одних от нее обида, у других в этом месте начинается злость, а мне в этом случае интересно. Как всё же так? Это стыдно», — удивился начальник себе.

Недолго он постыдился, а потом перестал. С очень многих забот начинался сегодняшний день.

Женщины шумели по причине душа. Новое помещение сейчас не дадут. Значит, нужно найти у себя. Для этого надо бы механизировать мойку. А как механизировать? — своей только силой? Это можно поручить Жоре Крёкшину, но Жора Крёкшин работать не любит. Только Михельсон его умеет заставить. Значит, это нужно поручить Михельсону, но ему, Михельсону, он уже поручил одно лишнее дело, а вчера целых три и так далее — больше вроде нельзя, это сверх его сил (хотя он начальника должен ценить, сам понимает, за что: не часто такие, как он, теперь выходят в руководство, а начальник на это не посмотрел, хотя ему говорил зам по кадрам). Если бы повысить Михельсону оклад, он тогда постарается сделать сверх силу, но оклад ему можно повысить в одном только случае — если цех разовьется, поглотит обещанный участок штамповки, был к тому же проект, что тогда, для такого укрупнения цеха, могут выделить деньги на большую пристройку.

И к главному пониманию, что от этого соединения будет общая польза для целого дела (чтобы все поскорей развивалось к лучшему, хотя к чему именно лучшему, неизвестно), прибавлялись мелкие заботы о прочем, сходились разные линии: Михельсон, Жора Крёкшин, продукция, женщины, душ, справедливость для Марии Ивановны, жена Соколова — и уже как

единственный выход, как решение всех неурядиц, как личное счастье виделся начальнику такой укрупненный, пристроенный цех в центре жизни.

— Я ушел к замдиректора! — прокричал он в конторе и лихо выбежал вон из цеха.

Заместитель директора Порываев был совсем недавно начальником производства.

— Ваши цехи надо развивать, — говорил он часто, в том числе и начальнику. — Если был бы я замдиректора...

И вот теперь он стал замдиректора.

«Он поможет, — думал начальник о Порываеве. — Да он сам понимает не хуже меня!»

Порываев встретился начальнику в коридоре. Без лишних волос на крутой голове, он просторно шел внутри костюма и выглядел человеком, с самого детства готовившимся вырасти в значительного, крупного мужчину. Было видно, что он достаточно умен, а главное, не отвлечен умом от жизни на какие-то специальные, недоступные, не такие, как у прочих, заботы, дела.

— Здравствуй, — сказал он начальнику просто и поздоровался с ним на ходу за ладонь.

«Нет, он поможет!» — совсем уверился начальник и тут же в коридоре стал рассказывать про свои неудачи. Рассказать надо было и коротко, но и полно, надо было успеть, чтобы он не заскучал от подробностей, отнеся сразу дело к разряду известных — не каждое дело могло его захватить, для иных дел не надо обращаться к нему.

— Понял, понял, — сказал Порываев, послушав. — Этого нужно добиться в Москве, в Комитете.

Он взялся за нос и немного его покрутил, будто поправил у себя на лице.

— Я с тобой согласен, но помочь не могу. Я в Москву не поеду, не могу, ты мне веришь? А больше некому сейчас; поезжай, хочешь, сам? — добавил он

не без хитрости, понимая, что это не дело начальника цеха — бросить дела и добиваться в Москве. На лице замдиректора появилось и сразу исчезло сладкое выражение от стыда за себя, не желающее однако выказываться.

В коридоре кто-то уже приближался к нему, вынимая из папочки на ходу переписку.

— Говорят, у тебя изобретателей зажимают? — сказал замдиректора вскользь, не желая услышать в ответ оправдание, просто чтобы слово немножечко повисело, не давая начальнику уж такой перед ним безупречности, — и ушел.

Тут начальник вдруг понял, что должен, что может сейчас погорячиться, кинуть ему необычное, гордое слово, будто бы не по работе, и это подействует на него так, как надо, какой это слово имеет по словарю полный смысл.

Он, было, бросился к спине замдиректора, но замдиректора было уже не догнать.

Он подумал, подумал и позволил себе обидеться.

«Что такое замдиректора? — размышлял начальник в обиде. — Он может заменить собой любого директора. Будет хороший директор (а сейчас у нас хороший), он заменит хорошего, будет плохой — и тогда ему придется заменять собой плохого, что же делать, и продолжать его линию в разных вопросах. При этом он делает вид, что хотел бы всегда заменять только самых отборных, самых лучших, добрейших директоров, — но теперь мне сдается, будто ему все ж приятнее заменять собой плохого; и значительно легче».

— Но ведь свой человек, понимающий нужды! — удивился он снова. — Никак не пойму.

Вечером он горестно напился дома, чего никогда обычно не делал, и даже не один, а в присутствии всех домашних, и не водкой, а нехорошим дагестан-

ским вином. Выпивши, совсем не пошумел, как другие люди, тихо лег на постель и тяжело задремал.

А наавтра, закончив какие можно дела, он собрался и уехал в Москву, в Комитет.

7. ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Он часто ездил по родной стране, а не дальше.

Отправляясь в столицу — в большой, быстрый город, где недолго любому и утеряться, начальник надел толстый шарф до ушей, втайне надеясь добавить себе ощущения личности; и добавил.

Скорый поезд тронулся, набирая движение, оставляя провожающих вне пределов окна. Газета, лежавшая смирно около урны, вдруг заволновалась, подымая углы, будто сразу же не в силах подняться сама, а потом понеслась, закружилась над самой платформой, подхваченная железнодорожным ветром.

Стали появляться и заполнили всю картину вагоны от разных составов, случайные с виду постройки, грузы, положенные не основательно, а пока, магазин возле переезда, который всегда называют железнодорожным, во всех городах и у разных вокзалов. Дома, даже новые, казались построенными неправильно, потому что из них (представлялось) были видны и слышны целый день поезда.

Поезд гудел и гудел на ходу, давая всем знать, что не собирается останавливаться у маленьких, еще внутри города, остановок. Миновали товарную станцию — перевалку. Это слово всегда вызывало у начальника горечь, потому что значило, что на этом месте что-то куда-то переваливают в беспорядке. Он закрыл глаза, чтобы не глядеть пока вокруг, потому что не знал, не решил еще для себя, что нужно сделать для упорядочения этой картины.

Может быть, он и вздремнул, потому что когда поглядел за окно, поезд ехал уже мимо белых полей. Кругом находились большие просторы, лишённые видимого порядка. Вся равнина вертелась вокруг озёрка, озёрка незамерзшего, несмотря на погоду. Видно, лёд все не мог получить такой силы, чтобы закрыть вдруг поверхность всех вод, на полях и в лесу.

Далеко по линии горизонта выступали из мелкого леса железные мачты, несли мимо поезда свои высокие вольты, опасаясь приблизиться к самой дороге, опасаясь близости к своему тихому, гудящему напряжению.

Поезд быстро отталкивал землю назад, и она легко кружилась со своими домами, огородами, улицами и неровной почвой, с сутулыми копнами, посаженными серединой на кол, с частыми прутьями — это кустарник, и вдруг над кустарником подымается дерево — голое, без листьев, но в засохших цветах.

«Берегите наши леса — они ваши», — пытается власть убедить население с блеклых плакатов; но оно неубедимо.

Рядом с поездом долго тянулась вторая ветка, мелькавшая шпалами в неодинаковом ритме. По её блестящим на спинах, обкатанным рельсам ехала в окошке вагонная тень. Потом ветка стала неудержимо сближаться с составом и вдруг отчаянно бросилась ему под колеса и пропала.

Дальше пошла уже одна колея.

От деревни к деревне шёл старик, переставляя палочку из-за себя вперед по тропке, а потом обгоняя её на ходу. Старик был на середине своего пути, и из поезда проглядывался этот путь из конца в конец, как будто он был прочерчен — и поезд быстро проехал мимо.

«Почему он идет? почему не поехал? Что там ходит: грузовик? или лошадь? И куда он идет?» — успел подумать, проезжая, начальник.

Поезд мчал все быстрее, и люди, идущие себе по делам, на этой скорости выглядели без суеты, будто остановленные, как картины природы.

На той же скорости проезжали и станции, проходя в том же темпе сквозь их беспорядок. Небогатое окружение железной дороги, неправильно застроенное, раскопанное и заваленное разными материалами, которые вдруг да понадобятся, если авария, с канавами, лесообсадками разного роста, — было все как обычно. Стучали мосты. От будок смотрителей звук отражался, как мячик.

Внезапно открылась лесная дорога, по которой стрелочник в новой форме нес на спине, пригибаясь к дороге, охапку сена. За ним виднелся у дороги стожок, выеденный донизу вокруг своего шеста.

«Зачем так много, так часто накошено сено и сложено всюду в стожки за оградой? Или всюду так много скотины? — размышлял начальник. — Тогда скотина должна бы жить стадом, а для стада такие стожки ни к чему — больно малы».

К каждой новой копне ходит своей человек. Дергают из серой копны, изнутри, почему-то очень зеленое сено и несут на себе через горку в дома. В каждом доме их ждет, очевидно, корова.

«Для чего же каждому надо носить? Пусть бы одни носили, а другие делали для них совсем другое, например...» — Что например, так начальник и не придумал.

Двое в длинных тулупах ставили на крыше деревянного дома высокую антенну на огромном шесте, надеясь достигнуть Москвы в телевизоре.

— Телевизор... — приятно сказал себе начальник и улыбнулся, как знакомому по работе.

Гипсовый солдат, уменьшенный в размерах, но с полной выкладкой амуниции, в плащпалатке и каске, день и ночь стоит над своей могилой — один, посреди-

не широкого белого поля, наклонно спускающегося к болотине.

И вдруг все завалено желтыми дровами, в кучах, в клетках, рассыпанными по бокам от внезапно отделившейся вправо дорожной ветки. Между дров, подымаясь на взгорки, качаясь и заваливаясь набок, как лошадь, разъезжал почему-то мотоциклист в черной шубе.

«Нет, — подумал начальник, озираясь кругом будто с той высоты, что давала ему скорость поезда. — Все же мало у них красоты и порядка. Ездят по дровам на мотоцикле — зачем ездят? Кругом земля неровная, в неровностях вода. Почему не устроить им ровную землю? Было бы проще пройти и проехать. Вот плотник (плотник, поднявши топор, загляделся боком на поезд) — он строит, наверно, в колхоз новый дом. Почему бы ему не построить такой дом, как в городе — ну, конечно, поменьше? Он ведь лучше, удобней, — а построит избу. Нет, всё же сами они виноваты во многом. Нужен всё же обмен лучшим опытом. Вот у нас...» — подумал начальник, и снова стала расти в нем картина цеха, картина правильного совместного труда для общей цели, с половины восьмого до четверть четвертого, цех незаметно улучшался у него в воспоминании, разрастался, поднимался, приближался к увиденному во вчерашнем сне и вскоре вытеснил небогатую красоту за окном, которая развивалась все дальше, но по-прежнему для него непонятно, неверно, со своим среднерусским хорошим лесом, прелестью полей, дачных речек, прудов, узких троп, по которым, казалось, легко пробираться, с телеграфным столбом, только вынутым у дерева из коры, с деревянными спокойными домами без удобств, — а рядом такой же, но маленький, это дом для воды, тоже с крышей — колодец; и жить в этой тихой, не требовательной красоте казалось начальнику, по рассеянности, много легче, возникала зависть к живущим

среди нее и досада на них за то, что не могут всё устроить, как нужно.

И только скользнула неглавная мысль, что эта скорость, с которой идет мимо поезд, может, построила всем пассажирам свой дом и из этого дома посторонняя жизнь непонятна, — но мысль не осталась и скоро прошла.

С этой, лукаво осмысленной картиной природы начальник и приехал в столицу, в Москву.

8. ДЕЛО ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

С поезда начальник поспешил в одну знакомую гостиницу, куда было можно обычно попасть, хотя и довольно неблизко от центра.

В это раннее время у вокзала, на площади стояли две очереди: одна за газетой, другая в Горсправку.

Горсправка не дремлет, уже на посту. В этот ранний час кому-то уже надобятся справки по городу.

Еще удивительней газетная очередь. Это единственный город, где с утра население окунает опухшие лица в газету. Во всех других местах страны рано утром очередь стоит лишь за пивом. Начальник встал за газетой; купил. Может, тут особые газеты, для местного центра.

«Сочинители, которых надо унять», — была статья через всю страницу. «Кого же здесь нужно так срочно унять?» — подумал начальник, но не стал читать тут же, а сложил газету и убрал в карман.

Он торопился в гостиницу. Все кругом торопились куда-то, и это было начальнику очень понятно.

— Ты смотри по сторонам, а то задавит транспортом, — сказал кто-то рядом.

Транспорт шел медленно, но настолько густо, что по его головам можно было пройти не одну остановку.

Машина едва не наехала на одного человека и страшно перепугалась, долго ехала, дрожа и виляя от страха багажником.

Троллейбус на остановке гудел всей обшивкой, еле сдерживая свое движение. Вожатый тронул какую-то ручку, и вот он бешено вырвался с остановки, приняв последних двоих на ходу, и помчался вдогонку по краю дороги, вздымая шинами странную зимнюю пыль, ночной, городской, приобочинный прах.

Все валили в метро, и начальник спустился за всеми.

— Граждане! Спускайтесь скорее! — говорила дежурная в рупор. — Становитесь по два человека на каждой ступени! Между вами свободно!

Дежурная никак не хотела, чтоб между ними было хоть немного свободно.

— Вот это да! — сказал деревенский сосед-мужичонка. — Вот это партия! Всё замечает!

Вдоль туннеля ровно дуло земляным подземным воздухом метро. Проходящие поезда, словно поршни, гнали этот воздух вперед себя из туннелей.

На платформе ловко работала женщина в красной фуражке. И это неженское, странное дело — носить на себе, на прическе, фуражку — никому не казалось тут удивительным.

Покамест поезд не тронулся, а двери были уже закрыты, она держала, как зеркальце, красный кружок. Потом, крутанув, опустила его, — поезд тронулся, набирая с жужжанием ход, и она, потеряв интерес, отвернулась к колоннам. У нее на лице выражалась холодность ко всем, не нужным сегодня ей людям.

И начальник, уносимый в темный туннель быстрым поездом, вдруг подумал — совсем непривычно: «Хорошо ли, если работник делает с наслаждением дело, к которому он приставлен? Хорошо ли это для него самого? и для других?»

Но тут же он кинулся наперерез этой мысли и дальше снова себя не пустил. Он привычно стал думать вперед, о гостинице, как он войдет в нее и получит ли номер.

Почему-то он, приходя, к примеру, в гостиницу, взрослый человек, начальник цеха, в полных своих правах, с командировкой, при паспорте, с самой нужной на сегодня национальностью, вписанной на первой странице, чтобы видно, с постоянной пропиской и всё остальное — разговаривал с администратором, конечно, не заискивающе, нет, но слишком уж мягко, предупредительно, чтобы не спугнуть возможность жить в Москве под крышей (а ведь не может быть такого окончательного случая, чтобы он остался ночевать вообще на улице).

Это был город постепенных привилегий. Тут без привилегий и по улице никому не проехать. На шите его надо начертать ступеньку. В центре города устроены главные ступени страны, а из них образован домик-кубик, где отдыхает от жизни и смерти, лежа на сухотке спины, мозг державы и диктует всем подземными путями.

Здесь, в большом, не родном ему городе, начальник снова не чувствовал себя начальником, как перед женщиной, хотя и добавил себе ощущения личности, надев толстый шарф и большие, красивые перчатки из кожи. Но здесь надо было ощущать свое значенье, а не личность.

И когда его опасения оказались пустыми, когда он легко получил себе номер, хотя бы и в этой, удаленной гостинице (ходить по центральным он даже не думал!), начальник развеселился и почувствовал себя счастливым.

«Могли бы быть огорчения, а вот ведь — не стали!» — означало его счастливое настроение.

Положив чемодан, он спустился обратно.

Он заказал в столовой обед и, пока его несли, пошел в парикмахерскую бриться. В парикмахерской он занял очередь и, пока да оставалось время, пошел звонить по телефону в Комитет. Когда позвонил, подошла его очередь. Он побрился и вернулся в столовую. Горячий суп стоял для него на столе.

Довольный от такой удачи (он всегда удивлялся, как много успевают делать люди в промежутке между заботой о своем существовании), начальник снова развернул газету. «Сочинители, которых надо унять», — было по-прежнему написано на странице.

«Ласковый враг», — называлась другая статья. «Что это за враг такой, честное слово? Где такие берутся враги? Мне бы, что ли, такого», — подумал начальник, припомнив угрюмого Жору Крёкшина. И опять у него защемило: «Ну зачем, зачем он меня не любит? Лучше бы я его не любил, я бы ему этого не показывал, а не любил бы себе, да и только».

Эти статьи он слегка просмотрел, но читать их подробно не стал. Разделение труда, считал начальник. Нужно каждому делать свое дело, и тот, у которого дело — политика, тот должен делать его и в нем ежедневно разбираться.

«Дело — лучший отдых», — прочел начальник на третьей странице. Эту статью он прочитал до конца. И сказал себе: «Верно. Вот это про нас».

Потом он доел два биточка, компот и поехал по делам в Комитет.

Все-таки он был необыкновенный человек, начальник. Он все время находился в состоянии душевных движений, в какое мы входим обычно только тогда, когда выпиваем с друзьями.

Побывать в Комитете было ему интересно. Говорили, что там все работают гораздо проворней. Там и порядок продуман такой, чтобы работали быстро и четко.

Указание было заводу выгодно, поэтому письмо задержалось присылкой. Начальник нашел его, с нужными визами, но на нем еще не было одной, главной подписи, а без подписи указание не имело хорошего смысла, даже наоборот: потому что заместитель начальника этого указания не поддержал и мог очень просто переуказать ему навстречу.

Письмо начальнику не выдали на руки, но срочно выслали с курьерами через улицу, где помещалась нужная подпись. На подпись подносит письмо референт, и пока начальник перешел через улицу, получил снова пропуск, поднимался на лифте, референт взял письмо, тут же быстро прочел и отправил обратно — для дополнительных реферативных разъяснений.

Уж вот как быстро он работал, он не мог у себя задержать документ (он тогда оказался бы бюрократ своего дела), а над документом надо было подумать.

На этом и день был сегодня закончен. Начальник уехал обратно в свой номер.

У него был номер на одного, с ванной и уборной и с телефоном.

Уж как он ходил по нему, он заперся и никуда не выглядывал полный вечер. Он пел, звонил куда придется по телефону, три раза принял ванну, валялся на кровати. Он посидел возле каждого окна, посмотрел. Голый походил по квартире, нагляделся на себя, на такого, в зеркало. Посидел за столом. Что-то там почитал.

Он пообедал одиночеством с непривычки.

9. НЕРАЗВРАЩЕНОЕ

Наутро он снова пошел к референту.

И опять повторилось такое же, как вчера. Так быстро работал этот самый референт, что опять успел

сделать какое-то замечание и услать письмо назад до прихода начальника.

Начальник стоял перед ним со своими бумагами и уже не любил его, этого референта.

«И как мне не страшно его не любить? Он же чувствует, поди, как и я у себя, про Жору Крёкшина, — а мне не страшно», — удивился начальник.

Рассеянно глядя, как начальник подравнивает бумаги, референт вдруг приподнялся, принял их от него, достал, изогнувшись, из кармана две скрепки и скрепил ему письма по листам меж собой.

Так невыносимо ему было видеть нескрепленные, простоволосые документы.

— Ну, а что же теперь? — не удержался и спросил его начальник, хотя было ясно, что надо делать теперь: а опять подождать.

Референт поглядел на начальника умными глазами и задумчиво, грустно смолчал перед ним.

«У одних от неправды обида, у других сразу злость, у меня начинается интерес, а что же у него? — думал начальник о референте. — Нет, не знаю, у него не видать. Вот еще посмотрю: нет, опять ничего».

А может быть, у референта от неправды отросла небольшая привычка, как мозоль между пальцев от державки пера.

Начальник побежал и разыскал знакомого, который работал в этом же здании. Тот как-то взял документ на себя и отдал его референту безо всякой расписки.

И тогда референт обрадовался, стал веселее и просил прийти окончательно завтра: у него будет время сегодня подумать.

«Вот как просто! Ему не давали подумать из-за порядка, уж очень он быстро приучен работать, — понял начальник, возвращаясь к себе. — Дело все в том, как тебя направляют!»

В номере было тихо, шумная жизнь обтекала его с двух сторон, по двум улицам.

Как это можно, это совершенно невыносимо: в комнате стоит телефон и никогда не звонит. Хотя бы кто по ошибке набрал этот номер. Разве так не может быть? Вполне может быть. Но не набирает.

Меховая шапка начальника лежит на шкафу, притаившись, как кот.

Стоит начальнику тихо пожить и не выйти на улицу день или два, а где-нибудь что-нибудь может случиться, в чем он мог очень просто бы быть соучастником.

Он вскочил разом на ноги, бросился в маленькую комнатку, задвигался там и вдруг излил из себя громадное количество воды.

Потом он оделся и вышел на улицу.

По тихой улице гуляли старухи с собаками, и аккуратные, как люди, собаки садились, если нужно, над сточными люками.

На углу, против парикмахерской «Мать и дитя», то и дело свистел милиционер возле перехода. Свисток у него был плохой, почти без государственного раската, и многие не оборачивались, будто он свистел не от милиции, а лично от себя.

— Не ленитесь пройти до перехода! Лень... не украшает... Нашу молодежь не украшает ее лень! — кричал он в свой рупор.

Он всех направлял, разных сложных людей, направлял грубовато, но верно.

«Вот и я, видно так, — вдруг подумал начальник, — хоть я понимаю про сложность людей, все же я при своем понимании верю, что можно этих сложных людей направлять по куда более грубой системе, которая многого из сложности их не учтет — и это не только не будет обидным, но даже окажется верным в итоге, даже позволит человечеству развивать свою жизнь — и даже, может, развивать в лучшую сторону».

Начальник немного стыдился, что позволил так себе думать, так не полагается думать, он знал; так, наверно, не прогрессивно.

«Но что же мне делать в конце-то концов, если оказывается, что я так считаю?» — думал он. Начальник чувствовал, что в среде человечества уже появлялись его предшественники: начальники, которые думали так же.

Он остановился, глядя на женщину с маленькой девочкой, медленно входившую на тротуар с перехода.

Она улыбалась, и при этой слабой, медленно разворачивающейся улыбке — будто сквозь неловкость — у нее к губе приставал крошечный пузырик слюны.

Столько в ней было живой красоты — в ней и в дочке, и начальнику неожиданно захотелось сказать ей какое-то слово, которого ему не полагалось говорить, как прохожему.

Но женщина вдруг покраснела от стыда за него и ушла.

«Как он мог пожелать ее, женщину, идущую к дому с красивым, любимым ею ребенком, всю выражающую собой семейность? Ну хотя б час назад!» — думалось ей. Ей никак не понять его нестоличного желания входить в отношение со встреченным человеком.

Как легко человеку получать часто то, что он хочет! Скажем, одинокому надо выйти на улицу и подойти к другому такому же одинокому (а таких сразу видно, и они, в общем, есть). Но нет, большинство не сделает этого шага — и не только из робости. Видно, это не задача нормальному человеку — получать, что он хочет. Да, видимо, не задача.

Начальник прошел еще несколько улиц. На пути ему встретились разные люди, дома и учреждения.

Ему встретилось бюро жалоб Министерства торговли. Там на полках стояли аккуратно переплетенные жалобы со всех концов необъятного государства.

Начальнику встретилась постоянная, хорошо оформленная витрина под названием: «Они позорят наш двор», рассчитанная, чтобы никогда не пустовать.

Над этим надо бы подумать, но начальник заспешил назад в гостиницу и думать не стал. Когда он хотел избежать, чтобы думать, он заторапливался, и все проходило.

Возле его номера был столик дежурной. Там собрались и о чем-то спорили горничные с этажей.

«Ведь можно исходить из неверных представлений о людях, — подумал начальник почему-то опять, — а выводы о том, как им надо поступать в обстоятельствах, в конце концов будут верными. Как же это так?»

Даже сплетницы, которых начальник никак не любил, часто оказываются правы; конечно, лишь в схеме, но — в схеме-то все-таки часто правы?

«Чтоже мне делать — когда я так думаю?» — все чаще среди этих мыслей проносилось у начальника в голове, проносилось и налаживало нужный покой.

День кончался, пора было спать.

Он ложился один, но всегда здесь стелил как бы на двоих, разложив рядом две большие подушки, на которых ночью он поочередно полежит.

В голове было трудно представить жену, а руки очень помнили ее, и это удивляло.

Вот начальник заснул, и макушка его холодеет в одиноком, гостиничном сне на всю ночь.

10. НАЗАД К ПРОДУКЦИИ

С утра референт колебался часок, а потом решил-ся и сходил к замначальства; замначальства, конечно же, подпись отдал.

Начальник с жаром поблагодарил референта, чтобы тот почувствовал его благодарность.

— Не ждал... честно не ждал, что так просто! — сказал начальник.

— Пустяки, — отвечал референт, слегка довольный своей добротой и вниманием вниз. — Привет от нас Питеру!

На том и расстались.

«Мало ли когда еще придется обращаться», — думал начальник не вполне простодушно, то и дело шупая в кармане бланк письма. Вряд ли он когда-нибудь еще сюда приедет, не его это дело — посещать Комитет, но ему хотелось улестить счастливый сегодняшний случай, только он стеснялся приоткрыть себе это и объяснил благодарность по-другому, практичней.

Он заторопился, как уже не торопился здесь три дня, и помчался на вокзал, желая сразу же уехать, на дневном курьерском поезде — обратно на завод.

На дневной скорый поезд билеты уже все купили.

— Ну и пусть! Пускай им будет хуже, я тогда не поеду, дожидайтесь меня! — подумал начальник о каком-то верховном начальстве, которое не устроило такого порядка, чтобы он смог уехать, когда стало нужно. Ведь кого-то, конечно, должно беспокоить, чтобы все совершалось разумно и с конечною пользой — так представлял себе смутно начальник, так как верил, что все развивается к лучшему.

— Погодите, — сказала начальнику кассирша в окне. Она на время закрыла кассу и куда-то ушла. Продолжение очереди было им недовольно.

Походив где-то там, в глубине помещений, она ему вынесла все же билет и так была рада — хотя и не рассказала, в чем дело — будто с трудом и отвагой нашла его там.

Одинокий лишний рубль, что оставил начальник, должен был бы сгореть от стыда перед этим усилием.

«Хорошо ли, если работник делает с наслаждением дело, к которому он приставлен?» — думал начальник, уже сидя в поезде.

«Да, это очень хорошо, — наконец он додумал эту мысль, словно он прорвался, — но только в том случае, если дело его безусловно полезно, — в каждой стадии очень полезно и не может вдруг перейти в свою полную противоположность в результатах».

От нехватки дела, от малой загрузки он слишком много размышлял там, в Москве, размышлял не про то, о чем привык обычно думать: про будничную жизнь, про толкучку на улице, про людей, про домашнее их, бытовое житье.

«Нахожусь в остановке по поводу сегодняшней жизни», — так понимал это время начальник и очень был рад, что оно прекратилось.

И опять разворачивалась перед ним небогатая красота, проносясь на ответной скорости мимо вагонов: стожки, подрубленные сбоку под корень, со светлым сеном в выеденных местах; железный перекрещенный мост, а за ним — запасные, огромные части к нему, сложенные возле речки на случай; старик несет за плечом три плетеных ярко-желтых корзины — куда несет? для чего? непонятно; едет старый грузовик с грязным кузовом — тихая техника негородского прогресса.

Два ржавых провода телеграфной линии всюду шли рядом, среди остальных, темно-серого цвета, и эта рыжая нитка была всем заметна на фоне присыпанных снегом полей. Она хорошо перечеркивала их картину, отвечая мыслям начальника об этой бедной, законной, полевой красоте, прославленной школьным учебником и платным поэтом, но еще не охваченной хорошим всеобщим порядком.

«Чтобы наблюдать красоту кругом, в природе, и получать от нее удовольствие, а не ахи, нужно иметь спокойствие и достаточное одиночество от слишком

многих, окружающих нас ежедневно людей. Может, так бы и надо, но я не хочу, — признавался начальник. — Я человек оживленный, быстрый, а для современных, быстрых людей нужна красота моментальная, красота, переработанная другими людьми, которые специально посажены на это дело, — такая, как кадры в кино, или дом из стекла, этот поезд, в котором я еду, метро, или женское, пронзительное по своей специальной прелести, каждый год изменяемое по стилю лицо».

Топятся печки, идет вверх дым, от каждой деревенской трубы свой дымок; кто-то вышел зачем-то к железной дороге, — стоит в кусту и смотрит на поезд; проезжаются мимо деревни, поровну освещенные с неба.

«Ну что они там делают? Просто живут? — думалось начальнику в его высокомерной радости. — А я везу письмо, с трудом, умно и хитроумно добытое, от этого письма всем у нас в цехе польза: и рабочим, и Крёкшину (пусть его тоже), Михельсону, с его тяжелой анкетой, — ну и мне; Мария Ивановна, возможно, получит квартиру, будет душ, справедливость, сократятся простои, станет больше продукции, а от этого...»

Что от этого будет, начальник не мог и представить.

— Продукция! — повторил он опять, и это слово начинало пухнуть, заполняло все области, отведенные им своему удовольствию, хоть сам он, в своей ежедневной жизни, никогда не сталкивался с той продукцией, какую выпускал.

«Они нам сеют и делают рожь, хорошо, но мы им сделаем нечто другое, например, продукцию...»

Еще ему вспомнилась баня и цех, парикмахерская «Мать и дитя», милиционер с плохим свистком, но с рупором для направления, быстрый референт, увлеченный, со скрепочкой.

Тут начальник загляделся в окно, на пути.

Как моментально сливаются, сходятся воедино четыре, три, два самостоятельных пути со шпалами, рельсами, фонарями, — в один-единственный путь, без возможности выбора, уже невидимый под своим колесом.

«Но, наверно, нельзя жить в такой дикой скорости?» — вдруг подумал справедливо начальник, прежним своим мыслям подумал навстречу, подумал, испробуя и такую дорогу.

Если жить всегда на такой большой скорости — в суете и делах, эта скорость создаст тебе домик среди прочей жизни. Надо медленнее жить, и тогда растворятся, рассеются стены у дома, который нам сделала скорость и спешка, жить станет хуже, мучительней, но это так надо, потому что нельзя защищаться от хаоса для себя.

Вот до чего доходил теперь в мыслях начальник, вот до каких пониманий добирался он после своей остановки в Москве.

— Да, так, наверное, нужно, — но я так не думаю! — тут же сказал он себе с полной искренней силой.

«Что же мне делать когда так думаю», — снова возникло у него изнутри, выросло как объяснение, как искупление, как оправдание всего, что он делал — искренней жизнью у него в голове.

«Что же мне... или мне тогда нужно не жить? Я так думаю! — ведь должен же я жить по собственным мыслям?»

«Человек должен жить по совести. Все передовые люди всегда боролись за то, чтобы человек жил по совести — или же нет? Человек должен жить по свободной совести. Все, кого мы так ценим сейчас из истории, всегда боролись за это, за свободную совесть, потому что и любые догматики всегда стремились заставить других жить по совести — по очень узкой, ограниченной совести».

Совість должна быть свободной — вплоть до полного своего отсутствия.

— А совесть так думать тебе позволяет?

Начальник прислушался: совесть ему позволяла.

— Но если мои мысли пойдут вразрез? — боялся начальник еще в институте.

— Вот и хорошо! — говорило неискренне ему руководство. — Пусть они идут вразрез с общепринятым.

Он поискал, но не нашел ни единственной мысли вразрез.

Невозможность ясно в себе разобраться очень впервые его напугала, и даже появлялось отчаяние по этому поводу.

«Но ведь бываю я грязный, если долго без бани, — а ничего же, я себе полюбовно прощаю, так как временно, и так же прощают мне те, кто меня любит, — а всем остальным ни за что не простят».

«Правда, могут вдруг разлюбить, и тогда уж припомнят».

— Как бы случайно не разлюбили, пока я тут еду! — испугался начальник, встал, снова сел, и опять заторопился вперед, на работу, в свой цех, на завод и домой, где уже без него привыкали жить люди, которые могли вдруг его разлюбить.

Как всегда, если он заторапливался, он не умел вместе с этим и думать — и больше ясными мыслями всю дорогу не думал.

Перед городом он пошел в туалет.

Из дырки умывальника начальнику в лицо задувал толчками подколесный ветер.

Он вымыл руки, лицо, вымыл зубы, выполоскал маленькие крошки изо рта от обеда. На всякий случай он сделался чище.

11. ВСЁ МОЁ

— А я уже на голову старше! Мне стол уже по грудь! — крикнула Маша, когда он вошел, — так, будто он уезжал на полгода, и обняла его руку, большую для нее, как целый человек.

— Ну приехал? Здравствуй, — ласково сказала жена, подходя, чтобы он ее обнял за шею.

— Есть хочу, тебя не вижу! — закричал начальник весело, увидав, что его еще тут любят. Он бросился на кухню, но вспомнив, что жить надо медленнее, вернулся и тихо стал ждать, пока согреется ужин.

Женщина! подруга имперского завтрака жизни! В ней есть всегда неизвестное, сверх наших пониманий, а уйти не посмеет.

12. МАКЕТ ЧЕЛОВЕКА

Утром начальник понес на работу письмо.

У входа в свой цех он заметил одно небольшое новшество, которое сам заказал в прошлом месяце. В вестибюле стоял манекен — чучело женщины в белом халате, одетое так, как бы всем полагалось входить в этот цех. Чучело являло пример производству, всем инженерам и служащим и рабочим их цеха.

Начальник кругом обошел манекен. Он вспомнил, как заказывал его по частям (голову, например, делал мастер в модельном), как приучал Михельсона следить за заказом — все же Михельсону нельзя целиком доверять производство, он человек отвлеченный, нерусский, да и никто еще не воспитался настолько, чтобы почувствовать важность того, как одеты все в цехе, как повязаны белые косынки работниц, как застегнут халат и какой он длины.

Он видел, что некому их воспитать, если он не попробует этого сделать.

— Наконец-то! — воскликнул начальник, любуясь. Он вступил на монтаж, вынул письмо. Начальник шел, наслаждаясь красотой работы и настроением людей. К нему уже подбегали.

«Все же я счастливый человек, — думал он, — не подымался высоко, не падал глубоко».

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
70-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ИЗ СТИХОВ 1979—1980 гг.

Не пропеть — прошепелявить, прошептать,
прошебетать, прощелкать,
так щепотка соли, подлетая на ладони, не взлетает к
потолку,
так щекотка обращает облик в зеркале в обмолвку,
так надерганное лыко, как ни лихо, а не пишется
в строку.

Но не плачет раненая липа, что не всяко лыко в строку.
Соль ложится на пол, в щели, в землю, пусть она не
соль земли, а прах.
Безголосая мелодия небесному чертогу
всё мила. И щекотливое блаженство серебрится
в зеркалах.

Ничего не получается, а все-таки выходит что-то, не такое, как хотелось бы, отнюдь не идеал, но не исходный нуль, не кантата, но уже и не цитата, и болото остается топью, но тропинки слабый след ему не затянуть.

Так-то, сея кляксы и огрехи, шепелявя, чертыхаясь,
из обмолвок извлекаешь облик нескольких не слишком
кривобоких строк,
так-то сложишь из обломков печку, ибо через хаос
тянется и катится, слепой и спутанный, а катится
клубок.

STILL AM MEER

На мóре тишь, а нá море затишье,
и сделавшее взмах весло
от воздуха себя к воде не донесло,
чтоб не нарушить этой тиши.

А ты в тиши, в дощатой колыбели,
щекой, испачканной соломой,
повернута к себе самой,
как к парусу, обвисшему без цели.

Поговори с нависшей тишиной,
но не пошевелив губами,
поговори с негаснущей луной,
с невидимыми берегами.

Там на неведомых дорожках серебра
свисают паруса и сохнут весла,
с луны не осыпается известка,
ничто не оставляет ни следа.

И если ты вот так, молчком проговоришь
все то же, давнее, что таешь и горишь,
то, человек, ты оставишь на века
не след, но свет, мерцанье светляка.

STURM AM MEER

Смирися, гордый человек,
среди бушующих стихий,
среди святого Вита свечек,
и, светлячок ли ты, разведчик,
а в ключья рвет твои стихи

на промокательной бумаге,
обмокнутой в чернильной влаге,
где ни полслова не видать,
и ни к какой твоей отваге
ни благовест, ни благодать

не просквозит сквозь толщу молний,
через сверканье темных туч,
не озарит твой почерк, полный
воды словно галоша, вспомни,
что нет тебя меж луж и круч,

что не дитя добра и света,
но отмененная монета,
светляк, захлестнутый волной,
забуди об имени поэта
и повернись к себе спиной.

Было б у меня больше время,
Не стихи бы я писала, а письма,
Я бы забиралась на деревья,
Захватив конверты и тетрадь.
Было бы во мне больше толку,
Я бы не редела втихомолку,
Я бы и письма не писала,
И совсем разучилась бы писать.

Было бы во мне больше росту,
Красоты и светского лоску,
Я бы стала синенькой в полоску,
Стала б совершенно не я.

Было б у меня больше денег,
Я бы каждый Божий понедельник
Просто напивалась бы в доску,
Но не с вами, мои друзья.

Было эхо, звучало эхо — и смолкло.
Отзвучало, отбыло эхо — и глухо.
Лишь щека покривилась да веко взмогло
с косоглазого профиля, справа — сухо.

Повернувшись к тебе этой правой щекою,
немигающим, гордым, победоносным
горьким профилем, я оставляю в покое
все, что было бы для тебя беспокойством.

Отзвучало эхо, отбыло, отбило,
только правда ли, полно, звучало ли, было?
Не прислышалось ли, не причудилось, если
не слышал еще эха никто в этом месте?

В этом месте, в этом западном местечке,
где каштаны и те не жгут свои свечи,
где не слыхано слыхом ни эха, ни чуда,
ни ответа нигде никогда ниоткуда.

Облетает одуванчик, дав рожденье целой стайке,
молодую травку нянчит прошлогодний лист опавший,
уступая место ночи, отползает день вчерашний,
молодая травка точит прошлогодний день лужайки.

И целый свет —
лишь суета сует,
и всяческая суета
всегда животвореньем занята,
смолчите «нет»
и отвечайте «да»,
и диалектика тучнеет на престоле...
Мне столько лет уже, что эта ерунда
слаба, чтоб порешить мою свободу воли.

Воздыхатели вздыхали,
кланялись поклонники,
а цветы стояли в зале,
как на подоконнике.

В белом платье, в туфлях черных,
как в системе знаковой,
чтобы кто-нибудь ученый
рюмками позвякивал.

Воздыхатели вздыхали,
поклонники плакали,
а цветы не засыхали,
как живые на поле.

В белом платье, с черным бантом,
с челюстью подвязанной,
чтоб наемным музыкантам
заработать на зиму.

Воздыхатели взлетали
легче пуха летнего,
выше Леты, над цветами,
к дню Суда последнего.

А будь он нынешний, сейчасный,
писал бы он в припадке чувств:
«Я вам звоню, хоть и бешусь,
хоть это стыд и труд напрасный...»?

Нет, слава Богу, только нам
по нашим книгам телефонным
гудки приравнивать ко стонам,
семь цифр — к шестнадцати строкам.

В собранья наших сочинений
не переписка принята,
но телефонные счета
и неоплаченные пени.

Так не пеняй на жесткий век,
на век стальной и деловитый,
гирляндой кабеля обвитый,
но если нет в тебе любви —
хоть позвони, хоть позови,
хоть растопи стихами снег
и измени течение рек,
хоть зарифмуй мольбу молитвой —

одно молчанье возле уха
тебе отвечает сквозь треск
и вековая проруха,
трагикомический твой крест.

В этой разнице света и светлоты
озаренного тела внутри темноты,
где потемки с потемками стали на ты, —
в этом празднике нету заветной черты,
до предела пределы сняты,

смяты, стерты и сброшены в черный чулан,
как чулок, чей нейлон от срывания рван,
как бинты, с зарубцованных сорваны ран,
как, ланиты в слезах подставляя под кран,
опрокидываешь стакан

и мешаются брызги воды и стекла...
Нет пределов, и посолонь губы спекла,
раскаленная тьма прогорела дотла,
и, друг к другу припавши, два бледных чела
запотели, как зеркала.

Основа жизни, основание сил
на выживание, белая надежда
слепых очей, остатняя одежда
плечей спины и темени могил,
корявый посох, голая ладонь
на посохе, нечуткая к занозам,
и, вопреки сугробам и заносам,
путь пеший на мерцающий огонь.

Не тронь меня, пока я шевелю
губами, вычисляя расстояние
до таянья снегов, до расставанья
души и тела, и пока листаю
губами теплыми снежинок стаю,
стремящуюся к вечному нулю.

Взгляну вокруг, но Имени... Шагай
и дальше вдаль по занесенным вешкам,
по опустелым до весны скворешням
(«и этот воздух, воздух вешний»,
такой не то что бы нездешний,
но не теперешний...). Вороний гай

кругами над протоптанной тропой,
толпою бесов, смешанных с пургой,
облавой черно-белой за тобою...
Но там, вдали, мерцает. Так шагай.

«...под жестокий смех (пулеметов)»
что страшнее Блока в гробу?
Что страшнее — пытаться судьбу
или сбросить судьбу со счетов?

Что страшнее сбросить со счетов
— хмурый рок или взмах руки,
за которым вспорхнут мотыльки
в непредсказаннейший из полетов?

Что хмурее рока и гроба?
Оловянно-тяжелая злоба,
изловившая мотылька,
или сумерек сумрак слезливый,
над плакучею серою ивой
нависая свинцом потолка?...

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

(Adagio. Allegro. Andante)

1

Никогда никому не рассказывай,
что услышала ты в эту ночь
в этой грабовой, буковой, вязовой,
самой громкой из слыханных рощ.

На корявом стволе не зазубривай,
не востри свой зазубренный нож
в беловежской, бизоновой, зубровой,
в самой вызубренной из пущ.

И когда разлучишься ты наново
с умолкающей чащей ночной,
на песке родника бездыханного
не ищи свой затерянный ключ.

2

Поди усни в такую ночь,
в такую темь, в такую звень,
когда срывает ветром прочь
гнездо и птицу, листву и сень,

когда мешаются свет и тень,
тень облаков и лунный свет,
когда и мне дано лететь
за много верст, за много лет,

как ломким сучьям и как листве
за горизонт, за косогор,

где все иное: и тень, и свет,
и крик, и шепот, и разговор

ветвей с ветвями, волны с волной,
стволов скрипящих с бессонной тьмой,
зарниц слепящих со мной одной
и тьмы бессонной со мной, со мной.

3

Круглых желтков городских фонарей
здесь не увидишь,
хлещет и свищет Гиперборей,
как только выйдешь

из дому, из индевелых досок,
кое-как сбитых,
в колкий снег, как в жгучий песок,
делая выдох.

Выдох проделав, не вытянешь вдох,
так и станешь,
глянет в пургу любопытный Бог,
как ты стынешь.

Вот тебе Бог, а вот и порог —
не достанешь.
Здесь и летом крепок ледок —
не растаешь.

ЛАГЕРНЫЕ ПРИТЧИ

1

Человек, змея, осел, корова и лиса

*«Легенды бывают иногда более
достоверными, чем история».*

Лакордер

Кое-как рассевшись в сушилке вокруг печки, среди телогреек, портянок, бурок и валенок, от которых идет отталкивающая вонь, мы все-таки счастливы, потому что нам тепло... А снаружи завывает жуткая пурга...

Барак до завтрашнего утра отдыхает, никаких вызовов вроде больше не предвидится. Все тут свои, стукачей нет, и нас охватывает эфемерное чувство безопасности, которое всегда возникает в теплой комнате, когда на дворе свирепствует мороз, способный расколоть камни.

— Али-Баба, — говорит Лопатин, пастух из центральной России, — расскажи нам сказку.

Али-Баба помешивает кочергой в печке и говорит своим теплым, убеждающим голосом:

— А вот какая разница существует между сказками капиталистического мира и сказками социалистического? Сказки стран капиталистических всегда начинаются словами: «Было когда-то в давние времена...»; а социалистических — «Будет когда-нибудь в далеком будущем...»

И, выпрямившись во все свои 104 года, Али-Баба добавляет:

— Это правда, что капиталистическая система делает ошибки социальные, как правда и то, что социалистическая система делает ошибки исключительно капитальные...

На пергаментном лице его словно запечатлелась вся его невероятная, почти фантастическая жизнь, откуда и прозвище Али-Баба, данное Незетли Джану Атаму Али. По происхождению он был казах, казахский мулла. А на шахте № 7 и во всем Воркутинском комплексе, а может быть и во всем ГУЛаге, был он старейшим заключенным. Свою тюремно-лагерную карьеру он начал еще при царе, в 1912 году, — тогда он был арестован за национализм, обвинен в попытке разжечь религиозную войну и выслан в Сибирь. Несмотря на то, что ему перевалило за сто, он был прям, как молодой дуб. Его редкая, но длинная и шелковистая борода отливает снежной белизной, как борода мандарина. Узкие глаза еще усиливают это сходство. Голову его всегда покрывает неизменная тюрбетейка, он ходит еще довольно быстрым и нервным шагом, опираясь на палку. Его ум и изумительная меткость и острота языка вошли в поговорку. Он потрясающе эрудирован, владеет множеством иностранных языков... Ежедневно молится он, распростершись на земле, обратившись лицом в сторону Мекки. Я очень часто беседовал с этим мудрецом, и он давал мне драгоценные советы, основанные на долгом лагерном опыте и глубоком знании человеческой натуры. Память у него была невероятная: он читал наизусть Пушкина, Лермонтова, Гёте, Шекспира, Шиллера, Омара Хайама...

...В 1917 году он был освобожден, а в 1920 арестован снова — на этот раз уже правительством рабочих и крестьян. С тех пор, кроме нескольких «каникул» ссылки, он стал постоянным жителем ГУЛага. Ему регулярно наматывали новый срок, и с 1928 года он уже не покидал лагерей. Он участвовал во всех боль-

ших строительствах, осуществлявшихся зеками. Прозвищем Али-Баба он был обязан своему мафусаилову возрасту — и так звали его все, даже надзиратели. Живуч он был, как кошка. Лагерники-мусульмане почитали его как пророка. Когда в 1951 году воркутинский гауляйтер генерал Деревянко, приехав инспектировать наш лагерь, увидел Али-Бабу, он зацепил старика: «Что, Али-Баба, не подох еще?» — «Деревянко, — ответил Али-Баба, — твое сердце и голова так же пусты, как твоя вера в коммунизм. Что до «подох», то я не спешу. Ваш пророк, ваш вождь, гениальный папочка всех народов в прошлом году преподнес мне еще десять лет: ты ведь не хочешь, чтобы я заставил непогрешимого солгать? Кроме того, я уже похоронил твоего отца, который был моим надзирателем на Беломорканале, и твоего дядю — в Печоре. Если Аллах не обойдет меня своей милостью и даст мне силы, я и тебя похороню. Велик Аллах!..»

... — И все-таки, — продолжал Али-Баба, поглаживая бороду, — человек во все времена оставался собой, все с теми же внутренними противоречиями, со своей слабостью, с недоверчивостью ко всему, чего он не понимает или чего не может постичь его дух.

— Все это так, Али-Баба, но не думаете ли вы, что определенные обстоятельства из человека доброго могут сделать дурного?

— Нет, сынок. При любом режиме человек сохраняет свои достоинства и свои недостатки. Правда, при некоторых режимах он постоянно голоден, а когда человек голоден, он глух, его горизонт ограничивается им самим, лимитируется его желудком, и тогда недостатки его проступают жирными пятнами. Мы-то с вами здесь, в спецлагерях, много такого видели. И голод этот — не только физический. Он становится моральным, когда тот же режим лишает своих граждан достоинства много более важного и необходимого: свободы. Что сказать о нас, «пролетариях диктатуры»?

Не имея никаких прав, поскольку мы лишены солнца, хлеба, свободы, мы обладаем всеми правами; этот режим хотел отнять свободу у всего мира — нам ее и защищать, и в этой войне дозволены любые удары, даже самые низкие: все годится для того, чтобы защищать свободу. А поскольку человек не совершенен и не может таковым быть, то я предпочитаю любить его таким, как он есть — способным иногда на прекрасные и необдуманнные порывы, но гораздо чаще — на порывы куда менее прекрасные, ибо хорошо обдуманнные.

— Али-Баба, — сказал Лопатин, — все это политика, и мы хорошо знаем, чем это пахнет, — даже здесь, в лагерях. У меня, кирюха, этой политикой сапоги полны — сапоги, которых, кстати, у меня никогда не было. Расскажи-ка лучше ту сказку, пока я себе самокрутку сворачиваю. Табачок такой крепкий, что если еще и пернешь, так вонь как раз двойная получается.

— Тебе бы, Лопатин, почаще воздух портить... для дезинфекции, да и чекистов не принесет.

— Ладно, ладно. На, Ромка, кури, — и он протянул мне самокрутку.

— Спасибо. Ну, Али-Баба, не тяните, рассказывайте же, мы слушаем.

— Жил-был однажды добрый человек по имени Али. Он был добрым, потому, что пока еще не выпадало ему попасть в такую ситуацию, которая доказывала бы обратное. Али шел по ташкентской улице и заранее радовался пиале мятного чая, которая ждет его дома. Шел он твердым шагом, опираясь на палку, погруженный в собственные мысли, как вдруг услышал: «Человек, помоги мне!» Огляделся Али вокруг и не увидел ни одной живой души. Он снова пошел своей дорогой, думая о том, что, видно, солнце печет сильнее, чем ему казалось, потому что ему уже начинают мерещиться голоса. И снова: «О

человек, помоги мне!» И снова Али оглядывается, качает головой и продолжает путь. «Человек, помоги мне, я тут, перед тобой, в горящем кусте!» И Али действительно видит горящий куст, и голос будто бы идет оттуда. «Человек, я здесь, в огне. Я спряталась в тени под сучьями и заснула. А солнце зажгло куст, и вот теперь я жарюсь живьем. Помоги змее, человек, и я буду благодарна тебе до скончания веков!» — «О змея, как же я могу помочь тебе? Не буду же я жечь себе руки, чтобы спасти тебя?» — «Да тебе и не надо обжигать руки, сунь твой посох в огонь я обожьюсь вокруг него и выползу из пламени». Сказано-сделано. Али опускает палку в кустарник, змея поднимается по ней, вползает Али на плечо, говоря «спасибо, человек, что спас мне жизнь», и начинает сдвигать ему горло. Али чувствует, что задыхается и с трудом произносит: «Что ты делаешь, змея?»

«Я тебя душу».

«Почему? Я спас тебе жизнь, и в благодарность ты душишь меня?»

«Это закон жизни».

«Ты просто сошла с ума! О каком законе ты говоришь? По какому праву ты можешь уничтожить того, кто спас тебя? Где существует такой закон? И раз уж ты говоришь о законе и праве, то в любом суде должно быть трое судей и трое свидетелей».

«Что ты хочешь этим сказать?»

«Да если ты хочешь меня убить, то по меньшей мере три свидетеля и трое судей — первые же попавшиеся на нашем пути, должны единодушно с тобой согласиться, и тогда я не колеблясь подчинюсь их решению. А если эти свидетели покажут, что правда на моей стороне, то ты меня отпустишь живым. Справедливо?»

«Ну ладно, только не будем же мы целый день торчать на солнце, поджидая кого-нибудь!»

«Да вот, смотри, осел идет».

И действительно мимо проходит осел с опущенной головой.

«О осел, благородное животное, будь свидетелем и выскажи свое разумное мнение о том, что здесь произошло».

Мрачно выслушав историю Али, осел сказал:

«Змея права, это закон жизни. Посмотри на меня — в течение многих лет я верой и правдой служил моему господину, таская тяжести, никогда не жалуясь и щипая только чахлую траву. На спину мне вваливали груз вдвое больше моего собственного веса, я возил хозяина, а иногда и его старшего сына, связки дров и валежника, чтобы разжигать огонь, на котором варилась пища для его семьи; когда он кочевал, я вез его юрту, — и что же получал я в награду? Удары. Награда за мои труды — хлыст, доводящий меня до безумия. Ты права, змея, это закон жизни. Убей человека».

И с этими словами осел засеменил прочь.

А змея снова сжала кольцо вокруг горла человека.

Али закричал в ужасе: «Погоди, змея, ты же согласилась выслушать троих свидетелей, а это был только один!»

Невдалеке от них спокойно и величественно проходила корова.

Али остановил ее: «О корова, почтенное животное, подойди к нам и выскажи свое суждение о том, что случилось. Я стал жертвой своего доброго сердца! Ты, корова, источник мудрости, ты пережевываешь многожды свои мысли, — ты не можешь не признать моей правоты».

Выслушав факты, корова произнесла свое суждение:

«Змея права — это закон жизни. Ты помогаешь людям, а взамен тебя наказывают. Я ежедневно даю молоко своему хозяину, и он делает из него сыр и

масло, которые продает потом на рынке; благодаря моему молоку живут его жена и дети. Я никогда ничего не просила. Я питаюсь травой, которую сама для себя нахожу. Единственный раз я попросила его о чем-то, и мне было отказано. Я отелилась, и как он был хорош, мой малыш! Он стал бы красивым быком,.. но несмотря на мои слезы и мольбы хозяин зарезал моего теленка у меня на глазах, чтобы продать на базаре его мясо. А я ведь кормилица его семьи!.. Нет, ты права, змея, это закон жизни. Убей человека».

И корова плача продолжала свой путь.

«Видишь, — сказала змея, — видишь: я права!»

И она крепче сжала кольцо на шее бедного Али.

«Подожди, подожди, — закричал Али, — ты согласилась выслушать трех свидетелей, а их было только два!»

Невдалеке показалось небольшое облачко пыли, и в этом завихрении они увидели лису, бежавшую, волоча брюхо по земле.

«Лиса, о лиса, кладезь ума, выслушай и вынеси свое хитрое суждение».

Выслушав, лиса сказала:

«Ничего я не понимаю в вашей истории. Чтобы я могла дать решение и ответ, надо воспроизвести перед трибуналом все события в той очередности и местах действия, где они совершились. Ты, значит, змея, была в огне и жарилась живьем».

«Да, так и было».

«Ты, человек, опусти свою палку в горящий куст, чтобы змея могла сползти по ней обратно. Таким образом я смогу увидеть, как все оно происходило в действительности».

Сказано-сделано: змея снова сидит в горящем кусте. А лиса кричит Али:

«Ну, давай же, славный человек! Убей ее!»

Али убивает змею и поворачивается к лисе, чтобы поблагодарить ее, как вдруг замечает, что на лисаньке

прекрасная меховая шубка. Он говорит себе: «Следующим ударом палки я убью лису и возьму на базаре хорошую цену за ее мех».

Он поднимает палку, чтобы ударить лису, но та уже так далеко, что палкой ее не достать. Она смеясь кричит Али:

«Вот видишь, человек, я спасла тебе жизнь, и в знак признательности ты хотел отнять мою. Ты прав, это закон жизни».

И она унеслась, метя животом по земле...

Может ли золото прикрыть все?

— Али-Баба, ваша притча очень красива, но она обескураживает.

— Сын, эта притча отражает жизнь. Можно видеть жизнь сквозь розовые очки — то, что называется оптимистически, можно сквозь черные — пессимистически, можно — сквозь нормальные, то бишь реалистически, а для любого уважающего себя наблюдателя это будет означать — скептически. И несмотря на очки — какого бы цвета стекла в них ни были — видеть можно только истину кажущуюся, но не истину реально существующую: мы окружены айсбергами. И чтобы вам доказать это, я расскажу вам другую притчу.

— Жили-были однажды два друга, двое бедных, но честных бродяг. Однажды выдалась такая суровая зима, что люди не так охотно, как обычно, подавали им свой грош.

И сказал Мухаммед Али:

— Брат Али, мне надоело голодать, мой желудок вопит от голода, вот уже три дня как мы ничего не ели. Я не хочу больше зависеть от доброй воли других. Мне надоело быть честным.

— Брат Мухаммед, все что ты сказал — чистая правда, но не жалею о том, что ты честен, — зато совесть твоя спокойна.

— Совесть-то у меня, может и спокойна, но вот о желудке этого не скажешь. Надоело. С этой минуты я буду воровать и, если надо, убивать, но — клянусь бородой пророка! — я никогда больше не буду ни нищим, ни голодным.

С этими словами он встал и сказал своему товарищу:

— Пойдем со мной, брат, тебе не надо будет ни воровать, ни убивать, я буду делать это за двоих.

— Никогда! Никогда я не буду ни вором, ни убийцей! Во имя Аллаха — не будь ты моим другом, я бы тебя проклял. Расстанемся. Я буду продолжать свой путь в бедности и честности, свободным. И даже если желудок мой пуст, я буду спать со спокойной совестью.

— А я предпочитаю спать с полным желудком.

И они разошлись в противоположные стороны, даже не оглянувшись...

Прошли годы, и вот однажды Али, все столь же нищий и голодный, только еще немного похудевший, с чуть более костлявыми боками, чуть постаревший, с волосами еще белее, сидел в тени у ворот Бухарской крепости. Милостыня не принесла ему ничего.

Вдруг он слышит звуки фанфар и цимбалов и спрашивает прохожего:

— Друг, что происходит?

— Это великий повелитель Мохаммед прибыл в Бухару со своей свитой, чтобы провести здесь ночь. Он сказочно богат, богаче Креза.

Вооруженные солдаты продефилировали по улице, вслед за ними — музыканты, акробаты, рабы; клетки со львами и тиграми тащили слоны. На спине одного из слонов в богато расшитом паланкине восседал великий повелитель Мохаммед.

И изумленный Али, узнав в нем товарища по стольким несчастьям, по стольким юношеским годам, проведенным на дорогах, не мог удержаться от крика:

«Мохаммед, Мохаммед, это я, Али, твой старый друг Али, ты не узнаешь меня?»

И тут же получил он удар от охранника, оттолкнувшего его в толпу.

— Оставь в покое этого человека! — сказал великий повелитель Мохаммед. Он сделал Али знак и продолжал: — Иди со мной. Садись на коня.

Повелительным жестом он приказал одному из офицеров свиты спешиться и отдать Али своего коня. И вся шумная процессия влилась в улицы Бухары.

Разместившись во дворце, Мохаммед приказал привести к нему Али и сказал ему:

— Ешь, пей, брат Али, и расскажи мне, чего ты достиг за все эти годы.

После обильной трапезы Али рассказал свои похождения, которые, впрочем, не шли дальше собирания милости и существования за счет щедрости прохожих. Живот иногда подводит, но зато совесть у него чиста.

— Ну, а ты, Мохаммед? Судя по всему, что тебя окружает, ты преуспел в жизни, и я поздравляю тебя. Но как ты нажил такое огромное состояние? Тебе повезло в делах? Ты нашел золото, драгоценные камни?

— В известном смысле — да, я нашел золото и драгоценные камни, — сказал Мохаммед смеясь. — Но вовсе не так, как ты думаешь. Чтобы обладать этим золотом и драгоценными камнями, я воровал и убивал.

— Как ты можешь так говорить, брат Мохаммед? Ты признаешься в преступлениях и смеешься при этом!

— Ну, что ты, ни в чем я не признаюсь. Те, кто мог сказать кое-что о происхождении моего богатства, нынче составляют не больше маленькой горсточкой костей, — я помогаю Аллаху прибрать их к

себе. Что до других людей, то они видят только блеск моего золота, и это единственное, что их интересует.

— Но ты, значит, насильник, вор и убийца... Убийца! Убийца! Убийца!

— Не утомляй меня, Али, произнесением этого слова. Если оно уж так тебе нравится, напиши его на полу с помощью вот этой кисточки и краски. Буквами любой величины, какой тебе хочется.

Али написал слово «убийца» самыми крупными буквами, какими только смог, на полу огромной залы. Когда он закончил, Мохаммед спросил его:

— Ты удовлетворен?

— Да.

Мохаммед ударил в ладоши и приказал вошедшему на зов великому визирю:

— Принеси мне мешки с золотом, множество мешков с золотом!

По мере того, как рабы приносили все новые и новые мешки, Мохаммед высыпал содержимое их на пол, пока вся огромная площадь зала не оказалась скрытой.

— А теперь, брат Али, можешь ты прочесть то, что написал на полу?

— Нет.

— Что ты видишь?

— Золото.

— А еще?

— Золото, и еще золото, и еще золото... ничего, кроме золота.

... — Вот так-то, — сказал Али-Баба, — кажущаяся истина — это золото. Пока оно существует, советское правительство гонит его на мировые рынки; золото, тонны золота, тонны золота, добытого и промытого тысячами и тысячами рабов. Под этим золотым ковром — кости наших братьев-зеков, и никто не может и не хочет видеть эти кости и никто не может и не хочет прочесть слово «УБИЙЦЫ».

*Человек, который хотел заставить говорить своего
осла.*

— Али-Баба, я восхищаюсь вашим умом и терпением. Но что особенно вызывает во мне уважение к вам, так это то, что несмотря на столько лет, проведенных в лагерях, в вас нет ни горечи, ни ожесточения, — говорит Мельников, «голубенький», лагерный стаж которого всего два года.

— А зачем мне ожесточаться? Аллах избрал меня исполнителем своей воли.

— А что касается меня, то меня больше всего поражает то, что вы настоящий демократ, либерал и бесконечно снисходительны к ошибкам вам подобных. Благодаря вашей доброте недостатки их чуть ли не превращаются в достоинства.

Я начал свою фразу, собрав весь запас русских слов, который ежедневно расширялся благодаря Али-Бабе, неустанно поправлявшему мои многочисленные ошибки в русском языке.

— Но есть нечто для меня непереносимое, несмотря на всю мою терпимость к человеческим слабостям. Это такой ласковый эвфемизм трусости и трусов — люди, занимающие выжидательную позицию, «выжидальщики».

— Это что такое — «выжидальщики»? — спрашивает Лопатин, школьное обучение которого было весьма коротким. После ареста отца он остался главой семьи и все его усилия были направлены только на то, чтобы достать хоть немного еды для своих многочисленных сестер и братьев.

— «Выжидальщик»? — говорит Али-Баба, — Это тип, который паразитирует на теле этого мира. Он хочет пользоваться только благами той системы, при которой развивается, и готов заплатить маленькими подлостями за выгоду, которую извлекает из своего положения, титулов, прав, но зато он не переносит

обязанностей, долга — короче говоря, всего, что осложняет ему жизнь. Это те, кого можно назвать хористами. Они поют вместе с солистом, оставляя за собой право в случае неуспеха свалить все на солиста. В случае же успеха они становятся весьма угодливыми и делают все, чтобы «дорогой маэстро» понял, что частью своего успеха он обязан «выжидальщику». Хороший солист всегда даст понять такому типу, что тот не остался «непонятым».

— «Непонятым»? Не понимаю, — говорит Лопатин и добавляет: — Роман, ты секешь, что тут говорит Али-Баба?

— Думаю, что да.

— Спасибо, сын, — говорит Али-Баба, — ты слушаешь не только ушами, но и глазами, и руками. Это очень ценное качество.

Я был очень горд похвалами Али-Бабы, который обычно был очень скуп на них, но это не мешало мне чувствовать нечто вроде зависти к этому человеку — или, скорее, к монументу, каким он был. Ему было присуще то, что можно назвать «духом скальпеля»: он мог мгновенно, несколькими словами с абсолютной точностью формулировки очертить любую проблему. Умение синтезировать, способное заставить бледнеть самых блестящих университетских профессоров, позволяло ему в каждом случае находить быстрое решение.

— Я думаю, что лучшим способом материализовать «выжидальщика» и ему подобных будет рассказать вам еще одну притчу. Ибо не является ли притча в самой сути своей иллюстрацией жизни? Не позволяет ли она подавать правду под видом послушного, чудесного дитяти, всем понятного, а главное, не переносящего, когда ему противоречат, потому что ведь это всего только притча, а не реальный факт, способный вызвать споры, полемику и вообще всякого рода

эмоции, дорогие сердцу старых и мудрых, а, стало быть, пресыщенных народов?

— Али-Баба, а чего ты «болтуном» не стал? Ты так быстро находишь слова, и как раз тогда, когда нужно, — ты бы целое состояние заработал!

— Я — адвокатом? Ты что, Лопатин, — перед какими же это судами я бы выступал, людей-то в этой стране судят без суда! И все-таки я «адвокат»: для безнадежных случаев, потому что я всегда защищал справедливость, свободу и человека. Именно поэтому я и не «выжидальщик».

— А верно, — почти орет Лопатин, — ну, а теперь эту притчу, про ожидальщика. Вот вечно с вами, интеллигенцией, одно и то же: вы так отвечаете, что и собственный вопрос забудешь! Вы как сбивалка, которая из яичного белка делает гору... ветра.

Али-Баба беззвучно смеется и потом, прочистив горло, принимается за сказку:

— Жил да был однажды султан по имени Рашид. И был у него осел, которого он особенно любил. Ни одно кушанье, ни одно лакомство, ни одна наложница из его гарема не могла вызвать на лице его такой улыбки, какой он улыбался своему ослу.

Животное было снежно-белым, с черными копытами, блестящими, как покрытое потом лицо суданского раба, и уши его всегда направлялись в сторону говорившего. Его шкура была мягкой, как китайский шелк, благодаря щеткам, которыми рабы расчесывали его по многу раз в день. Словом — благороднейшее животное, чувствительное, умное, которому не хватало только одного — речи.

И именно об этом досадном недостатке сожалел больше всего султан Рашид, самым заветным желанием которого было услышать однажды, как его осел заговорит. Птицы поют, шакал передразнивает человеческий голос, кашляет, чихает, свистит, да и ворон

тоже, — почему бы не заговорить осла, чьи глаза дышат умом?

Этот вопрос днем и ночью крутится в Рашидовом уме, и он уже уверен, что если бы кто-нибудь научил его осла говорить, то он, Рашид, смог бы тогда разговаривать со всем животным миром, используя осла в качестве переводчика. Какое счастье! Какое всемогущество! — добавить к человеческим знаниям, исполненным строгого разума и логики, еще и опыт мира животного, мира инстинктов! Благодаря своему осла он мог бы держать в руках множество тайн природы. Осел передал бы их ему, и он, Рашид, стал бы мудрейшим из мудрейших, ибо он один обладал бы сокровищами знаний, которые накопили животные на протяжении тысяч и тысяч лет. И тогда он смог бы управлять миром.

Воспламененный своими рассуждениями, он призывает к себе великого везира и приказывает ему обратиться с воззванием к народу.

«Тот, кто сумеет научить говорить осла великого султана, будет щедро награжден титулами и подарками. Имя его будет почитаться всеми, его старость будет обеспечена пенсией, которую великий султан в неисповедимой доброте своей положит ему до конца дней. Его потомки до третьего поколения будут приближенными офицерами султана, и в их распоряжении будет находиться десяток слуг и женщин.

Тот же, кто задумает обмануть султана или не преуспее в этом деле, будет обезглавлен, голова его выставлена на потеху городу, тело четвертовано, а его наследники до третьего поколения будут прокляты, клеймены каленым железом и брошены в подвалы султанского дворца!»

Писцы сделали множество копий с этого воззвания, и все они были вывешены на стенах во всех концах султаната...

Проходили дни, недели, месяцы... Износилась бумага султанского приказа, охрипли глашатаи, выкрикивая слова его на площадях...

Ни один претендент не пришел во дворец. Какой разумный человек осмелится утверждать, что он может научить говорить осла?

И тем не менее один нашелся.

Прошло уже больше года, и в один прекрасный день перед нарядом дворцовой охраны появился человек, сказавший дежурному офицеру, что он знает метод, который позволит ему научить осла говорить. Он настаивал, чтобы его препроводили прямо к султану, но его отвели сперва к великому везиру.

— О благородный господин, светоч мудрости! Я, Ибрагим, обладатель множества тайн, заявляю, что знаю способ заставить говорить осла нашего почитаемого султана.

— Ты, недостойная тля, утверждаешь, что можешь научить говорить любимого осла нашего обожаемого султана Рашида Великого — да хранит его Аллах и да трясутся в страхе неверные собаки! Подлая гусеница, ты осмеливаешься поднять глаза и спокойно заявить, что обладаешь искусством обучать животных человеческой речи?

— Да, господин.

— Гнусная личинка, не желаешь ли, прежде чем я побеспокою султана, доказать, что ты не врешь?

— Конечно, благородный господин.

И перед изумленными взорами присутствующих он вытащил из-за пазухи попугая и посадил его себе на плечо. Попугай произнес стих из Корана.

— Чудо, чудо! Я думаю, что этот человек действительно способен научить осла говорить. Заставил же он эту птицу произносить священные слова пророка!

— А как ты будешь учить осла?

— Господин, я не могу выдавать секреты, которыми обладаю. Мои потомки до скончания веков подверглись бы проклятию. И даже если бы я захотел нарушить свой обет, то в то самое мгновение, когда я произнес бы первые слова, открывающие тайну, я тут же бы ослеп, оглох и мое тело окаменело бы в параличе. Если наш блистательный султан хочет, чтобы его осел заговорил, он должен уважать обязательства, которые налагает тысячелетняя тайна. Осел должен будет постоянно находиться в комнате, соседней с моей. Нам должны ежедневно приносить самые тонкие кушанья, меняющиеся без конца, чтобы благородное животное питалось, как человек. Перед нашей дверью должны всегда быть мешки с золотом и слуги в полном нашем распоряжении. Переступить порог этой комнаты смогут только те, чьи имена я буду называть. Надо, чтобы осел привыкал к человеческим обычаям в надежде стать человеком не только с помощью речи. Ни под каким видом, ни по какому поводу нам не должны мешать. И никто, даже сам султан, не должен делать попыток проникнуть в тайну, которая мне открыта. Только на этих условиях я согласен взяться за дело, и в один прекрасный день осел султана заговорит.

— Хорошо, все так и будет.

— Нет, господин. Султан и ты должны поклясться на коране, что никто не осмелится раскрыть секрет — если же нет, то клятвопреступник сам превратится в осла.

Султан от своего собственного имени и от имени своих подданных поклялся на коране...

Дни, недели, месяцы текли самым приятным для Ибрагима образом, и он, не в пример худевшему от нетерпения султану, отрастил животик, стал упитанным, как перепелка...

Никто ему не мешал — ни осел, ни султан. Текли дни, счастливые и спокойные.

Его жена всегда приходила повидаться с ним в конце недели. Однажды, когда он как всегда передавал ей кошелек, набитый золотом, она сказала ему:

— Мой добрый супруг, ты всегда был человеком разумным и рассудительным, хорошим мужем и отцом, день и ночь работал для нас своей иглой. Как же такая бессмысленная идея могла прийти тебе в голову — заставить заговорить осла? Сколько же времени это будет продолжаться?

— Не волнуйся без толку, драгоценная половина. Либо султан умрет, либо осел сдохнет. И в том, и в другом случае все произойдет согласно воле Аллаха. И его наследник или наследники ни в чем меня не упрекнут, потому что для них я буду мучеником султанской тирании.

— Как так?

— Какому же разумному человеку может прийти в голову, что можно научить говорить осла?...

— Вот, дорогой мой Лопатин, что значит «выжидальщик». Он воеет с волками, носит шапку существующего режима, а как только дело повернется в другую сторону, он начнет кричать: «Бейте волков!» Те самые, кто теперь курит фимиама папочке всех народов, будут первыми в хоре: «мы были жертвами его деспотизма, нас преследовали, но мы не могли рта раскрыть, потому что какой же разумный человек, зная, что отдаст на верную гибель своих близких и себя самого, или, во всяком случае, потеряет свободу, станет говорить правду? Только неразумный человек может себе позволить такое!»

Али-Баба сбросил в печь небольшую кучку золы у дверцы и сказал:

— Слава Аллаху, мы люди неразумные...

«НЕТ МЕНЯ, Я ПОКИНУЛ РОССИЮ...»

(Памяти друга)

Случается, что люди попадают в историю. Собственно говоря — это дело нехитрое. Истории бывают, как известно, разные. Бывают и мировые. Реже люди попадают в легенды, ибо историю можно написать по заказу, но легенду — никогда. Много раз пытались, сочиняли разную чепуху про Лениных, Чапаевых, Лазо. Миллионы тратили, фильмы снимали, бюсты повсеместно расставляли — ничего не получилось. Легенды эти рассыпались на глазах, обращались в едкий анекдотец. Настоящая легенда — всегда вещь подлинная, как бы далека ни была она от формального течения жизни, от так называемых фактов.

Сколько уже было легенд о Высоцком, сколько еще будет.

Сам он писал по этому поводу:

Нет меня, я покинул Россию,
Мои девочки ходят в соплях,
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.

Вякнул кто-то в трамвае на Пресне:
Нет его, умотал наконец,
Ну и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец...

или:

Тот, с которым сидел в Магадане,
Мой дружок по гражданской войне
Говорит, что пишу ему: «Ваня,
Скучно, Ваня, давай, брат, ко мне».

Я как-то подумал — зря Володя отнекивается. Он действительно, день за днем, всю свою сознательную жизнь воевал, сидел в лагерях, уезжал из России, возвращался в нее. Только никогда, ни на секунду Россию не покидал.

В одну из легенд о Высоцком я попал в качестве случайного персонажа. Произошло это так. В 68 году я вдруг решил потребовать чего-то довольно бессмысленного и уж во всяком случае, никак невозможного: короче говоря, прогулялся с друзьями по Красной площади, держа в руках кусок материи со словами: «За вашу и нашу свободу». Гулял недолго, ибо решено было, что мне следует несколько прохладиться, и с этой целью за казенный счет отправили меня в Сибирь. На пересылке случайно оказался мой поделеньник в соседней камере, и я, срывая голос, устроил концерт по его заявке. Слова неслись по гулкому коридору, тюрьма затаила дыхание. Читал, конечно, и Высоцкого, все, что позволяла память. За что был вознагражден американскими наручниками и переведен в камеру особо опасных преступников. Весь этап я проехал в отдельном купе, и это обстоятельство позволяло конвоирам безбоязненно обращаться ко мне: «Спиши слова Высоцкого». За это меня не только по первому требованию выводили в туалет, подносили воду, но и передавали подарки от особо опасных — водку. Провезти водку по этапу — сложнее, чем протащить верблюда через игольное ушко. Но особо опасные выкидывали и почище фокусы, такие штуки откалывали, что даже свиту Воланда привели бы в недоумение...

Ну а потом —

Все закончилось, смолкнул стук колес,
Шпалы кончились, рельсов нет.
Эх бы взвыть сейчас, жалко нету слез,
Слезы кончились на земле...

.....

Что вы там пьете, мы почти не пьем,
Здесь только снег при солнечной погоде.
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит...

Ну что страшнее — только Страшный Суд...
Письмо мне будет уцелевшей нитью,
Его, быть может, мне не отдадут,
Но все равно, ребята, напишите.

...Писем, как правило, не отдают, и потому каждый новый этап встречают на зоне бесконечными расспросами. А этап — не только корабли ГУЛага, но и колыбель легенд, и, едва возникнув, легенды разбредаются по лагерям и ссылкам, то исчезая, то появляясь вновь, и пытаться остановить их так же нелепо, как изловить и зафрахтовать Летучего Голландца.

Почти в каждом этапе, приходившем на нашу Тюменскую зону, непременно находился кто-нибудь, кто безапелляционно заявлял: — Да, в Свердловске, помню, дело было. Везли этапом в отдельном купе какого-то чудака-поэта с нерусской фамилией, в американских наручниках, всю дорогу стихи читал. А в другом купе везли Высоцкого. Так менты Высоцкого до того уважали, что даже гитару на этапе не отняли...

Вновь прибывшему объясняли, что чудака-политик как раз на этой зоне. Вели знакомить и укоризненно качали головами: — Что ж ты нам, земляк, тюльку гонишь, мол, Высоцкий в Париже катает, когда он с тобой одним этапом шел. Чего ты темнишь, мы уж не продадим — скажи, на какой он командировке, мы ему через волю грев организуем...

И сколько я ни убеждал, что не сидит Высоцкий, блатные и неблатные только посмеивались — у вас там своя конспирация...

Никак я себе представить тогда не мог, что окажусь в Париже и встречу там с Володей...

Каждую песню Высоцкого я по многу раз переживал, и особенно в эмиграции. Ждал новых... Ибо голос Высоцкого — это голос России.

И вот душная ночь на 25 июля...

На душе такая копоть,
Хоть к чертям неси,
Только слез давно не копят
На святой Руси.

БАЛЛАДА О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

«Порвалась дней связующая нить»

(«Гамлет»)

Огни, парижские огни,
 молись по святцам!
Но дни, потерянные дни,
 они мне снятся.
По европейским городам
 мечусь под хмелем,
Но я живу не здесь, а там,
 я в это верю.
Метель сибирская метет,
 хрипит недели.
Какой там с родиной расчет —
 мы дышим еле.
Кругом могилы без крестов —
 одна поземка,
Как скрип, срывающий засов,
 как дни в потемках.
Лишь ели стынут на ветру
 да лижут лапы,

И никому не повернуть
назад этапы.
Под ветром эдаким крутись,
как сможешь,
Но позабудь и оглянись,
душа под кожей.
А сунут финку под ребро —
конец страданиям.
Давно в бега ушел Рембо —
избрал скитанья.
Он чем-то с кем-то торговал
в стране верблюдов,
И много дней так промотал,
поверив в чудо.
Он замолчал, он оборвал,
забросил песей,
И я его не повстречал
на Красной Пресне.
А жаль... Мне правда очень жаль...
любитель шуток
Он разогнать бы смог печаль
на пару суток.
Нас время как-то не свело
в аккордах лестниц.
Пойдет душа моя на слом,
как дом в предместье.
Я уложусь в свою строку,
как в доски гроба,
И пусть венков не соберу —
я не был снобом.
Я по парижским кабакам
в огнях угарных,
Но нет Рембо, а значит там —
бездарность.
Я в прошлом путаюсь своим —
все сны — погоня,

И для чего мы здесь живем —
я смутно помню.
Не смею словом покривить —
такая малость,
И дней связующая нить
поистрепалась.
Бредет душа по мутным снам
с неловкой ленью.
Играют Баха в Нотр-Дам
по воскресеньям.
Орган разносит гул токкат
за грань столетий,
Наотмашь бьет шальной закат
по крышам плетью.
А листья гаснут на ветру
в дожде осеннем,
И я ловлю их на лету —
ищу спасенья.
Пусть дни пропали — в снах своих
я к ним прикован.
И нет Высоцкого в живых —
он зарифмован.

Июль 1980 г.

Я все твержу — душа бы не иссякла,
Вся исковерканная в судоргах дорог...
Гадайте по созвездьям Зодиака!
И обивайте, дни свои оплавав,
Порог щербатый Млечного пути...
На карту все и душу в лоскуты.
Загадывайте ночи напролет! —
Паденье звезд удачи не несет...
Я ветренной Венеции поклонник,
Дивлюсь дворцов фасадам и дворам,

Но над душою призрак дней неволи,
Застывшие в молчаньи колокольни,
Иконы, обращенные в дрова.

АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ

(Москва и Подмоскowie — «Золотое кольцо»)

Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет. Большой формат (29×21 см). 224 страницы. 250 фотографий православных храмов до и после разрушения. Большое послесловие неизвестного самиздатского автора «Пределы вандализма».

Альбом посвящен Александру Солженицыну, а в Самиздате был выпущен к его шестидесятилетию.

Стоимость альбома — 45 нм + 3 нм за пересылку

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДНИ

Зачем, опершись о порог,
Часа эдак три иль четыре
Трет замшевой тряпкой сапог
Тишайший сосед по квартире?

Зачем в коммунальном аду,
Где все наши песенки спеты,
Выкрикивает какаду
Название центральной газеты?

Зачем тугодум управдом,
На восемь настроив будильник
И спрятав его в холодильник,
В шкафу удавился стенном?

Как сны, обрываются дни.
Но есть жесточайший порядок
И в том, что безумны они,
И в том, что они без загадок.

72 г.

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Раскрыла книгу и легла в кровать.
Едва ль осилю «Темные аллеи»!
Мне стало тяжело запоминать,
Но забывать еще мне тяжелее.

Когда б могла пойти я в монастырь, —
Не в сумасшедший дом, где стану тенью,
Где расчищают за окном пустырь,
Бог знает, под какое помещенье!

Но это будет позже, а сейчас
Снимаю на Пречистенке квартиру,
И не смыкая неподвижных глаз
Хочу проникнуть в бунинскую лиру.

Но я мечусь меж лирой и певцом:
Растет ли под Парижем можжевельник?
И есть ли что-нибудь за тем кольцом,
В какое вправлен Чистый понедельник?

Я тоже брошу друга, но, увы! —
Пройду не со свечой, не в белом платье,
А буду на окраине Москвы
Тень от руки прилаживать к лопате.

72 г.

* * *

Зачем упрочивать нам случай?
Запомни только руки!
Лишь море зыбкое живуче
Да папоротник хрупкий.

Лишь взоры беглые понятны
Да полумрак пятнистый,
Да белые на небе пятна
Над почвою кремнистой.

Все близкие — едва знакомы.
Запомни только имя!
Еще мы встретимся, еще мы
Успеем стать чужими.

78 г.

* * *

Смотрю вперед — и вижу всё, что было.
Смотрю назад — не вижу ничего, —
Ни жутковатой жизни кочевой,
Ни городской оседлости унылой.

А впереди спасительная ложь, —
Пространства нет, есть только перекресток,
Где я, старуха, женщина, подросток,
Смеюсь, едва перемогая дрожь,
Когда меня ты за руку берешь.

И вижу я: собрались воедино,
Сосредоточились в лице одном
Всех позабытых лица и личины, —
Все города сошлись в один Содом!
Нет Времени, а есть пиры и казни!
Нет совести, но есть пятно на ней!

Смотреть вперед — нет памяти опасней,
Корить тебя — нет слабости напрасней,
Казнить себя — нет гордости страшней!

78 г.

ПЫЛЕСОС

Какое несчастье, что я научилась смеяться!
Как быть и что делать — уже не задам я вопроса.
С тахты поднимаюсь, когда начинается смеркаться,
И движусь по миру, держась за кишку пылесоса.

Гуди и заглатывай всё, что незримо и зримо, —
И совесть и память, и грифель толченный и пудру,
Отрепья сознания и струпья отпавшего грима, —
Все это уже ни к чему мировому абсурду!

Заглатывай косточку яблока — весточку рая!
Какая потеха — вечерняя наша морока, —
В единое нечто разрозненное собираем
В том хаосе, где и пылинка — и та одинока.

Своей насыщаться работой — не это ль порядок?
Гуди, пылесос, и заглатывай свежую пищу! —
Засохшие бабочки, хлопья истлевших тетрадок
И пепел табачный, и пепел того пепелища,
Где я научилась смеяться...

79 г.

* * *

Лезет желтая природа
В серое окно,
Элегическая ода —
С нею заодно.

Дождь позванивает в склянки
Утренней зари:
Листья старятся с изнанки,
Люди — изнутри.

Так давай с тобой приправим
Музыку дождем,
С нею сердца не состарим
Прежде, чем умрем.

Нету истин не затертых,
Кроме роковых...
Так давай восславим мертвых,
Плача о живых!

80 г.

* * *

Василию Аксенову

Живу, оплакивая сверстников своих,
Улыбку для прощанья отработав,
А время движется, слагаясь из дурных
Деепричастных оборотов,

Словесность русскую ссылая на Восток
Или на Запад выдворяя,
Плюя в грядущее, как дурень в потолок,
И прошлое испепеляя.

И воздух делится в Москве на Ост и Вест,
И слезы лью, уже не зная,
Где лист березовый — где ордер на арест,
Где лист — где виза выездная.

Всё тонет в лиственном потоке октября,
На два потока разрываясь.
Неужто буду провожать я и тебя,
Окаменело улыбаясь?

80 г.

* *
 * *

Что ни денек — то мотылек
Летит на алчущий алтарь.
Ты плачешь? Плакать вышел срок,
Возьми да по столу ударь!

Разлей вино, разбей стекло,
Хоть что-нибудь разбей, разлей!
Похмелье жизни тяжело,
Но эти слезы тяжелей.

Мой собутыльник, друг и брат,
Преодолей хоть что-нибудь!
Горит Восход, горит Закат,
Садится бабочка на грудь.

79 г.

* *
 * *

Еще не вечер, но уже не утро —
Закатный дождь. И честно говоря,
Пора нам быть или не быть, но мудро —
Как тот моллюск в доме из перламутра
Или пчела в гробу из янтаря,

Или освоить опыт оптимистов, —
Не замечать, как этот дождь неистов,
Не слышать перебоев и частот,
А сравнивать с мерцаньем аметистов
Дождя мерцанье и наоборот.

На что нам знать, что жив Иеремия
И что мерцательная аритмия
Во Времени, в Пространстве и в узле,
Где сходятся все токи кровяные?
На что нам знать, что будет на земле!

Да и к чему нам знать о том, что было?
Зачем тревожить памяти могилу! —
Там за пластом — второй и третий пласт...
Незнание дает такую силу,
Какую нам ничто уже не даст.

80 г.

* * *

Живу одна среди людей —
То ли ошибка, то ль осечка,
И только в памяти твоей
Есть у меня еще местечко.

Мне в памяти твоей тепло —
Там каждый мой поступок понят, —
Так снисходительно светло,
Так нежно только мертвых помнят.

А может, эдак и верней —
Других встречать и расставаться
И только в памяти твоей
Светиться и отогреваться.

78 г.

* * *

Ближе к смерти всё реже мы к морю подходим —
Нету ветра и сморщился парус,
Ближе к смерти мы в памяти радость находим,
Но всё больше у памяти пауз.

Помнишь, как ты меня под волною высокой
Обнимал, не пуская на сушу?
Бедный мой, я тебе от красы разноокой
Только душу оставила, душу.

И она, одержима неясной виною,
Всё нежнее с тобою и кротче.
Ближе к смерти всё меньше грехов за спиною,
Всё светлей близлежащие ночи.

80 г.

ОБНАЖЕННАЯ

Борису Биргеру

Не сразу она с наготою свыкалась
Внутри полотна.
Смеркалось в окне — и в картине смеркалось
Напротив окна,
И тело, которое в свете витало
Тому пол часа,
Сейчас вечеряющим облаком стало,
В котором глаза
Пустой чернотой обещали сиянье
Полуночных звезд,
А рот увлажнился, и жизни дыханье
Туманило холст.

79 г.

* * *

В мире людном — в доме одиноком —
Раскрываются окна весны:
День сплошным протекает потоком,
Ночь дробится на звезды и сны.

Но никто никогда не узнает,
Не узнает никто никогда,

Чья звезда, как свеча, оплывает,
Чью звезду заливают вода.

А с моей ничего не случится,
И никто никогда не поймет,
Что чужая земля мне не снится,
А родная заснуть не дает.

80 г.

КУКЛА

В доме своем озираюсь я воровато,
Все мне изгнанием грозит, даже подушка,
Даже в окне небесной выделки вата
И на гвозде сатиновая старушка.

Что ты смеешься, к доске приращенная клеєм, —
К точно такой, где я хлеб нарезаю обычно,
Или смеешься над тем, что еще пожалеем,
Ах, пожалеем еще обо всем — и публично.

И для чего мне мерещились вольные дали,
И для чего я о них заводила беседу,
Лучше б меня, как тебя, на доске распластали,
Я никуда не могу, никуда не уеду!

Если с доскою разделочной, ты, моя прелесть,
Нерасторжимое нечто уже составляешь,
Как мне, живой, отлепиться от места, где пелось?
Что ты смеешься и плакать меня заставляешь!

1980

* * *

Что я увижу в часы одиночества?
Птиц перелетных кочевниче зодчество,
Жизнь без младенчества,
Воздух без имени, почву без отчества,
Дым без отчества.

Нет иллюзорней и нету отчетливей
Данного времени,
Нету гонимей и нет изворотливей
Сорного семени.
Разве мне плохо под певчими гнездами
С дымом соседствовать?
Птичьи права — это роскошь, но с грезами
Радостно бедствовать.

1980

ПРОПАЖА РУКОПИСИ

1

Ночь в свободном окне,
И торжественно бел,
То ли ангел ко мне,
То ли голубь влетел:
— Раз пошло, не робей!
Раз пошло, отдаю
Струны лиры моей
На решетку мою.
Одиночка — и все ж
Не из тех я сестер,
Что без крику — под нож,
Без слезы — на костер.

Буду, как ни ряди,
Поневоле храбра, —
Раздвигаю в груди
Я два левых ребра.
— Видишь, тикает страх,
Страх мой гол, как сокол:
В чьих железных руках
То, что прятала в стол?

2

Ночь в случайном окне,
И торжественно зла,
То ль ворона ко мне,
То ли ведьма вошла.
Между ребер — дыра,
А на черной метле
То, что позавчера
Не нашла я в столе.
«Вот писанье твое!
Или жизнь не мила?
Как красиво вранье
Ты свое нарекла!
Так и я не навру
Вороньятам своим,
Полезай-ка в дыру,
Будешь сердцем моим.

Пей-гуляй,
Пей-играй,
Что тебе распятый край —
Это русский каравай,
Кровью вымощенный рай?!»

«В небе — гроздь,
В горле — кость,

Да в моей ладони — гвоздь,
Это боль моя насквозь, —
Жизнь не вместе и не врозь!»

1975

12 ноября 1980 года в автомобильной катастрофе на пути в Мадрид погиб

Андрей АМАЛЬРИК

— известный деятель правозащитного движения в СССР, историк, писатель и публицист. Он ехал в Мадрид, чтобы принять участие в акциях, организуемых правозащитниками в связи с проведением Мадридской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Редакция «Континента» выражает искреннее соболезнование вдове и всем друзьям и близким покойного.

Разоружение — в сердце!

*(Открытое письмо Мадридскому совещанию стран,
подписавших Хельсинкские соглашения)*

Братья!

К вам обращаются политзаключенные Мордовских и Пермских лагерей СССР — *Олесь Бердник, Левко Лукьяненко, Мирослав Маринович, Микола Матусевич, Юрий Орлов, Богдан Ребрик, Микола Руденко, Олекса Тихий, Данило Шумук, Анатолий Щаранский.*

Отверженные, лишённые элементарных человеческих прав, отброшенные на самое дно планетарного ада, мы шлем вам искреннее слово предостережения и сострадания.

Грозен час! По лезвию меча балансирует человечество над термоядерной пропастью. Вы, понимая это, собираетесь для того, чтобы найти путь к разоружению, сосуществованию и общей платформе бытия.

Но не обманывайтесь шелухой подписанных бумажек и политических компромиссов. Какое разоружение, какой договор может привести к цели, если арсеналы человеческих сердец переполнены самым страшным оружием — оружием ненависти?

Идеологическое противостояние — быт нашего времени. Именно война идеологий порождает безумную гонку вооружений, поэтому необходимо разоружение сердец и душ. Необходим единый критерий бытия для всех людей над разделениями рас, наций и религий. Обсудите именно эти проблемы и прежде всего — главную — проблему прекращения идеологического противостояния. Эта болезнь зарождается внутри государств и стран и переносится затем в международные отношения.

Мы имеем в виду преследование во многих странах мира свободомыслия, инакомыслия и стремления к независимости.

Наш горький опыт политзаключенных показывает, до какой бездны трусливой злобности доходит карающая машина нашего государства, которая в 5-ю годовщину подписания Хельсинкских соглашений обрушила весь арсенал правонарушений, издевательств, унижений, страданий на людей, вся вина которых состоит лишь в честном, открытом высказывании критических суждений.

Мы говорим это не для того, чтобы вызвать сострадание к себе. Неся свой крест на Голгофу, мы не думаем о себе, а о судьбе человечества, которое обречено на вечный конфликт, пока не устранено идеологическое преследование внутри тех или иных стран.

Решите немедленно вопрос о всеобщей амнистии для политзаключенных в своих странах. Утвердите пакт о ликвидации в уголовных кодексах всех ваших стран статей о преследовании по идеологическим и политическим мотивам. Пусть исчезнет из словарей Земли слово «политзаключенный», недостойное человека космической эпохи. Такой шаг просто и естественно поведет к доверию внутри стран, а отсюда — к доверию между народами. Ибо можно ли доверять государствам, ведущим идеологическую войну против своих граждан?

Страна, где вы собираетесь, даёт прекрасный пример эволюционного перехода от тирании к демократии. Пусть этот пример вдохновит вас!

Человечество устало от бумажек и пустых, лживых договоров. Пора снять с его чела Терновый Венец, кровоточащий тысячелетия. Пора открыть Врата сердца!

Братья! Прислушайтесь к тревожному зову отверженных и гонимых, идущих Крестным Путём!

Грозен час!

Сентябрь 1980 г.

Мордовия-Пермь, СССР

Россия и действительность

Эдуард Кузнецов

СТАТУС СОВЕТСКОГО ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО

«... Инакомыслящий да имеет право, если уж не на свободу, то, во всяком случае, на сносную тюрьму! Таков печально-реалистический предел моих упований в качестве узника». — «Письмо президенту США», — Э. Кузнецов, концлагерь «Сосновка», 6. 2. 1977 г.

В данном случае под «Статусом советского политзаключенного»¹ автор не имеет в виду паутину законов и подзаконных актов, определяющих реальное, обеспечиваемое всей системой государственного насилия, положение политзаключенных, но — комплекс прав, традиционно считающихся принадлежащими политзаключенным и ими так или иначе отстаиваемых.

Советский Союз, вопреки очевидности, отрицает наличие у него политических узников. Позиция не ахти какая самобытная: общеизвестно, что политзаключенные томятся только в чужеземных узилищах, а в своих — одни грязные уголовники, как их разведчики — сплошь продажные шпионы, а свои шпионы — всегда благородные разведчики.

Понятие политзаключенного иногда трактуется удручающе разноречиво. Казалось бы, не велика беда, когда бы эта разноречивость, даруя тюремщикам свободу демагогического маневра, не сказывалась на положении конкретных людей — в данном случае со-

ветских политзаключенных. Создается впечатление, что дело тут, с одной стороны, в недостаточном вникновении в специфику советского государства, кровью учредившего и оберегающего однопартийную систему, с другой — в слепой подвластности европейскому стереотипу толкований понятия «политзаключенный», а также — в эффективности умелой и бесстыдной спекуляции советской пропаганды на несовпадении западного стереотипа с коммунистическими реалиями².

В ноябре 1976 года мы с В. Черноволом³, встретившись в больничной зоне № 385-34, составили документ под названием «Статус советского политзаключенного»⁴. Писать приходилось с поминутной оглядкой, таясь и шарахаясь; от официальной юридической литературы, никак не разрабатывающей понятие политзаключенного, проку нам не было; доступ к зарубежным или самиздатским источникам нам, естественно, был заказан, и мы, как я теперь вижу, кое-что упустили при определении понятия политзаключенного. Наиболее существенным промахом мне представляется неточность формулировки § 1: «Политзаключенным является всякий, осужденный по политическим мотивам». Не говоря уже о том, что тут уместнее вместо понятия «мотив» пользоваться понятием «цель», эта формулировка может, вопреки намерениям авторов, создать впечатление, что политзаключенными являются лишь те, кого государство, руководствуясь *своими* политическими целями, приговорило к лишению свободы. Некорректность этой исходной дефиниции усматривается в противоречии ей параграфов 2 и 3-го того же раздела, уточняющих, кто именно является политзаключенным. Встречающиеся в этих параграфах определения: «осужденные за создание..., за участие..., за совершенные акты...» — свидетельствуют, что авторы имеют в виду не только жертв режима, карающего их, исходя из своих политичес-

ких надобностей, но и тех, кто репрессирован за деяние, совершенное с той или иной политической целью.

Существуют два наиболее распространенных подхода к определению понятия политзаключенного: лишенный свободы за деяние, совершенное с политическими целями, и лишенный свободы государством в политических целях. Другими словами, это разница между теми, кто сознательно, руководствуясь теми или иными политическими целями, совершает какое-то деяние, и теми, кто ни в каком политически целенаправленном (или мотивированном) деянии не виноват, но лишен свободы государством, преследующим *свои* политические цели. В обиходном языке эта разница зафиксирована, как разница между борцами с режимом и его жертвами. К последним можно отнести репрессированных по классовому, религиозному или национальному признакам, а равно тех, кто пострадал от так называемых «чисток». Например, заложников, арест и расстрел которых практиковался по крайней мере до 1922 года, «кулаков и подкулачников», т. е. миллионы зажиточных или стремившихся стать зажиточными крестьян, «членов семей врагов народа», верующих, крымских татар, волжских немцев, калмыков, ингушей, чеченцев, евреев...

В. Чалидзе, например, считает политзаключенными только жертв режима, правда, при этом оговаривая, что «находит такое употребление термина удобным... так как в этом случае любой, названный политзаключенным, заслуживает особо оправданного моей этикой заступничества»⁶. Представителем противоположной точки зрения выступает А. Солженицын: по его мнению, «жертвы», т. е. людоедской власти не сопротивлявшиеся, политзаключенными считаться не могут, они — «кролики», обыватели⁷. Тем, кто сам хлебнул лагерного горя, эта позиция эмоционально близка, однако с правовой точки зрения она не удовлетворительна. Его формулировка, с одной

стороны, широка, с другой — узка: «Политзаключенные — это те, кто знают, *за что* сидят, и тверды в своих убеждениях»⁸. Широка, ибо под нее, например, подходит и профессиональный вор: он знает, за что сидит, и тверд в своей «воровской идее». Узка, ибо, во-первых, игнорирует жертв режима, не предусматривает возможной эволюции их убеждений, а во-вторых, не охватывает тех, кто сидит не только за свои убеждения, но и за действия в соответствии с таковыми, а эти действия, кстати говоря, могут носить и общеуголовный характер.

Наиболее сбалансированным мне представляется такое определение: политзаключенным является всякий, лишенный свободы за убеждения или деяние, совершенное с политическими целями, а равно всякий, лишенный государством свободы в *своих* политических целях.

* *

*

Основные положения Статуса, за который политзаключенные российских тюрем и каторг начали особенно упорно воевать в последней трети того века, таковы: отдельное от уголовных преступников содержание, добровольность работы, сносное питание и неунизительные бытовые условия, нелимитированное получение любой литературы, но главное (синтез и вершина Статуса) — старостат, т. е. система выборных старост для решения всего круга проблем арестантского самоуправления и представительства перед лицом тюремной администрации всех интересов заключенных. Старостат в полной его форме (правда, редкой) тем еще был хорош, что практически устранял один из наиболее болезненных вопросов всех тюрем и лагерей — доноительство и шпиономанию: при пол-

ном старостате заключенный не мог вступить в какой-либо контакт с администрацией, таковой осуществлялся только через посредничество старосты.

Отстаивая свои права, политзаключенные того века поистине не щадили живота своего — тут и массовые голодовки, и даже групповые самоубийства... Но главное — им оказывали поддержку с воли, и не только формируя благоприятное общественное мнение посредством соответствующих публикаций в газетах и журналах, но и устраивая демонстрации, а порой прибегая к прямому террору⁹. В значительной мере именно благодаря этому непрерывная каждодневная война узников (сперва — еще за один сантиметр пола в камере, за глоток свежего воздуха, за право не снимать шапку перед начальством, а потом за Великую Хартию Арестантских Вольностей — Старостат) во многом увенчалась успехом: в начале этого века Статус стал прочным завоеванием. Разумеется, в зависимости от общей ситуации в стране, тюремщики время от времени пытались наступать на права политзаключенных, но эпоха работала на революционеров, и им уже без особых усилий каждый раз удавалось вновь утвердиться в своих правах.

* *

«...то была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключенным теперь остается вспоминать почти с радостным чувством»¹⁰. Трудно поверить, но порой так оно и есть: не столько о невозможной свободе мечтают раз и навсегда зачисленные в разряд «врагов народа», сколько о приличной тюрьме — до того все беспросветно и безысходно.

Тюрьма — показательный сгусток ряда сущностных особенностей всей государственной системы. В

частности, по уровню арестантских несвобод, по арестантским харчам можно верно судить о политическом и экономическом состоянии всей страны. К примеру, тюрьме никак нельзя быть сытной, когда все государство живет впроголодь. То же относится и к положению ссыльного. Вот, например, Ленин в ссылке. Не говоря уже о его политической нестесненности, не говоря уже о том, что восхоти он бежать, ему легче было из Сибири добраться до Швейцарии, чем теперешнему «вольному» крестьянину сбежать из колхоза в соседний городишко, присмотримся к тому, как он жил на государственное пособие. Вот что об этом пишет Н. Крупская: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья... Правда, обед и ужин были простоваты — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница... рубила мясо на котлеты для Владимира Ильича — тоже на целую неделю... В общем ссылка прошла неплохо». 26. 6. 1898 г. она пишет матери Ленина: «Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь...» В ноябре 1897 года Ленин сообщает матери: «...я растолстел за лето, загорел... Вот что значит охота и деревенская жизнь!»

А вот как в октябре 1976 года описывает советскую ссылку А. Болонкин¹¹: «Дома только деревянные и переполнены до отказа. Жилья и работы нет. Выставили меня на улицу (ночью минус 25 градусов) без гроша в кармане. Предложили жить и питаться с теми, кто отбывает в милиции 15 суток. Хорошо, что, один человек сжалился, дал рубль займа... После недели раздумий мне предложили место чернорабочего (80 рублей в месяц) при геологической партии и койку в общежитии.

Со снабжением плохо. О колбасе и молоке здесь не слышали. Гнилые яблоки (падалка) здесь стоят рубль семьдесят... В магазине нет промтоваров, в библиотеке — литературы. Комнату снять очень трудно. Единственное предприятие — прииск по добыче золота в соседнем поселке Маловск, но работы и там нет...»

Тюремная система в качестве важнейшей составной части уголовной системы кровно связана с общей политикой государства. Уровень и качество политической и экономической жизни страны непосредственно сказываются на организации всей карательной машинерии и в первую очередь — на составе заключенных и режиме их содержания. История советского деспотизма — в значительной мере история советских тюрем и концлагерей. Чем жестче захлестывалась кремлевская петля на горле всей страны, тем многомиллионной кишело застенки, тем чаще умирали заключенные от голода, работы, побоев и пуль. Но в то же время застенки даже и в эпохи наиболее мрачные, всепокорные, могильно безмолвные были единственным местом, где рабы все-таки осмеливались так или иначе бунтовать — именно их кровью написаны самые обнадеживающие страницы советской истории, «Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они все-таки *были*»¹².

Уже в середине 30-х годов трудно было, сунувшись наугад в любую точку российского необъятья, не натолкнуться на липкую паутину концлагерей. Это трехстволка, нацеленная на:

- 1) уничтожение всякой оппозиции,
- 2) культивирование страха как самого испытанного метода контролирования населения и
- 3) обеспечение хозяйства страны дешевым рабским трудом. Каторжный труд при отсутствии техники безопасности, при недостаточном, не обеспечи-

вающем регенерации сил питания быстро выводит из строя значительную часть заключенных, и поэтому экономическая рентабельность лагерных работ может быть обеспечена лишь за счет постоянного притока свежей рабсилы¹³.

Однако все это устоялось потом, а начиналось все более или менее радужно — с теперешней точки зрения, разумеется, а не с точки зрения многих тех, тогдашних, кто ждал от большевистской революции осуществления обещанных ею свобод.

Опубликованный 17 мая 1919 года декрет ВЦИК Советов о лагерях принудительных работ, в частности, содержал две ныне совершенно немыслимые статьи — реликты недавних арестантских вольностей¹⁴. Но важнее было другое — нигде законодательно не зафиксированный, но реально существовавший спецрежим для политзаключенных. Властям пока было не до того, и арестанты пользовались моментом: уже осенью 1918 года Статус был явочным порядком введен полит-узниками Суздальской тюрьмы.

Е. Олицкая пишет: «Политзаключенные получали некоторую надбавку к общему питанию. Они были освобождены от принудительных работ, не подвергались оскорбительной для человеческого достоинства проверке, в политизоляторах допускалось самоуправление, политзаключенные выбирали из своей среды старостат и, в основном, только через него сносились с администрацией. Могли выписывать журналы и газеты. Однако, — сообщает она на той же странице, — под эту рубрику подводились не все политические «преступники», а только члены социалистических партий и анархисты. Члены других политических партий — кадеты, трудовики, народные социалисты, мусаватисты, словом, все, не стоящие на социалистических позициях, не причислялись к политическим. Они назывались «казрами» (контрреволюционерами) и содержались в лагерях и тюрьмах на общем режиме вместе

с уголовниками»¹⁵. Поражает недальновидная, с оттенком чванливости, легкость, с которой эти социалисты угодили в ловушку привилегированного по отношению к другим политзаключенным положения. Это разделение, как верно заметил Солженицын, трагически предрешало всю череду бесславных поражений узников в войне с тюремщиками. Однако несправедливо относить это лишь к эгоизму «борцов за всеобщее равенство», дескать, воевавших только за свои блага. Не без этого, конечно, но основное в другом — в от века разъедающей русское политическое движение нетерпимости, в неистовой взаимной враждебности даже и «бездны мрачной на краю». Как это социалисты могут даже и перед лицом смерти объединиться с какими-нибудь там кадетами, не говоря уже о бывших белогвардейцах!

С другой стороны, не кадеты и белогвардейские офицеры, а именно эсеры и анархисты с их дореволюционным тюремным стажем были носителями традиций организованного сопротивления. Еще и поэтому их надо было отколоть от «казров» — дабы не заражать бунтарским опытом всю массу политзаключенных. Теперь узникам противостояли не рыхлые ключники царских времен, не жандармы, стеснявшиеся своей голубой униформы, но профессиональные расстрельщики, гордившиеся черными кожанками — кобура всегда расстегнута, чтобы выхватливая рука не мешкалась... За устройство новых тюремно-каторжных порядков взялись не дилетанты, но вчерашние узники, те, кто сами всю тюремную науку превзошли изнутри. Нет горшего тюремщика, чем вчерашний арестант, и эсеры-эсдеки-анархисты, вернувшиеся под своды казематов с сознанием своих арестанских прав и с давно отработанными навыками борьбы за них, довольно скоро ощутили на себе, что только теперь-то и начинается настоящая тюрьма.

По мере стабилизации советского режима, положение политзаключенных ухудшалось. Санкционированное Кремлем наступление на арестантские права началось весной 1923 года, а 19 декабря того же года по соловецким политзаключенным, заявившим устный протест против ликвидации Статуса, открыли стрельбу без предупреждения — шестеро убитых... Но это была всего лишь пристрелка, уже не за горами времена, когда начнут убивать за всякий шепот-ропот, а голодовка будет расцениваться как мятеж¹⁶.

В первое послереволюционное десятилетие заключенным плохо-бедно, но все же помогал Политический Красный Крест. Однако по мере все более открытого превращения «исправительных» лагерей в «истребительные»¹⁷, любые проявления сочувствия, сострадания к «врагам народа» становятся сперва предосудительными, а потом и смертельно опасными. С 1929 года Политический Красный Крест все неотвратимее хиреет, чтобы в 1936-м окончательно испустить дух¹⁸. Если не ошибаюсь, всякие помышления о Статусе умерли в 1937 году, когда не только за любое, самое зачаточное поползновение как-то организовать ставили к стенке, но и смирейших, безропотных поливали с вышек свинцом — просто для пристрелки пулеметов. Какой уж тут Статус!

Но вот после смерти Сталина (а еще больше после убийства Бери) арестанты уловили некоторую растерянность своих тюремщиков, предощущавших возможность опасной для них перемены политического курса, — и мятежный дух забурился в лагерях, напугав Москву восстаниями в Джезказгане, на Воркуте, на Колыме. Требовали пересмотра дел и смягчения бесчеловечного лагерного режима. Восстания были раздавлены танками, расстреляны из пулеметов, но когда бы не они, неизвестно, как работала бы пресловутая хрущевская Комиссия, освободившая в 1955-56 гг. большую часть политзаключенных. И в период рабо-

ты этой Комиссии, и еще долго после нее практически всякое бурление в лагерях отсутствовало — надежды на либерализацию сверху рождали боязнь протеста, могущего рассердить подобревших начальников. Да и времена для лагерей тогда наступили самые баснословные — бериевцы как-то стушевались, не сразу поняв, что бояться им в сущности нечего, что без них «самое демократическое в мире государство» в любом случае как без рук... Но скоро они прибодрились: колыхнулись волны новых арестов — в основном, студентов. Надежды лагерных старожилов — «сынов ГУЛага» поувяли. Неярко полыхнула забастовка в 7-й мордовской зоне и кончилась бесславно, тут и там зашевелились, зашептались по лагерям вчерашние студенты, пытаясь организовать, но с ними расправились беспощадно, а тут как раз подоспела Сессия Верховного Совета (декабрь 1958 года), и депутат Б. И. Самсонов потребовал, чтобы заключенные «воспитывались в условиях более тяжелого труда»¹⁹.

Режим все неотвратимее ужесточался, готовилась расстрельная статья 77-1, и грозным намеком на скорое ее появление стала газетная кампания «гнева народного» против «курортных условий в лагерях»²⁰... И пошли расстрелы за расстрелами... Только в той зоне, где находился я²¹, в 1963 (наиболее свирепом) году по этой статье расстреляли 13 человек и не менее 20-ти приговорили к добавочным срокам — от 12 до 15 лет. Формально эта статья должна была прекратить «бесчинства заключенных, терроризирующих тех, кто встал на путь исправления, или дезорганизующих деятельность администрации»²², но на самом деле именно заключенные были буквально терроризированы этой статьей — по меньшей мере, до 1967 года²³. Стоило сказать стукачу, что он стукач, как вам приписывали «глумление и издевательство» — извольте стать к стенке...²⁴ Даже выколотый на лице лозунг почему-то уже не считался обычной антисоветской аги-

тацией, но — «действием, дезорганизующим деятельность колонии». Последний расстрелянный за наколку политзаключенный — Тарасов (декабрь 1971 года, Мордовия, лагерь № 385-10).

В разные времена резко различен уровень арестантской покорности или воинственности, пассивной страдательности или безоглядного бунтарства, безропотного умирания целыми косяками или дружного наступления на тюремщиков. Может создаться впечатление, что вот, дескать, в том веке или, скажем, 25 лет назад совсем другой народ был — «не то, что нынешнее племя...» Однако учет всей совокупности обстоятельств, в которых наблюдался подъем или спад арестантского сопротивления, говорит о том, что одни и те же люди в разные времена ведут себя по-разному. Подъем или спад лагерного сопротивления всегда находится в тесной связи с общей обстановкой в стране и мире. Сразу после войны украинцы-западники и прибалтийские «лесные братья» держались в лагерях дружными и воинственными землячествами, пока вооруженное национально-освободительное движение на Украине и в Прибалтике не было подавлено. До того времени им было куда бежать (хотя бы в ночных мечтаниях своих), до того времени они чувствовали себя частью движения, воинами с четким комплексом представлений о долге и ответственности. Помогала им держаться и бытовавшая среди них надежда на США, которые обязаны воспользоваться послевоенной слабостью СССР и избавить человечество от советского фашизма. Этот миф питался рассказами все новых и новых партий арестантов, вливавшихся что ни день в тюремно-лагерные врата, — радиоприемники вчерашних бойцов лесных отрядов то и дело ловили утешительные заграничные призывы: «Держитесь! Не сегодня-завтра Америка придет вам на помощь!»

Потом был послесталинский взлет повстанчества, спад его во время хрущевской «оттепели» и долгий период (примерно до 1967 года) скептической пассивности, утраты всяких надежд на эффективность бунтарства — хороший лагерный тон предписывал экзистенцированное мировосприятие, трагический, обреченный стоицизм личностного противостояния «сволочам» и ироническую усмешку в ответ на любые попытки хоть как-то организовать.

Во второй половине 60-х годов начинается интенсивная перестройка мятежных умов как в лагере, так и на воле: уже предощущаются свежие ветерки, кое-что сдвинулось в мире, обозначился двусмысленный дрейф континентов, который позже станет известен под именем разрядки, все отчетливее выявляется неустрашимый ряд надобностей советского военно-промышленного комплекса, надобностей, понуждающих режим к хотя бы частичному отказу от традиционной политики полной закрытости для мира, осознается зависимость некоторых аспектов советской домашней политики от международного общественного мнения, становится все нагляднее роль гласности — не столько в расчете на внутреннюю общественность, сколько на внешнюю. В конце 60-х годов почти все инакомыслящие отказались от подпольщины, верно поняв эффективность громкого, максимально гласного выражения своих несогласий с режимом. Оценка внутренних возможностей (в смысле упований на поддержку со стороны значительных масс людей) осталась прежней — трезво-пессимистической, но с пониманием все возрастающей потребности советского режима предстать в глазах Запада поприличней, крепнет надежда на помощь извне. В политических лагерях усиливается движение за права заключенного. В начале 70-х годов судороги массовых голодовок то и дело сотрясают узилища. Теперешний тюремный режим уже не может позволить себе открытого уничтожения бунтарей, он вы-

нужден действовать с оглядкой на Запад, убедившись, что даже заключенные умудряются, обойдя бесчисленные препоны, информировать мир о происходящем за колючей проволокой. Советские властители вынуждены играть в либерализацию, суть которой — давить тишком, поковарней, не оставляя явных следов. Естественно, ту же тактику вынуждены усваивать и непосредственные давилышки — тюремщики.

Усиление правозащитного движения на воле стимулировало правозащитные настроения у лагерных бунтарей. Практически во все времена в лагерях была так называемая «отрицаловка» — те, кто отчаянно отказывался выполнять любые распоряжения властей и безвылазно мерз и голодал в карцерах. Но вот в начале 70-х годов вновь, словно из праха расстрелянных и замученных, возрождается волшебное слово «Статус», и вчерашняя анархизирующая «отрицаловка» начинает подводить под свое отчаянное индивидуальное неприятие лагерного режима некую общезначимую платформу — требование Статуса для всех политзаключенных. По рукам пошли гулять варианты самодельных «Статусов» — вещественное свидетельство роста правозащитных настроений. К сожалению, бросающаяся в глаза доморощенность этих «Статусов» подрывала доверие к ним — даже тот, что был составлен профессиональным юристом Л., фактически сводился лишь к перечислению ряда бытовых претензий к режиму содержания политзаключенных. Было известно о существовании международных «Стандартных минимальных правил обращения с заключенными», но никто их даже и мельком не видал²⁵.

Общую ситуацию в какой-то мере передает отрывок из моего письма (февраль 1977 года), тайно отправленного в Москву, одному из членов Комитета прав человека: «Людам с развитым правосознанием особенно тяжело дается пребывание в лагерной юдоли скорбей, унижений и издевательств. То один, то дру-

гой, махнув рукой на жалкие блага, даруемые начальством за смиренное рабство, пускаются в тяжкие странствия по карцерам, прижимая к груди не икону личных обид, ущемлений и претензий, но древко высоко поднятой хоругви требований очеловечить тюремную жизнь всех политзаключенных. При этом, обосновывая свои требования, страстотерпцы смущенно ссылаются на полумифический «Статус политических заключенных», якобы выработанный некогда в светлом закордонье на основании некоей международной конвенции о содержании политических узников. Ох, уж этот свободный доступ к информации! Короче говоря, нам нужен авторитетно признанный «Статус», на недвусмысленные параграфы которого можно было бы ссылаться. Вообрази, Стефа Шабатура почти два года маялась по карцерам (а надо знать, что такое карцер, чтобы за голову схватиться: два года? женщина?!), отстаивая «Статус», а его как такового никто в глаза не видал. Привезли тут ребята из тюрьмы пару проектов «Статуса», но они вопиюще дилетантские: основной их дефект — отсутствие правовых формулировок. Предлагаю Комитету защиты прав человека в СССР проект «Статуса политических заключенных», написанный Черноволем в содружестве со мной²⁶. С этим проектом я ознакомил моих солагерников. «Ах, — говорят, имея в виду правовые и бытовые претензии к государству, — если бы!... Тогда и на свободу не надо!»

Текст этого «Статуса» мгновенно разошелся по лагерям, и ГБ, пытаясь вынюхать его авторов, впервые столкнулась с неслыханным: не менее дюжины арестантов громогласно объявили себя авторами «Статуса»²⁷. Давно ли за такой текст грозила расстрельная 77-1!.. Но теперь ГБ сочла за лучшее распространить слух, что «Статус» сочинен ЦРУ и каким-то коварным способом заброшен в лагерь.

Запроволочный режим за последние пять лет если и помягчал, то очень незначительно. Зато уменьшился риск получить в лагере добавочный срок — и арестанты приободрились. Осенью 1977 года изоляторы мордовских политлагерей были переполнены: около 60 заключенных участвовали в движении «100 дней за Статус» — отказались от работы, сопротивлялись стрижке волос, сорвали с одежды нагрудные таблички, поочередно объявляли голодовку за голодовкой...

Проблемы организации и деятельности мест заключения обсуждались на международных конгрессах²⁸. В своих резолюциях они неизменно подчеркивают необходимость гуманного обращения с заключенными, недопустимость их эксплуатации и применения жестоких и вредных для здоровья методов воздействия. Три последних конгресса пенитенциариев одобрительно отзывались о советской тюремной политике — ссориться с могучей державой небезопасно... Почти не сомневаюсь, что очередной такой конгресс (в августе 1980 года в Сиднее) благосклонно выслушает рассказы советской делегации и вновь порекомендует всем прочим странам учиться у советских тюремщиков.

Советская карательная политика в последние 5-6 лет стала по необходимости более гибкой и коварной. Стремясь к численному сокращению осужденных непосредственно по политическим статьям, репрессивные органы предпочитают расправляться с неудобными, фабрикуя против них уголовные обвинения. К тому же сейчас, несомненно, период интенсивного накопления политических досье, которые могут понадобиться в любой момент завтра. О тюремной политике государства, где отсутствуют силы и возможности контролирования власти или реального противостояния ей, не всегда можно адекватно судить по наличному числу политических заключенных. Порой важнее не то, сколько их сейчас, а то, что в любой

момент их будет как раз столько, сколько это нужно государству. Политзаключенные — всегдашняя неизбежная советская реальность, и потому всегда будет актуальной проблема «Статуса». Приходится быть реалистом: советская система немыслима без политических репрессий, давление Запада, сколь бы оно ни было сильным, может принудить СССР в те или иные моменты к сокращению общего числа политических узников и даже к освобождению некоторых из них, но не всех, не всех... И потому, требуя свободы для каждого, одновременно необходимо способствовать всему, что может принудить советские власти к гуманизации тюремного режима.

Декабрь 1979 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Впредь именуемого для простоты Статусом.

2. Считаю не лишним процитировать В. И. Юкшинского — в качестве немецкого военнопленного он отведал советских лагерей, но многого так и не постиг. В этой цитате достаточно представительно сконцентрированы противоречивость и нечеткость типичных суждений об интересующем нас предмете. «Особой группой, — пишет он, — являются «политические». Эта квалификация условна во всех отношениях. Во-первых, потому что советский кодекс таковой квалификации не знает. (А раз сам советский кодекс не знает, то... — Э. К.) ...Во-вторых, потому что «политических» преступников в европейском понимании этого слова в Советском Союзе действительно нет или почти нет, так как нет организованной оппозиции власти... (В чем, вроде как, опять же виноваты не те, кто всякий намек на оппозицию душит на корню, а те, кто, полужадашенные, эту оппозицию все же не удосужились создать. — Э. К.)

Это было на странице 28, а на странице 29-й выясняется, что даже и наличествуй какая-никакая оппозиция, все равно и этого мало... «Несколько оживленное дело обстоит с «оппозицией», которую, конечно, нельзя смешивать с революцией (? — Э. К.). Но оппо-

Текст «Статуса», данный в Приложении, опубликован в книге автора «Мордовский марофон».

зиционеры, встреченные мною в лагерях, во-первых, не принадлежали ни к какой централизованной организации, а во-вторых, оставались всегда на советской платформе, как и подобает оппозиции». В. И. Юкшинский. Советские концентрационные лагеря в 1945-55 гг. Мюнхен, 1958.

3. Украинский журналист, арестован в 1972-м году за так называемую антисоветскую пропаганду и приговорен к 6 годам лагерей и 3 годами ссылки, каковую в данное время отбывает. (В 1980 арестован по фальсифицированному обвинению в «попытке изнасилования» и приговорен к 5 годам лагеря. — Прим. ред.)

4. Группа мордовских лагерей — «Дубровлаг».

5. См. Приложение.

6. В. Чалидзе. Записка о понятии «политический заключенный». — В сб.: Документы Комитета прав человека. Международная Лига прав человека, Нью-Йорк, 1972, стр. 241-242.

7. Пострадавших за веру Солженицын справедливо не включает в категорию «кроликов».

8. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛag. Том 3. ИМКА-Пресс, Париж, 1974, стр. 316.

9. Атмосферу того времени хорошо передает факт оправдания судом присяжных заседателей Веры Засулич — в 1877 году она стреляла в петербургского генерал-губернатора Трепова за то, что он приказал высесть розгами политзаключенного Боголепова, отказавшегося снять перед ним шапку.

10. С. П. Мельгунов. Воспоминания и дневники. Вып. 1. Париж, 1964, стр. 139.

11. А. Болонкин — доктор физико-математических наук, русский, в 1972-м году за распространение самиздатской литературы приговорен к 4-м годам лагерей и 2-м годам ссылки, которую отбывал (до очередного ареста в 1978-м году) в поселке Багдарин, Бурятской АССР.

12. А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛag», часть 5, стр. 239, ИМКА-Пресс, Париж, 1975 г.

13. Вот суть лагерного хозяйственника: «Он (Кадымов — директор лагерного совхоза Эльген. — Э. К.) ...вел свое хозяйство именно как экстенсивное, основанное на рабском ручном труде, на частой смене «отработанных контингентов». Когда ему докладывали об очередных вспышках «падежа» заключенных, он отвечал: «Новых получим. Поеду в Магадан. Добьемся». — Е. Гинзбург. Крутой маршрут. Arnoldo Mondadori Editore, 1979.

14. Ст. 39: «Все заключенные избирают старосту, одного для всего лагеря, который и является посредником между заключенными и администрацией». (С начала 30-х годов запрещено заступаться за других заключенных, даже написать в защиту сокамерника жалобу — преступление. — Э. К.)

Ст. 43: «Передача продовольственных продуктов отдельным заключенным не допускается. Все переданные продукты должны поступать в общий котел».

15. Е. Олицкая. Мои воспоминания. Т. 1. «Посев», 1970, стр. 217.

16. Например, в 1937 году расстреляли 150 участников голодовки во главе с Михаилом Шапиро (Воркута, 8-я шахта).

17. А. Солженицын. Архипелаг ГУЛаг.

18. «Память». Вып. 1. Хроника-Пресс, Нью-Йорк, 1978, стр. 329.

19. Заседание Верховного Совета СССР 5-го созыва. 2-я Сессия. Стенографический отчет. Изд. Верховного Совета СССР, М., 1961.

20. См. Касюков, Мончанская. Человек за решеткой — «Советская Россия», 27.8.1960: от имени народа авторы потребовали для заключенных «суровых и трудных условий» и, кроме того, чтобы «отбыв срок, заключенный не рассчитывал на милосердие».

21. Мордовия, лагерь особого режима № 385-10, около 500 чел.

22. «Комментарий к уголовному кодексу РСФСР», «Юридическая литература», Москва, 1969, стр. 161.

23. Ст. 77-1 УК РСФСР: «Действия, дезорганизующие работу Исправительно-Трудовых Учреждений»: «Особо опасные рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления, терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, вставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в этих группировках, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15-ти лет или смертной казнью».

24. «Комментарий к уголовному кодексу РСФСР» («Юридическая литература», Москва, 1971) поясняет, что «терроризирование честно работающих осужденных может выражаться в глумлении и издевательствах над ними», — стр. 176-177.

25. Только теперь, получив возможность ознакомиться с ними, я могу не голословно, но ссылаясь на конкретные статьи этих «Правил», утверждать, как далек советский закон (а особенно практика) от международно признанного минимума. Достаточно сказать, что из 89-ти предписывающих статей этих «Правил» 36 статей, хотя и числятся в советском Исправительно-Трудовом кодексе, на самом деле не соблюдаются, а 15 статей и вовсе в нем отсутствуют. Статьи, которые числятся в советском кодексе, но не блюдутся: 6-1, 10, 11, 14, 15, 16, 17-1, 20-1, 21, 22, 25-1, 31, 33-с, 39, 40, 44-3, 47-1, 48, 54-1, 57, 58, 60-2, 62, 64, 65, 66-1, 71-4, 72-2, 74, 76-1, 77-1, 79, 80, 81-1, 82-2-4, 84-2. Статьи, полностью отсутствующие в советском законе: 6-2, 9, 12, 17-3, 25-2, 32-3, 41, 42, 44-2, 45-2, 49-1, 50-1, 55, 60-1, 71-6, 86, 88-2, 89, 90, 91, 92.

26. Летом 1977 года я получил обусловленный сигнал из Москвы, который значил, что «Статус» обсуждался Комитетом прав человека и признан приемлемым.

27. Именно поэтому я не опасаясь называть В. Черногола.

28. Женева — 1955, Лондон — 1960, Стокгольм — 1965, Токио — 1970. О том, где проходил конгресс 1975 года, сведениями не располагаю.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	40	75	135
Заграница	47	84	150
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	66	124	220
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	50	90	170
Иран	57	104	190
Австралия, Китай,			
Япония	84	158	300

Анджей Д р а в и ч

ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ

Книги, люди, журналы, идеи

От редакции: Публикуя статью польского критика, исследователя русской литературы, мы предполагаем, конечно, что не каждый наш читатель (включая нас самих) согласится с каждым из его положений. Однако трудно не согласиться с тем, что такой полной и уравновешенной картины новейшей эмиграции сама эмиграция еще не создала. Быть может, взгляд «со стороны» — и в то же время взгляд знатока и друга — в соединении с высокой профессиональной культурой помог Анджею Дравичу преодолеть всевозможные подводные камни, щедро рассеянные на пути каждого, кто берется за такую задачу.

Статья была опубликована в польском самиздатском журнале «Запис» № 15 (июль 1980) вслед за переводами «Саги о носорогах» Владимира Максимова и интервью Андрея Синявского газете «Монд».

«Зарубежная литература, как особая глава в истории русской литературы, идет к своему неизбежному концу». Этими меланхолическими словами заканчивал Глеб Струве свою «Русскую литературу в изгнании», написанную в середине 50-х годов. Меланхолия эта, горькое сознание заката и умирания — подлинная и всеобщая эмоциональная атмосфера, господствовавшая в зарубежной России того времени. Но оказалось, что и замечательный, вне сомнения самый многосторонний в диаспоре литературовед и издатель, и многие другие неожиданно ошиблись в свою пользу. Теперь

видно, что то, о чем четверть века назад писал Струве, должно было стать лишь некоторой паузой, отсрочкой наследования, тем, что русские называют «безвременьем».

Биологический закат и жизненный тупик явно тяготел над судьбами первой эмиграции — массы людей, более или менее вынужденно покинувших Россию в результате большевистского переворота. Стало очевидно, что великим проектам и программам эмиграции не суждено исполниться, что попытки найти форму компромисса, перекинуть идейные мосты к стране не выгорели — а было их множество, начиная со сменовеховцев и евразийцев, и всегда в них было заложено зерно капитуляции. Зато не стало очевидно — *еще*, ибо для этого нужна сегодняшняя перспектива, — что в сфере культуры (а нас интересует именно она) исторический проигрыш был, по меньшей мере, сомнителен, если этот проигрыш вообще существовал, ибо можно доказать, что обе России, отечественная и эмигрантская, культурно сосуществовали как тайно сообщающиеся сосуды с расщепленными и перепутанными соединениями. За рубежом отцеживались и хранились элементы, которых в стране как раз не хватало и которые в окончательном, уже общем итоге оказались или окажутся необходимыми.

Истинная национальная культура не спешит, она неотъемлемо наделена особым самоохранительным чувством бережливого накопления ценностей. Георгий Федотов, один из светлейших эмигрантских умов, мыслитель милостью Божией, попал в точку, предложив в 1936 г. эмиграции поставить на отечественных «молчаликов». «Может быть, — писал он тогда, — это и не молчалики в полном смысле слова. Может быть, эти юноши, каждый в своей специальности, математике или теории искусства, пишут книги, как-то выражают себя. Но не до конца. Или говорят за четырьмя стенами, в тесном кругу друзей...» — и эта

Россия будущего виделась ему достойной того, чтобы сделать на нее «ставку Паскаля, ставку веры, — ставку, без которой не для кого и незачем жить» («Тяжба о России» — «Современные Записки», т. 62, Париж, 1936). Тем, кто не обладал федотовской зоркостью, оставалась взамен горькая очевидность дезинтеграции, впитывания в чужие культуры, разные области которых заполнялись пришельцами на -off, -eff, -sky; оставался тяжкий опыт хождения по мукам бесподданных XX века, столь отличный от положения политэмигрантов до 1917 года — в частности, потому, что большей части заинтересованного большевизмом мира эмигранты представлялись отбросами с помойки истории.

После второй мировой войны на Западе появилась вторая эмиграция, с самого начала, однако, отягощенная грузом навешенной на нее коллективной ответственности за преступления единиц, смакующая свои тройные обиды, нанесенные своими, немцами и союзниками (весь комплекс этих проблем фундаментально рассмотрен Солженицыным в «Архипелаге ГУЛаг») — а значит, изначально менее заметная, притаившаяся, не желавшая бросаться в глаза, нацеленная прежде всего на физическое выживание и взаимопомощь. Отдельные пришельцы из этого второго эшелона нашли свое место в науке и культуре первой эмиграции, создали также свои организмы, но все это не дало впечатления нового качества или открытия новых перспектив, а только, казалось, чуть оттягивало наврожденный Глебом Струве неизбежный конец.

Сознание близкого упадка углубило десятилетиями укреплявшийся комплекс неполноценности по отношению к культуре, создаваемой на родине, до такой степени, что, не будь того же Струве, не было бы даже очерка истории эмигрантской литературы, ибо она явно не выглядела достаточно достойным внимания предметом исследования! Это убеждение было свой-

ственно и нерусским русистам, за малыми исключениями игнорировавшими культуру зарубежной России. Лишь недавние годы принесли в этой области несомненные перемены. Итак, наступало заведомое примирение с мыслью, что, когда исчезнут последние эмигранты, тогда всему, что возникло в их кругу, одна судьба — рухнуть и быть забытым, оставив след лишь в упоминаниях или примечаниях позднейших историков в качестве третьестепенного фонда единственно значимых отечественных событий.

Но ситуация изменилась. Наступило
явление третьей эмиграции.

Ее генеалогия — предмет споров. В одном из последних номеров парижского «Континента» появилась статья (Кирилл Хенкин. «Русские пришли», № 22, 1980), внушающая, что она создана кремлевскими стратегами и цель ее — «дезинформировать и дезориентировать Запад, укрепить позиции СССР во внешнем мире». Ход мыслей автора любопытен, но тут не место его излагать; следует, однако, отметить, что в здравом уме сразу рождается недоверие к такой сатанинской, парализующей картине. Пожалуй, мы окажемся ближе к правде, предположив, что в клубке причин и следствий, действий и противодействий, а также разнообразных мотивировок явление новой эмигрантской волны уже вышло за рамки каких бы то ни было первоначальных замыслов, живет своей жизнью, которая не подчиняется управлению на расстоянии и чревата непредвиденными возможностями, решительно ускользая от концепции заговора. Возможно, у власти были определенные намерения, которые действительность переросла, а то и обратила в их противоположность; но, кроме того, режиму пришлось кое-что совершать под давлением, и нет уверенности, всегда ли он хорошо знал, что делает. Еще в 1922 г., когда из России выслали большую группу интеллигенции, эмиграция получила мощный приток духовных сил. Результат

различных официальных начинаний в наше время (от уговоров и угроз с одновременным лишением возможности нормально существовать, через фиктивные «временные выезды» с позднейшим лишением возможности возвратиться, и вплоть до принудительной высылки) — приток еще более мощный, к тому же постоянно обновляемый, который радикально оживил биологически угасавший организм зарубежной России.

За границей сейчас находится большая группа писателей с достаточно весомыми именами: Солженицын, Некрасов, Максимов, Синявский, Бродский, Коржавин, Эткинд, Зиновьев, если назвать только важнейших. Скончались, правда, Анатолий Кузнецов и незабвенный Александр Галич, связывавший все эмигрантские группировки. Ожидается, в свою очередь, приезд Аксенова, Войновича и Копелева. Прибавим к этому большую группу писателей второго эшелона, многих хороших публицистов и эссеистов, в особенности из русско-еврейской диаспоры, и совсем молодых, но уже подающих серьезные надежды людей; наконец, университетских филологов и историков.

Вдобавок, издательские начинания этого круга в значительной степени используют приток литературы с родины, печатаемой с согласия авторов или без; некоторые из них, живя в России «отечественной», стали таким образом *de facto* жителями зарубежной России. Отечественный самиздат и вещи, о которых заведомо известно, что им не пройти цензуру, втягиваются в тамиздат, т. е. выходят в зарубежных издательствах, после чего, тайком провезенные в Россию, они начинают свой первый или второй кругооборот на родине. Рамки этого кругооборота не широки, ограничиваясь, в общем-то, частью — лучшей частью — литературных кругов. Но это лишь начало процесса, предвиденного Федотовым в те поры, когда он ставил на «молчальников» и рассчитывал, что в будущем они раскроют рот. Недостижимая мечта

первой эмиграции, предмет ее постоянных попыток, обходных маневров, финтов, предложений, уступок (притом что большевиков, жаждавших безоговорочной капитуляции, все это не интересовало), — исполнилась, шаг за шагом, полностью вне этой власти: формируется единство русской культуры, сближаются два берега национального сознания, разорванного в течение шестидесяти лет. К этому подошло бы название, которым озаглавил свою книгу эмигрантский историк литературы Юрий Мальцев — «Вольная русская литература». Его история рассказывает, правда, прежде всего о самиздате, но в последние годы, когда собственно самиздат утратил разбег, как раз и наступило стирание издательских границ.

Речь идет о единстве, наконец-то реализующемся, пусть даже только начатом. Но разве дела не обстоят так, как постоянно можно услышать в русской диаспоре, что ни о каком, мол, единстве нельзя говорить, поскольку эмиграцию раздирают неистовые свары?

Действительно, первое слуховое впечатление каждого, кто склонит ухо в эту сторону, — гам перекрывающих друг друга голосов. Как правило, сильно нажаты эмоциональные педали, нет недостатка в пророческом пафосе, и легче столкнуться с инвективами *ad personas*, чем с обдуманными *argumentis*. И, несмотря на это, я не советовал бы резюмировать это на манер лидера ансамбля «Бони М.», который заканчивает своего знаменитого «Распутина», наполненного детальными сведениями о том, как долго глушили, пыряли, травили, душили и топили живучего монаха, — вздохом

«Oh, those Russians!...»

Редко кто удержится от такого восклицания, однако разуму следовало бы унять скрытое в нем чувство превосходства и обнаружить в гримасе возмущения

заурядное ханжество, а также инерцию банальных стереотипов, не пристойных серьезному разговору.

Не нужно доказывать, что само эмигрантское положение, с его — так или иначе, всегда присутствующим — привкусом проигрыша, настраивает драчливо, а разреженный чужестранный воздух облегчает резкие и не всегда координированные движения. Об этом знают все эмиграции мира, и как это знакомо польской эмиграции! Согласимся же, что русские оказались в особой ситуации, способной многое объяснить. В стране, которую они покинули, на их (всех без исключения) памяти не существовало общественное мнение и его организмы. Всё, что личности, группы, круги, коллективы могли бы высказать по самым важным вопросам, закисло в стране, как в бочке, забитой затычкой официальной линии. Ничего странного, что оно вырвалось с шумом. Идет коллективное обучение политической речи, поиск себя самих, настраивание голосов. Эмиграция является продолжением разогнанного шестьдесят два года назад Учредительного Собрания и парадигмой будущей духовной жизни на родине. Ей приходится платить цену этого разрыва, причем, пожалуй, не чересчур высокую — даже тогда, когда борцы на ристалище дискуссий считают дозволенными любые приемы. Нормы и формы явятся со временем — имейте терпение.

Отметим здесь, что наша собственная эмиграция обладала богатыми парламентскими традициями и большим запасом времени, чтобы выкрикаться в бурных спорах, так что ее нынешние нравы, действительно, получше, позиции давно очерчены и о чем ни попадя копий не ломают (эти хорошие манеры русским, кстати, импонируют). Однако и у нас в полемике нет-нет и выскочат обвинения вместо аргументов, и у нас есть свои охотники за ведьмами, для которых всё разом: КОР, Сахаров, Солженицын, да, пожалуй, и сам Иоанн-Павел II — единая сеть кремлевской агентуры,

наихитрейше сплетаемая на обман и погибель свободному миру. Куда тут Хенкину с его заговорщической теорией эмиграции! И если известия о русских противоречиях и крайностях будят в мире отзвук, а польские диатрибы остаются незамеченными, так это потому, что масса российского колосса куда весомее и к словам, написанным кириллицей, приглядываются пристальней.

Так что, избегая гримас пренебрежительного тщеславия, скорее стоит сориентироваться, какова в области культуры, а особенно литературы

расстановка русских сил за пределами страны.

Одна из ее форм — система журналов, литературных или уделяющих внимание литературе.

Здесь ситуация долгое время была стабильной. Основанный в 1942 г. в Нью-Йорке, после исхода эмиграции за океан, «Новый Журнал» был и остается ежеквартальником старших поколений, хранящих традиционные вкусы. Он наследовал традиции главного органа довоенной эмиграции, парижских «Современных Записок», и всей исторической линии русских т. н. «толстых журналов». Ориентация на реализм, пост-символизм, постапмеизм, нелюбовь к новаторским штучкам, но зато многообразие весьма ценных архивных публикаций (напр., Булгаков, Пильняк, много Шаламова), сокровищница сведений о культуре и истории в мемуарном разделе, живая публицистика с неоднородным, впрочем, уровнем аргументации.

Еще дольше, 55 лет, существует в Париже «Вестник Русского Христианского Движения», также стабилизировавшийся как ежеквартальный журнал. Наряду со статьями из области основной, богословской и религиозно-философской, проблематики, а также по вопросам религиозной жизни в России, здесь много литературных публикаций, в особенности ведущих происхождение от того же духовного течения. Журнал вел также оживленные дискуссии о возможностях

и концепциях духовного возрождения России, но в последнее время они стали несколько уплощенными. Дело в том, что главный редактор, так сказать, принес журнал в дань — правда, не кому-нибудь, а Солженицыну, и теперь «Вестник» с безоглядной преданностью пропагандирует взгляды великого вермонтского отшельника и его сторонников. Пыл этот заходит так далеко, что редакция немедленно отмежевывается от собственных публикаций, если они не нравятся Солженицыну — как известно, неслыханно чувствительному в отношении всего, что припахивает опорочиванием доброго имени России, и, при всех своих огромных достоинствах, не самому терпимому человеку.

С 1947 г. в Париже выходит главная еженедельная газета эмиграции, «Русская Мысль», воистину Ноев ковчег с представителями всех видов, где трогательные остатки угасающей старосветскости (некрологи, тематические уголки, советы, объявления, светская хроника, болтовня престарелых дам в стиле *belle époque*) соседствуют с информацией и комментариями текущих событий, публикациями прежней и нынешней литературы, обзорами выходящих изданий. Газета старается всем потрафить и быть открытой трибуной, что делает ее пестрой, но живой; в этом значительны заслуги предыдущего, ныне почетного главного редактора Зинаиды Шаховской, которая сумела придать «Русской Мысли» разбег и журналистскую хватку.

Во Франкфурте-на-Майне с 1946 г. выходит ежеквартальный журнал «Грани», связанный с издательством «Посев». Эти организмы второй эмиграции, созданные — в силу вышеупомянутой специфики этой последней — в некоторой изоляции, годами возбуждали в различных кругах подозрительность и сомнения в том, кому они в действительности служат; однако, глядя трезво, следует сказать, что нет никаких

противопоказаний тому, чтобы принимать их такими, как они есть. До пришествия третьей эмиграции «Грани» были главным и очень богатым источником публикаций новой русской литературы, и заслуга их велика: они помещали основные тексты Войновича, Владимова, Максимова, Гроссмана, в них напечатан «Котлован» Платонова, публиковался Солженицын, и специальный номер был посвящен делу Синявского и Даниэля — одним словом, в «Гранях» была масса значительных вещей. Ныне, перед лицом большого числа конкурентных изданий, журнал утратил свою привилегированную позицию и стал менее интересным.

Третья эмиграция вообще принесла с собой журнальный бум. Люди, которые на родине могли печататься лишь с большим усилием и потерями, обнаружили, что создать свой журнал на Западе нетрудно, а отмеченный выше взрыв самовыражения придал размах их начинаниям. Сразу зарябило в глазах от числа журналов. Впрочем, играли роль и более серьезные причины. Именно они, в первую очередь, были решающими в возникновении и облике «Континента».

«Континент» — это опять-таки попытка восстановить традиции и форму «толстого журнала», т. е. литературно-общественного издания, представляющего и различные литературные жанры, и различные типы размышления о литературе и жизни. Избранное название налагало добровольные обязательства. «...мы видим задачу нашего журнала, — говорилось в редакционном вступлении к первому номеру в 1974 г., — не только в политической полемике с тоталитаризмом, но прежде всего в том, чтобы противопоставить ему — этому воинствующему тоталитаризму — объединенную творческую силу художественной литературы и духовной мысли Восточной Европы, обогащенных горчайшим личным опытом и вытекающим из него видением новой исторической перспективы». Что бы ни думать об отдельных материалах двадцати

с лишним номеров ежеквартального журнала, в котором иногда ощутима недостаточно жесткая хватка редакторской руки, — главное его устремление, несомненно, исполняется трудолюбиво и от души. «Континент» смотрит широко, мыслит открыто, дает место на страницах многообразным взглядам, ищет союзников на Западе и сотрудников среди восточных товарищей по несчастью. Польше он уделяет весьма почетное место. Регулярно выходят его издания на иностранных языках, из которых особенно интересно и довольно независимо немецкое.

Результатом раскола в «Континенте» стал выходящий менее регулярно, по замыслу ежеквартальный, журнал «Синтаксис», предприятие супругов Синявских. Это журнал весьма камерный, производимый домашним способом, посвященный критике, эссеистике и публицистике, направленности либерально-западнической. Редакторы заявили, что они высоко ставят интеллектуальную провокацию, остроту мысли, эффектную форму и что им отвратительна литературная серость «соцреализма наизнанку». Их специальностью стала полемика с различными формами и извращениями русской мысли неославянофильского типа. В этой роли журнал оказался нужным, будоражащим, задиристым; неизвестно только, хватит ли ему дыхания.

Журналы «Эхо» и «Ковчег», за которыми из Варшавы удастся следить лишь урывками, сформировались схоже: как предприятия более молодых эмигрантов, начинающих или менее известных писателей, заранее бунтующих против — в форме ли он проявляется, в содержании ли — академизма существующих журналов. Оба дают ведущее место эксперименту, в особенности связанному с традицией Обэриу, Общества реального искусства, ленинградской группы 20-х гг., соединявшей приемы постфутуризма и сюрреализма, — многими годами

позже это влияние оказалось плодотворным. «Эхо» также заявило: «понятие редакции нам ненавистно», предполагая, что будет печатать все, что ему понравится; в результате оба журнала скорее напоминают альманахи, где нет определенной линии, ибо в ней нет потребности. Эта юношеская развязность, подкрепленная божественным духом, хорошо вписывается в парижский пейзаж, и панорама эмиграции была бы без них безусловно беднее. Оба предприятия могут, конечно, оказаться эфемеридами, но и это входит в традиции некоего стиля — как и то, что число журналов может всё расти.

Есть еще журнал художников «Третья волна», уделяющий много места литературе, — он решился открыто заявить, что является альманахом. И здесь авторы разнообразнейшие, а важнейшие вопросы связаны с группировками. Эмиграция художников попала на Запад в трудный момент всеобщего пресыщения и убежденности, что все уже было; так что ей приходится с огромными усилиями бороться за признание своего экспериментаторства, которое на родине было смелым и шокирующим, а за ее пределами возбуждает, правда, и уважение, и умеренный интерес, но чаще всего не является открытием или неожиданностью. Нет недостатка и в спорах о том, кто лучше представляет русское искусство и кто кому мешает занять соответствующее положение. Но это уже не наша работа.

Еврейская эмиграция лишила Россию, как и нас двенадцать лет назад, многих ясных умов и бойких перьев; поэтому нет ничего удивительного, что в Израиле возникло несколько журналов, в которых литература занимает значительное место. Среди них выделяется ежемесячник «Время и мы» (к настоящему времени около 50 номеров). Это, пожалуй, наиболее профессионально, *lege artis*, редактируемый журнал в эмиграции. Им руководит Виктор Перель-

ман, бывший сотрудник «Литературной газеты», умело дозируя литературные тексты (здесь был открыт очень интересный прозаик Зиновий Зиник), воспоминания, документы, сенсационные и развлекательные материалы.

Так выглядит перечень только самых важных или самых заметных журналов.

Вторая форма расстановки сил — это
писатели-эмигранты и их произведения.

Здесь возможно лишь краткое перечисление, оправданное простой целью: дать читателю понять или хотя бы получить впечатление, сколь значительна — уже сегодня — литература за пределами страны и как много она может значить в ближайшем будущем.

Чувство угасания предыдущих эмиграций совпало с кончиной выдающихся писателей: умерли Бунин, Ремизов, Зайцев, Георгий Иванов, намного раньше покинула эмиграцию Цветаева и умер Ходасевич. Литературе не доставало крупных индивидуальностей — к счастью, этот вакуум в известной степени компенсировался (если это вообще возможно) неутомимыми трудами критиков и литературоведов, обеспечившими непрерывность культурной традиции. Читатель получил важнейшие исследования и издания текстов, без которых работа русиста была бы вообще невозможной, если речь идет о современной литературе: историю русской литературы в стране и за рубежом Глеба Струве, книги Чижевского, Маркова, Ермолаева, эссеистику Владимира Вейдле, фундаментальные издания Пастернака, Ахматовой, Клюева, Мандельштама, Гумилева, Цветаевой, труды русских философов, четыре тома альманаха «Воздушные пути», антологии поэзии и прозы. Первостепенную роль сыграло воспитание нового поколения ученых — здесь следует отметить плодотворное влияние Романа Якобсона. С благодарностью следует вспомнить издательства, в особенности слишком поспешно ликвидированное, а

по прошествии лет восстановленное издательство имени Чехова в Нью-Йорке — в его честь можно было бы написать пламенную оду.

Так что третья эмиграция не пришла на пустое место, тем более, что русисты-русские оказали сильное влияние на западную русистику и в значительной степени были попросту ее воспитателями.

В настоящее время Солженицын без устали трудится над своим гигантским историческим циклом, публикуя очередные т. н. «узлы» из эпохи заката царизма. Крепкий живописец социальных полотен, Максимов опубликовал после выезда автобиографическое «Прощание из ниоткуда» и повествующий об эпизоде послевоенного сталинизма «Ковчег для незваных». Некрасов использует формы более свободные, репортажные, с лирическими отступлениями и сведением счетов с прошлым. Два серьезных томика стихов опубликовал Бродский; поэзия его вне России стала, кажется, приобретать черты некоей особой невесомости, смысл которой станет ясен лишь со временем. Невероятно эффектно вторгся, предшествоваемый своими «Зияющими высотами», Зиновьев; его первая книга доказывает, что во всех сферах советской жизни осуществляется принцип *contraditio in adjecto*, и жизнь эта оказывается нелогичной по своей сущности, рассуждения же логика превращаются в литературу, притом высокого класса. Прибыв на Запад, Зиновьев продолжает публиковать новые книги, но все они пока что остаются в ключе, уже блестяще реализованном в «Зияющих высотах». Синявский, пожалуй, наиболее выдающийся из живущих русских критиков, вернулся — и правильно сделал — к своей основной специальности, опубликовав «В тени Гоголя» и «Прогулки с Пушкиным»; эта последняя, написанная с дьявольски иконоборческим пылом, вызвала скандал в среде пушкинистов. Судя по напечатанному фрагменту, должен стать событием роман свежего эмигранта Юза Алеш-

ковского, автора популярной песни «товарищ Сталин, вы большой ученый...», — «Кенгуру», фантастически-гротескный, политический и плутовской, утопический и реалистический. Один из критиков написал, что после Солженицына, Максимова и Зиновьева миру предстоит открытие советского Смеха и Эроса.

Кроме того, систематически пишут и издаются Гладилин, Владимир Рыбаков, Терновский, Марамзин, Кандель и многие другие прозаики, о которых уже можно говорить серьезно. Нет недостатка в поэтах, среди которых весьма активна заядлая полонофилка Наталья Горбаневская. Страна потеряла большую плеяду известных критиков и публицистов, находящихся свое место в диаспоре, — к ней относятся Голомшток, Коржавин, Янов, Амальрик, Поповский (автор весьма интересного исследования «Управляемая наука»). Увлекательные книги, соединяющие публицистику и расчеты с прошлым, издали выдающийся филолог Ефим Эткинд («Записки незаговорщика») и прозаик Григорий Свирский («На Лобном месте»); историк Александр Некрич, антисталинская книга которого «1941, 22 июня» стала в свое время причиной скандала в СССР, опубликовал исследование о репрессивной национальной политике «Наказанные народы». Вообще политическая эссеистика и публицистика расцветает особенно бурно, и здесь нельзя не упомянуть имя известного историка и публициста второй эмиграции Абдурахмана Авторханова. В этой области блеснул подлинным талантом отважный Владимир Буковский: в книге «И возвращается ветер...» он произвел трезвый, мудрый и стилистически совершенный анализ своего опыта. В критике появились многообещающие имена Майи Каганской и Натальи Рубинштейн; нашли свое место в науке многие историки (например, Михаил Геллер) и филологи (с весьма любопытной русистикой Иерусалимского университета, в шутку определяемой как «структурализм с чело-

веческим лицом»), занявшие университетские посты по всему миру.

Этот краткий перечень не хочет уподобиться рекламному проспекту, ибо замысел пишущего — не пропаганда, но информация. Он, к тому же, уверен в догадливости читателя, которая подскажет, что, как во всякой живой литературной среде, в эмиграции возникают произведения менее ценные и сомнительные, иногда свидетельствующие всего лишь о малом таланте, иногда о спесивой мании величия (памятником ее и пирамидой мыслительного абсурда может быть, например, книга человека, выступающего в солженицынском «Круге первом» под именем Сологдина), иногда о чрезмерной запальчивости (она, к сожалению, весьма повредила посмертно опубликованной книге Белинкова о Юрии Олеше). Особые обстоятельства эмиграции и ненормальность условий ее жизни часто способствуют расшатыванию критериев: на короткое время это может помочь комбинатору, приодевшемуся в перья диссидента, или вызвать применение льготного тарифа по отношению к человеку более отважному, чем талантливому, который полагает, что если он выстоял в тяжких испытаниях, то писать, философствовать или поучать других — роль, принадлежащая ему по праву. Есть и обычные составные элементы среды: зависть, обостренный дух конкуренции; к этому нередко присоединяются мессианские настроения и стремление к власти над умами; дает себя знать многолетняя изоляция от всемирного круга мысли и культуры. Однако все это существует в обычных пределах и на краешке существенных явлений и споров, не заслоняя их и не перевешивая. Это подтверждается при любой трезвой и объективной калькуляции несомненных и сомнительных эмигрантских ценностей.

Есть, наконец, и третий вариант расстановки сил в эмиграции, а именно

позиции и взгляды,

поддающиеся описанию также лишь в самых приблизительных очертаниях.

Спектр их широк. Если смотреть на эмиграцию как на наследницу прошлого и предтечу будущего Учредительного Собрания, то едва распускающийся русский парламентаризм продемонстрирует все цвета и оттенки. На крайне левом фланге (сохраняя традиционную терминологию) окажется в настоящее время Жорес Медведев, на расстоянии, из России, поддерживаемый братом Роем и сторонниками из круга самиздатского журнала «XX век». Их определяют как «неомарксистов»; они сами пишут о себе как о «диссидентах марксистского типа». Их характеризует вера в возможность возрождения ленинских традиций и «истинного социализма». Они критически относятся к большинству оппозиционных группировок и, в свою очередь, встречают всеобщую неприязнь и даже упреки в том, что они оказывают определенные услуги власти. Объективности ради следует все-таки напомнить, что Рой и Жорес вместе и по отдельности написали ряд ценных трудов: о репрессивной психиатрии, о почтовой цензуре, о Сталине, Солженицыне, авторстве «Тихого Дона» и т. д.; что оба в совершенстве владеют техникой публицистики: спокойной, умеренной, элегантной, точной в полемике, сравнительно наиболее близкой к средним европейским стандартам и, по крайней мере, не общераспространенной в диаспоре; наконец, что их концепции, по-видимому, подчинены прагматическому желанию достичь адресата, умонастроенность которого они учитывают, — партийного «аппаратчика» среднего и высшего уровня, не глухого к словам о реформизме (Жорес предполагает, что такая группа существует). Этому адресату они толкуют, что Сталин для партии был не рентабелен, поскольку уничтожал ее, и что реформы, нарушающие существа системы, гораздо выгоднее,

нежели застой. В действительности таких уговоров можно сомневаться, перевес тактических комбинаций над существом дела можно в принципе поставить под вопрос, однако в рамках принятых посылок все это не бессмысленно и не обязательно вполне безрезультатно.

Двигаясь слева к центру, мы наталкиваемся на «левых либералов». Сюда относятся, в частности, Плющ, Янов, Левитин-Краснов, Белоцерковский, Андреев, близок к группе Эткинд, а в России — с оговорками — Сахаров. Программный сборник статей «СССР. Демократические альтернативы» позволяет сделать вывод, что группировка эта сильнее в полемике с противниками справа, чем в описании альтернатив: авторы довольно беззаботно, как из рукава, вытрясают концепции «децентрализации» и «демократизации», перечисляют черты, которыми должно обладать будущее российское общество, но ни между собой этого не согласовывают, ни более глубокими аргументами не подкрепляют. Так что все остается каталогом благих пожеланий и деклараций верности идеям опять-таки, разумеется, «истинного социализма». Союзников они ищут среди европейских «зеленых» и в Социалистическом Интернационале.

«Левых либералов», называющих себя также «демократическими социалистами», можно примерно приравнять к левым социал-демократам. За ними мы обнаруживаем нечто вроде зачатка либеральной партии — это был бы круг «Синтаксиса», однако в большом приближении, ибо в целом «либералы» довольно распылены. По существу, современный русский западнический либерализм — всего лишь наиболее общая направленность, а также проявление усталости от идеологии.

Род беспартийного центра составляет круг «Континента». В номере первом позиция журнала была сформулирована в четырех пунктах: религиозный иде-

ализм, антитоталитаризм, демократичность, беспартийность. С течением времени ударение на первом пункте как бы ослабло и журнал заботится о сохранении характера возможно более широкой платформы. В плане отрицания «Континент» характеризуется последовательным и хорошо аргументированным антикоммунизмом и решительной неприязнью к марксофильским флиртам и заигрываниям, модным какое-то время среди западной интеллигенции. Выражение этой неприязни дал также главный редактор Владимир Максимов, человек резких суждений, в памфлете «Сага о носорогах», и сделал это в согласии с законами жанра. Это рубка наотмашь, так что острие топора не всегда ложится со стопроцентной точностью и пресловутые щепки тоже, вероятно, летят, иногда же жертву глушат обухом. Однако кто знает, лучше ли тут сработали бы более тонкие инструменты и подмороженные на льду, как шампанское (как выражаются французы), эмоции: противник не выдуман, а выбор *modus operandi* — неотъемлемое право пишущего. Характерно, что текст Максимова вызвал невероятную бурю, в которой, однако, не нашлось места ни желанию понять авторские намерения, ни разговору по существу; многочисленные эмигрантские голоса вообще усомнились в праве Максимова писать памфлет, полагая, что мстительное чувство падет не только на автора, но и на всю эмиграцию (почему бы это?), и не отказали себе в удовольствии намекнуть, что виной всему — дурное советское воспитание и бродяжническое детство автора. Один Андрей Синявский в своем полемическом выступлении был глубже и сравнительно спокойней.

Правее «Континента» парламентарную картину завершает Солженицын и люди, близкие к нему в России и за рубежом; это можно назвать христианско-национальным направлением. Здесь находится очаг нынешних яростных споров о будущей России. Они

разгорелись уже так широко, что, пожалуй, заслуживают отдельного обзора, тем более, что речь идет о вещах действительно важных и в высшей степени дискуссионных. Сейчас достаточно будет сказать, что бескомпромиссный пророк Солженицын пропагандирует вместе со своими союзниками образ религиозного возрождения, основанного на принципе покаяния и взаимного прощения грехов; затем — авторитарную, внеидеологическую модель правления как более подходящую для России, чем — в принципе оцениваемый отрицательно — опыт парламентарной демократии; право народов СССР на самоопределение — типа «да, но...», т. е. ограниченное общими интересами; наконец, страстную убежденность в уникальности опыта и призвания России и значения ее национальных традиций. С этого фланга берет свое начало всё возобновляемый и неслыханно антагонистический спор о том, является ли большевизм эманацией русского духа или же, наоборот, ракоподобным западным наростом на здоровом теле нации.

В сжатом изложении все это звучит достаточно упрощенно; к тому же, выступления этой группы, а в особенности ее программный сборник «Из-под глыб», вызвали резкое контрнаступление всех левых группировок. Довольно легко и, в общем, убедительно было доказано, какие опасности заключены в программе, условно говоря, группы Солженицына; она, в свою очередь, приняла спор, оставаясь на своих позициях. Откладывая вопрос до более широкого рассмотрения, стоит заметить, что, пожалуй, так же, как у главного антагониста этой группы, Медведева, программа, о которой идет речь, — не столько множество чистых идей, сколько производная размышлений о возможности эффективных действий в условиях неслыханно острого кризиса сегодняшней России. Медведев подчиняет принципы тактике; Солженицын — как кажется, стратегии. Он, судя по всему, полагает, что ничто,

кроме религии и, так сказать, национального самоутверждения, не способно стать цементом поразительно хрупкой структуры, какой стала бы Россия после смены власти. Это, парадоксальным образом, род прагматической утопии. Ясно одно: рассматривая всерьез, не следует преувеличенно пугаться этой программы, поскольку пока это набросок, первая примерка, выражение уже поминавшегося самообразования в области политической мысли. Здесь больше, чем где-нибудь, проявляется наследие изоляции (другое дело, что ее пока что объявляют добродетелью): группа Солженицына трудится, изобретая все заново и для исключительного употребления, словно никто никогда и нигде за пределами России не изобрел ничего, о чем стоило бы знать и чем стоило бы воспользоваться.

Во всяком случае, не нужно верить тем, кто внушает, что программа группы Солженицына отвечает ультранационалистическим и расистским позициям, проявляющимся в России как в аппарате власти, так и вне его. Эти последние заведомо предполагают, что цементом будущей России станет нынешняя официальная идеология, которую группа Солженицына полностью отвергает, — а отсюда вытекают иные, еще более принципиальные отличия.

Так-то вот «особая глава» не только не завершилась, но разрастается в новую книгу, и конца ей не видно. Эмиграция растет численно, ее литература — в своем значении. Это трудней увидеть изнутри, но достаточно изменить угол зрения, оказавшись снаружи, между Россией-страной и Россией-заграницей, чтобы убедиться, что отношение их потенциалов меняется на глазах.

Испытываешь чувство какого-то географического сюрреализма, к которому трудно психологически приспособиться, как к резким изменениям скорости, времени, давления, — когда людей, являющихся фрагментами Москвы, Киева, Ленинграда: Максимова, Некрасова, Бродского, — видишь на фоне Сиднея, Парижа, Венеции. Горько думать, что, если тебе удастся увидеть их страну, она будет неузнаваемой без них и без многих других. Но надо привыкать к мысли — и да будет таков вывод из этих размышлений, — что Россия изменила свои границы и что их уже не обвести одним контуром.

Все это невесело и полно человеческих драм, а то и трагедий. Трудно найти себя в новой структуре, трудно сохранить равновесие. Нелегко складываются отношения и с родиной, и с Западом. Решение выехать иногда, *ex post*, как бы требует дополнительного оправдания в заявлениях о том, что в России уже ничего стоящего нет и быть не может. Такой нигилистический пессимизм присущ далеко не всем, но он и не редкость. Со своей стороны, на родине реагируют обостренной подозрительностью и язвительностью: пусть им там не кажется, что они одни хранят честь России и обладают монополией на правду и порядочность!

В прошлом веке великая русская литература дала Западу образ человека, освобождаемого от всех внешних зависимостей. Это было великое открытие, проверенное Западом во всех отношениях. И как раз тогда, когда результаты этого, кажется, доходят до крайности, новые писатели современной России начинают хором говорить о своей — примитивной, конкретной, приземленной — несвободе. Естественно, им грозит остаться неслышанными, ибо их новое, мило улыбающееся окружение думает: это же не про нас... И это даже в эпоху Солженицына, в которую мы, к счастью, живем, когда «Архипелаг» вызвал формирова-

ние нового духовного уровня. Будут ли пришельцы обладать достаточным упорством и талантом, чтобы вымученное и выстраданное свое «возвысить до всечеловеческого»?

Mutatis mutandis, все это удивительно, головокружительно напоминает некоторые наши проблемы прошлого века. Кому-кому, а нам не должно быть трудно понять новую ситуацию русских. В конце концов, к нам когда-то бежал предтеча политэмигрантов князь Андрей Курбский, чтобы написать Ивану Грозному: «...заключил ты Царство Русское, а значит, и свободную природу человеческую, как в опеке адской». Так что нам надлежит, по крайней мере, набраться терпения, доброй воли и сознания, что Россия теперь и рядом с нами, и далеко от нас, со всеми вытекающими последствиями.

Эта вторая, зарубежная Россия во всех своих программах будущего всегда видит с собою свободной — свободную Польшу. Это и очевидно, и оптимистично, однако это не означает, что нам не о чем говорить подробнее. Солженицын призвал оба наши народа к полному взаимному покаянию за все прошлое зло. Удержимся от первого импульса, который заставляет воскликнуть о диспропорции, — задумаемся и не забудем, что Солженицын честно исчислил нанесенные нам обиды. Наверно, и всему остальному придет время. А пока что самое время напомнить нашим русским друзьям, что, кроме их и нас, образ свободного будущего должен включать также и нерусские народы нынешнего Союза. Некоторые, особенно «Континент», учитывают это постоянно, но не все.

Что же будет дальше? У нас была наша Великая Эмиграция, в какую-то эпоху духовно перераставшая масштабы страны, хотя всегда обращенная к стране. Новая русская эмиграция постоянно увеличивается в размерах. Достигнет ли она величия, соответствующего ее величине?

Есть такая русская поговорка: спросите что-нибудь полегче.

ДРАВИЧ Анджей — родился в 1932 г. в Варшаве. Окончил Варшавский университет, где позднее преподавал русскую литературу. Автор ряда книг и статей по польской и русской литературе, критик, переводчик, один из основателей и руководителей (до 1964 г.) Студенческого Театра Сатириков. С середины 70-х гг., в наказание за подписи под письмами протеста, лишен возможности преподавать и открыто печататься на родине. Запрещена публикация его фундаментального труда о прозе Михаила Булгакова. Со 2-го номера «Записа» Дравич становится одним из редакторов этого крупнейшего журнала польского самиздата. В Летучем университете он читает курсы лекций по русской литературе XX века.

Запад — Восток

Герберт К р е м п

КИТАЙСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

Сообщение заместителя премьер-министра Дэн Сяо-пина о том, что следующее заседание Собрания народных представителей снова узаконит публикации дацзыбао, подтвердило судьбу важного лозунга: «Практика решает». С мая 1978 года показалось даже, что в КНР начинается либерализация. В корреспонденциях и комментариях о «Пекинской весне» появились настойчивые намеки на событие, которому вскоре придали первостепенное значение.

На деле — сообщения западных газет о расширении процесса либерализации, о «силе народа» или о «стремлении к политическим свободам» оказались верными лишь в весьма малой степени. Время, прошедшее с тех пор, было потрачено на попытки реабилитировать одну из самых жестоких в мире диктатур, которая только приобрела вид системы с каким-то подобием законов или правопорядка. Миф о богоподобности Мао несколько побледнел, а семейное наследование власти, как в Северной Корее, тут тоже не состоялось.

Было разъяснено, что жертвы «культурной революции» 1966 года и ее тяжелые экономические последствия действительно имели место, — ну, а нарушения законности происходили, дескать, от того, что слишком много людей находилось под гипнозом культа личности. Однако, освободившись от онога, наука, образование и строительство станут расти как на дрожжах. Культура займет достойное место.

Итак, палитра реформ вроде бы отливают всеми цветами радуги. Уничтожение мифа вокруг имени Мао получает даже больший резонанс, чем так называемая «десталинизация» в СССР. А если принять в расчет, что Китай при Мао был самой безответственной диктатурой во всей мировой истории, начиная с Ликурговой Спарты, обратный отмах маятника определяется максимумом потенциальной энергии... Реформы — почти революция, без крайностей, проводимые с достаточной гибкостью, постепенно отучают массы от маоистской истерии. И те, кто после смерти создателя системы произносил мрачные пророчества, уже не оспаривают, что нынешние китайские руководители соответствуют вполне человеческим масштабам, не претендуя на роль героев древних легенд.

И это не кажется, это всерьез происходит! Руководство страны отказывается от одного из тяжелейших тормозов хозяйства — от планирования из центра. Китай модернизируется.

Тот, кто не представляет себе ясно коммунистического образа жизни и способа хозяйствования, не поймет, что значит модернизация для этого режима. Для западного сознания слово «модернизация» означает лишь замену старого чем-то более современным, устаревшего — соответствующим нынешнему уровню. Она оценивается положительно в той степени, в какой содержит новые возможности развития, но не несет с собой коренных изменений. Иначе было в СССР в 1953 году, в том же Китае в 1976-м или с еврокоммунизмом после VIII съезда КПИ в декабре 1956 года. Для них модернизация — не продолжение развития новейшими средствами, но полный разрыв с прежним способом существования, смена идеологической линии, конкретно-исторический поворот, почти всегда в сторону частичного возвращения к «капиталистическому» способу хозяйствования.

В случае же с сегодняшним Китаем модернизация звучит еще глубже и значительней. Маоистская политика, начиная с «Большого скачка» (мгновенная коллективизация в деревне и национализация в индустрии) с верхней его точкой — «культурной революцией», была направлена на полную автаркизацию Китая, отрыв от пуповины глобальной исторической взаимозависимости стран. Еще в Енанский период под влиянием Чен Бодаса началась «китаизация» марксизма, а «культурная революция» завершила «китаизацию» политики. Для изобретателей культурной революции удовлетворить свою жажду власти было недостаточно. Мао распространял свои революционные амбиции куда шире, чем это можно объяснить простой жаждой власти. Его семья, руководимая тщеславным маршалом Линь Бяо, установила обожествление мастера на заводе и свою абсолютную власть в области искусств. В китаизации замешаны были вполне реакционные элементы, всегда именовавшиеся не иначе, как «фашистские» или «феодальные». Теперь ясно, что для упадка китайской коммунистической идеологии это имело решающее значение. С этого момента упадок и начался. Основой государственного переворота стал, таким образом, экономический спад и, как результат, развал порядка в стране. В 1976 году Китай был уже полностью разорен.

Чтобы спасти его, новые руководители должны были создать единый фронт против автаркической политики Мао Цзэдуна и не только искать «капиталистическую» альтернативу марксизму, но и открыть Китай «к Западу». Пекин искал выхода в обращении к презираемому внешнему миру (только не к СССР), установил торгово-политические связи с Западной Европой, Японией и, наконец, США; это называлось «учиться у передовых стран»! Модернизация повлекла и другие перемены. Отброшены были, например, ранние, весьма эксцентричные формы китаизации, отбро-

шен, может быть, и дух «исторического наступления», так что мир не должен расцениваться как учебный полигон для исторических экспериментов. Но если падут даже все традиционные барьеры, сможет ли Китай вне технически развитого мирового сообщества воспринять его основной смысл? Свободы и их защиту, плюралистическую демократию и ее самокритичность, уважение к элементарным Правам Человека, равенство в осуществлении этих прав и неравенство социальное? Переймет ли все это Китай?

Период между маем 1978 года и сегодняшним днем выглядит столь блестяще, потому что дает дополнительную возможность понять закономерность хода событий, приведших коммунистов к власти. Еще XI съезд КПК (12-18 августа 1977 года) прошел без какого-либо упоминания о «четырех модернизациях». Дэн Сяопин был всего лишь за месяц до того реабилитирован и возвращен на свои прежние посты. Борьба с глубоко укоренившийся партийной бюрократией была в полном разгаре. Вести ее «до победного конца» было еще темой V Съезда народных представителей в феврале 1978 года. Хуа Гофен хотя и призывал к модернизации сельского хозяйства, промышленности, развитию науки и техники «еще в нынешнем столетии, чтобы наша страна встала в число самых развитых в мире», но уточнил, что попытка все это сделать разом, за одно десятилетие — как значилось в планах, к 1985 году — не более чем утопия. Легко сочиняемые организационные и идеологические установки на модернизацию еще недостаточны. Мало было сказать, что не «банда четырех» стоит на дороге, а сам Мао Цзэдун, его формулы, его «мысли», да и сами массы, ищущие в этих «мыслях» ответов на все вопросы, — необходимо было бросить весьма радикальный и взрывчатый лозунг.

Такой лозунг и был найден 11 мая 1978 года. В этот день в межпровинциальной газете «Гуаньминь-

жибао» появилась статья под названием «Практика — единственный критерий проверки истины». Автор ее — бывший декан философского факультета. Но доверенное лицо Дэн Сяопина, нынешний генеральный секретарь КПК Ху Яобан, сам продвинул ее в печать. Какое ей было придано значение, выяснилось тремя неделями позднее, во время конференции по политработе в армии. В речи 2 июня Дэн Сяопин разъяснил: «Так мы приходим к объективной истине опытным путем, ищем факты и исходим из фактических данных. Есть товарищи, которые изо дня в день цитируют Мао и тем ограничиваются. Но никакие цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао не могут быть чем-то большим, чем механические выписки, все же прочие мысли этих товарищей есть отступление от марксизма, от сути идей Мао и от линии ЦК».

Ирония состоит в том, что Дэн для завершения своего тезиса и сам цитирует Мао, напоминая одно из высказываний покойного председателя, относящееся к временам «Большого скачка»: «Председатель в своих высказываниях всегда повторял, что практика есть основной критерий». Повторив эту банальность, Дэн выступил не как историк, а как политик. Он пришел к тому, что для объяснения и преодоления догматизма Мао следует использовать самого Мао. Председатель сам должен узаконить собственное развенчание, и Дэн, знаток истории партии, легко нашел в трудах Мао подходящие для этого цитаты.

Идеологическое завинчивание гаек с 1958 года было, несмотря на «помощь» раннего Мао, мерой преступной, которая должна была вызвать сопротивление не только «банды четырех», но и всех почитателей покойного вождя.

Основная слабость коммунистической идеологии обнаружилась в действии, в практике хозяйствования, постоянно ставившей новые проблемы. Гигантское здание маоизма, искусственно возведенное путем мас-

сового цитатничества и массовых кампаний, стало рушиться. Дэн понимал ясно, что есть люди, которые держат в руках немало фактов, в качестве орудий разрушения этой постройки. Он сознавал, что борьба против «банды четырех», начавшаяся осенью 1976 года, может оказаться бессмысленной, если сторонники «культурной революции», догматики идеологии, останутся на своих постах в столице и даже в провинции. Они должны были лишиться всякой власти. А перед лицом этого немалочисленного слоя необходимо было создать серьезную коалицию.

Характерная особенность этой, мгновенно созданной Дэном коалиции, состоит в том, что тут виден его личный политический стиль и четко обрисовывается весь театр событий, само соотношение сил, имеющееся в распоряжении одного — только одного — из китайских вождей. Надо заметить, что, после своей реабилитации в 1977 году, Дэн принимал преимущественно ученых, писателей, художников и преподавателей, покровительствуя всем, кто пострадал от «культурной революции». Реабилитацию он развернул самую широкую, причем каждому реабилитированному, как правило, возвращался его прежний пост и вместе с тем, автоматически, прежнее положение и влияние. При помощи интеллектуалов Дэн предполагал реформировать все, что относится к области информации, т. е. основному каналу перестройки сознания широких масс.

К тому же он поощряет свободное общение с иностранцами, причем содержание бесед с ними не остается в секрете, и одновременно он укрепляет свои силы сразу в партии, правительстве и армии. Он расширяет путь «либерализации» и, обнародовав свое стремление к практицизму, распространяет это не только на отношения с внешним миром, но и на внутреннюю жизнь страны.

«Атака сверху» на Мао Цзэдуна стала систематической в марте 1978 года. Из газетных шапок исчезли ежедневные цитаты. В отчете о выступлении Дэн Сяопина на съезде ученых цитаты из Мао впервые не были набраны жирным шрифтом. Снова появились портреты Конфуция, тогда как портреты императора Ши Хуанди, объединителя государства (3 век до Р.Х.), столь распространенные при Мао, стали понемногу исчезать. Нет, говорят в партийной печати, Мао вовсе не был божеством. Выражения вроде: «средоточие вселенной» или «одно его слово важнее тысячи обыкновенных», «олицетворение марксизма-ленинизма», обычно обозначавшие превосходство Мао над остальным человечеством, вдруг перестали употребляться. «Никто не является обладателем абсолютной истины! — писала центральная газета. — Тот, кто на это претендует, делает из научного марксизма мертвую догму». 1 июля партия опубликовала одну из речей Мао 1962 года. В самокритике Председателя по поводу ошибок «Большого скачка» подтверждается среди других недостатков и его некомпетентность в экономике.

Своего апогея критика Мао достигла в октябре-ноябре того же 1978 г., когда дацзыбао заполнили Пекин и другие города страны. Они стали острее, распространились и на провинцию и затрагивали теперь сторонников Мао, которые оставались на своих прежних постах. «Красная библия» уже не очень в ходу, теперь она оказалась «инструментом для оболванивания народа». Линь Бяо и «четверо» делали из Мао «Будду, которому молятся», из марксизма, по выражению газеты, «слепую веру», а диалектический материализм теперь вовсе не абсолютная истина, а «метод познания». Хуа Гофен впервые осторожно вступил в этот хор: «Мы должны рассвободить и далее свой разум, — сказал он, — в усилиях по модернизации». Конкретная критика затрагивает даже «священ-

ных коров», вроде образцовой бригады из Дазай, опыт которой якобы поможет всему китайскому сельскому хозяйству стать после падения маоизма высокопродуктивным. «Но нельзя механически подражать образцам...»

Газета оглядывается и на культурную революцию, призывая реабилитировать всех несправедливо наказанных. Требования эти прежде всего относятся к Пын Жену, бывшему председателю Пекинского совета, маршалу Пын Дехуаю, сопротивлявшемуся политике «Большого скачка» (посмертно реабилитирован), и Лю Шаоци (председатель правительства, тоже реабилитирован).

Нынешний президент Академии общественных наук во время «культурной революции» уничтожил экономиста Ху Киаму, поскольку разошелся с ним во мнениях. Ху утверждал, что между социалистической системой и хозяйственными результатами нет прямой взаимосвязи. Все решают объективные законы экономики. Если за решениями обращаться к «высшим инстанциям», а экономику подчинить «произвольным приказам», то она перестанет развиваться и начнет деградировать. Никто еще так серьезно не отрицал самой сущности общественно-политических экспериментов Мао. Далее Ху Киаму требовал ответственности от хозяйственного руководства, предлагая подчинить соответствующих чиновников хозяйственного аппарата предпринимателям.

Несколько позднее и армия нанесла своей критикой удар маоизму — была полностью раскритикована стратегическая доктрина председателя, основные ее принципы фактически развенчаны. Министр обороны Су Ву заявил, что «в свете современных условий» вся стратегия должна быть пересмотрена, а вооружение необходимо срочно обновлять.

Осень 1978 года в Пекине была напряженной. Все знали, что вот-вот будут опубликованы важные ре-

шения. Заседал пленум ЦК. В воздухе носились слухи о борьбе за власть в руководстве. Не готовит ли Дэн Сяопин свержение Хуа Гофена, который в 1976 году содействовал его падению и сам занял все ведущие посты в партии и Совете? Слухи стали еще упорнее, когда 23 сентября на стене Ксидо в Пекине появились дацзыбао со стихами о событиях на площади Тяньаньмынь в апреле 1976 г. и выпады против тех, «кто хочет демократию, принадлежащую народу, запретить в шкаф». Острые критики было нацелено против председателя Пекинского городского совета, члена ЦК Ву Дэ, ответственного за разгон массовой демонстрации 5 апреля. Вечером того же дня Ву Дэ по радио сказал: «Мы должны честно признать реакционный характер событий, махинации и интриги проникших в наши ряды чуждых элементов. Наша революционная бдительность должна быть на высоте». Кампания дацзыбао усилилась, и теперь весь огонь был направлен на члена политбюро Ван Донцыня, «телохранителя» Мао и командира пятидесятитысячной «группы обороны» № 8341, участвовавшей в разгоне демонстрации. Ван Донцынь ставил себе в заслугу арест Чан Чин, жены Мао, которую действительно арестовал самолично.

10 октября стало известно, что Ву Дэ покинул пост председателя Пекинского совета, и 15 ноября парторганизация (Пекинский горком) под председательством новоназначенного Лин Куя признала события на Тяньаньмынь «полностью революционными». Следовавшая за тем реабилитация событий Центральным комитетом, официальная реабилитация Дэн Сяопина, которого в 76-м году обвинили в том, что он и был зачинщиком событий, разъяснение Пекинского горкома — все это повлекло за собой арест пяти виднейших поборников «культурной революции» и обвинение их в «контрреволюционном поведении».

Всплыла мысль о «Пекинской весне», о демократизации и либерализации, на первый план вернулся Дэн Сяопин. По всему городу распространились дацзыбао, обращенные к главе правительства. Толпа несла портреты покойного Чжоу Эньлая, которого во время его болезни заменял никто иной, как Дэн.

Реабилитация событий на Тяньаньмынь получила объяснение: «Именно Дэн — настоящий защитник демократии и Прав Человека, а другие плохо их защищали». Едва ли кто высказывал подозрения, что Дэн мобилизовал «народную энергию» в целях вполне определенных: убрать группу Мао.

Для правильного понимания развития Китая большое значение имеет изучение «критической кампании» и многочисленных дацзыбао. Какие силы стоят за ними? Стихийные или же организованные политиками в собственных интересах? Поддаются ли они контролю извне или вполне самостоятельны? В какой мере отразились тут вопросы, поднятые на пленуме ЦК? Возможно ли, чтобы «энергия масс», чтобы это «критическое движение» действительно были направлены на защиту «Прав Человека», «демократии», или цель этого движения сугубо китайская, мало похожая на наши западные?

Прежде чем обращать внимание на темы этих дацзыбао, остановимся на результате движения и на противодействии властей. Как мы видим, Дэн после своего возвращения сформулировал жесткую альтернативу между основными принципами маоизма и модернизацией страны в обозримое время, он стал твердо на позицию искоренения маоистской идеологии. Выступив с положением «истину ищут в практике», он получил поддержку общественности, особенно интеллигенции, которая вдохновляла и вооружала «критическое движение» и толкнула верхи на реабилитацию тяньаньмыньских событий. В этой же среде были сформулированы положения: не должно быть бывших при-

ближенных Мао на государственных должностях, культурная революция была ошибкой и т. д. Интеллигенция ясно, высказалась в пользу Чжоу Энляя и группы Дэн Сяопина. Дэн с похвалой говорил о дацзыбао, но лишь в интервью, которое не было широко опубликовано, а 9 ноября вышла директива «не заходить слишком далеко», т. е. щадить самого Мао. Однако в декабре появился доклад, в котором утверждалась необходимость «интенсивнее бороться за демократию» и Права Человека.

После заседания ЦК 18-22 декабря была сделана попытка наладить отношения с США, Дэн поехал в Америку сразу после начала вьетнамской кампании. Внутренние проблемы отступили перед международными событиями. Молодежные беспорядки в самом Китае (Шанхай, 5 и 6 февраля), безработица молодежи, вопросы женской эмансипации, иностранные моды, западные фильмы — все отступило на задний план.

16 марта, в последний день вывода войск из Вьетнама, Дэн вдруг обрушился на «критическое движение», которое ожило в публикациях и акциях организации «Момент». 29 марта партия объявила «четыре принципа»: социализм, диктатура пролетариата, руководящая роль партии и марксизм-ленинизм — эти идеи Мао неприкосновенны. В стиле организованной кампании пресса снова накинута на демократию и Права Человека как на буржуазные выдумки, обвинила их сторонников в низкопоклонстве перед Западом, а уже 1 апреля на стенах стало значительно меньше дацзыбао, предполагаемые их авторы и активисты «критического движения» (в том числе Вей Жинсен) были арестованы.

Движение отреагировало на резкие действия руководства. В мае оно снова подняло голову. Собрание народных представителей летом ощутило его помощь. Но отношения между движением и властями все время

остаются напряженными. Дэн показался только в самом конце заседаний Собрания. Как важный момент он отметил меры против Вей Жинсена (15 лет тюрьмы). Движение сделало свои выводы. 8 декабря стена, на которой вешались дацзыбао, была закрыта. Дацзыбао, правда, продолжали появляться в ближайшем парке, но западные журналисты их больше не видели. 17 января 1980 года Дэн объявил, что пункт 45 Конституции, гарантирующий право на вывешивание дацзыбао, должен быть ликвидирован. Пресса усилила акцент на том, что из «четырех принципов» руководящая роль партии — важнейший. Период трансформации власти, начавшийся в мае 1978 года, закончился. И на этом периоде — печать человека, который им воспользовался: Дэн Сяопин.

Итак — Дэн и «критическое движение». Это важно для оценки событий на площади Тяньаньмынь 5 апреля 1976 года, для оценки действующих лиц, для оценки самого Мао, культурной революции и периода «раскрепощения мыслей».

Дэн рассчитывал на соглашение с этими силами как на средство, которое можно использовать против сторонников Мао и против энтузиастов «культурной революции». Кроме Ву Дэ и Ван Донсина, это были Ни Жифу, Чэн Сильян, Жи Денки и Чэн Йонгги. Особенно важно то, что человек, упомянутый в дацзыбао с похвалой, действовал в пользу активных сторонников Дэна. Ореолом окружен Чжоу Эньлай. Затем — маршал Пын Дехуай, Пын Жен, Жен Юн и, в меньшей степени, Лю Шаоци.

В воинственных выражениях изложены требования «разъяснить», «четко решить», «призвать на суд народа» и так далее. Еще в полном согласии с «массами» публикует «Женьминьжибао» от 11 ноября изложение событий на Тяньаньмынь в апреле 1976 года,

хотя и пропуская некоторые факты. Все-таки находится место в газете и для общественной защиты, которую в ЦК пока еще не именуют «контрреволюционной». Для «величественных стихов о грандиозной Тяньаньмынь», которые все-таки вышли, Хуа Гофен пишет заголовки с росчерком, в своей знаменитой каллиграфической манере. Над театром на площади, выше афиши спектакля «Там, где нависло молчание», висит лозунг Лю Суна: «Молчание, молчание, если мы его не нарушим, мы в него погрузимся».

Дэн Сяопина расхваливают все дацзыбао в самых выпренных выражениях. Он «живой Чжоу Энлай», «великий марксист-ленинец, выступивший против фракций». Повсюду написано: «мы хотим Дэн Сяопина». Его полная реабилитация — всеобщее требование, и его прочтут в премьер-министры, четко противопоставляя его самому Хуа Гофену, занимающему этот пост.

Партийная газета «Красное знамя» высказывается не совсем одобрительно, поскольку лозунг «практика — критерий истины» еще настораживает. Сам же Дэн слышит от посетителей о своем предстоящем возвращении к руководству правительством и старательно уходит от разговоров о Хуа, Мао и событиях на Тяньаньмынь. Он ведет себя, как «китайский самодержец». С Хуа вместе он принимает делегацию японских социал-демократов. Во время Тяньаньмыньской демократии Мао, оказывается, уже «был тяжело болен», и только один из членов «банды четырех» его информировал тогда о событиях. Хуа не имел доступа к Вождю. Мао же был в положении не блестящем, оно было даже двусмысленным, но он принимал ответственные решения. Дэну он поручил спасти Народно-освободительную армию... Сведения о характере демонстрации (возможно, из других источников) были просто фальшивыми и требовали значительных корректив. Дацзыбао поддерживали заместителя премь-

ер-министра в этом пункте: «Вы делаете прекрасное дело и заботитесь о стабильном положении в стране. Мы не имеем права вас благодарить или критиковать массы, ибо вы ввели демократию в употребление... Когда массы разгневаны, надо, чтобы говорили вы. Когда не все продумано, то можно не продолжать — в этом нет дурного. К счастью, есть средства отличить правду от лжи. Отдельные высказывания о стабильности и единстве не запоминаются, но и так можно воспитывать массы».

Иногда снова возникала критика Мао. 26 и 27 ноября вечером во Внутреннем Городе начало что-то назревать. Интервью Дэна агентству Синьхуа и «Голосу Америки» относительно распространения дацзыбао, переданные по радио, способствовали быстрому оживлению стенной печати по всему Китаю.

Критика Мао не выходила, однако, за рамки той музыки, которую сам Дэн и партийные газеты аранжировали ранее. Они только потеряли камертон.

Тайная неприязнь к Председателю, которого каждый мыслящий китаец считал руководителем «банды четырех», создала для руководства трудную обстановку. Мао потерял во мнении авторов дацзыбао, и неофициальные надписи не только не наделяли его теперь божественными атрибутами, но изображали как человека, наделавшего «после 1964 года» множество ошибок, а то и как демона, которого Китай держал на знамени «феодализма». Каждое требование, которое предъявлялось, каждое мнение, которое было тут выражено, касалось так или иначе Мао и его действий. Стратегия наследников, стоящих у власти, имевшая целью устранить вместе с Мао и все маоистское, угрожала попросту нарушить всю последовательность мыслей, что было бы не в интересах критиков.

В одном дацзыбао от 22 ноября есть типичное для критического движения высказывание: «Спроси себя сам: мог ли Линь Бяо действовать без поддержки

председателя Мао? Спроси себя сам: разве Мао не знал историю Жиан Кина? Спроси себя сам: знал ли Мао, что Чан Чин была предательницей? Спроси себя сам: могла ли банда четырех без поддержки Мао в так называемом антиправовом движении сбросить Дэн Сяопина? Спроси себя сам: могли бы или нет события на площади Тяньаньмынь быть расценены как контрреволюционные, если бы сам Мао не кивнул головой?»

Возникшие мгновенно, нагромождавшиеся горами ярлыки вроде «феодализм», «фашизм», «диктатура», «культ личности», «суеверие» едва ли так быстро прилипли бы к Мао Цзэдуну, если бы он сам не швырялся ими направо и налево. «Феодальное общество миновало» — гласил заголовок на одном из шестидесяти листов «Демократического форума». «Но техника современного угнетения еще бесплоднее, чем во времена Ши Хуанди Седьмого, в годы феодализма ...когда жгли книги, и ученых с ними вместе сжигали живьем. Техника психологического угнетения принесла культ личности современным диктаторам как новую вершину, вершину феодализма, диктатуры и фашизма... Что такое базис новой религии? Феодальное общество кончилось. Народ взял штурмом императорские дворцы. Это был первый момент демократии, первый ее кусочек. Примитивные народы клали много сил, чтобы сделать себе идолов. Мы же должны свергнуть всех идолов, старых и новых».

Но обвинения не оставались только абстрактными: «Если бы мы не были так забывчивы, мы бы помнили период красного террора, лозунг «сокрушить собачью голову всякого», и тогда бы мы возражали Председателю Мао. В это время много людей было расстреляно или иным способом предано смерти, потому что вы были завернуты в кусок бумаги, кусок бумаги с портретом Мао или с цитатой из его произведений».

В окружении Мао был, однако, один «светоч» — Чжоу Эньлай. «С 1966 по 1976 год Китай находился

под фашистским режимом и единственным человеком, боровшимся против фашизма, был Чжоу Эньлай».

Строительство памятника Чжоу — вот требование многих дацзыбао. В одном из них изложен даже детальный проект: «Мавзолей Председателя Мао стоит одиноко на площади, в то время как Премьер Чжоу брошен в снег». В разъяснении «китайских прав человека» 17 января 1979 года сказано: «Нет ничего на свете неизменяемого и неразрушимого. Горожане настроили ворот и храмов, помещений для идолов и залов Памяти, необходимо построить зал Памяти Премьера Чжоу...»

Критика Мао Цзэдуна в основном для режима была «маринадом». Дацзыбао «прекратятся, когда гнев народа утихнет», — сказал Дэн посетителям. Но он, несмотря на свою осмотрительность, впал в ошибку. Критика и жажда модернизации и всяких улучшений стали критикой системы, которая едва ли сама собой прекратится.

Критика системы автоматически углубляет критику Мао. Поскольку культурная революция была «стихийным бедствием», законность была уничтожена, хозяйство разорено. Каждое дацзыбао повторяло: «Да здравствует правда!» Возможна стала даже критика китайской истории, однако самокритика остается сугубо китайской. Китайская история измеряется одним человеком — императором, и самим же императором определяется ее трактовка, в данном случае — «народным императором» — Мао Цзэдуном.

Вдоль стены Сидан стали патрулировать цензоры. Им, однако, приходится ломать голову, поскольку авторы то цитируют иностранцев, то говорят иносказаниями: «Мы считаемся центром мировой революции. Но непонятно, почему до сих пор идут только разговоры о событиях на площади? На Западе были и дело Локхиды, и Уотергейт, и все было разъяснено печатью...» «Почему социалистическое хозяйство не

подымается, тогда как на Тайване, под кликой Чан Кайши, плановое хозяйство развивалось быстрыми темпами?» «Мы часто слышим, что «демократия» и «Права Человека» — только слова западной буржуазии, в то время как восточный пролетариат терпит диктатуру». «Америка — капиталистическая страна, и так развивается большая часть мира. Ее история насчитывает всего два столетия, но она стала идолом развитого мира. В Китае, история которого куда длиннее, построены две гигантских стены. Одна — чтобы удержать иностранное нашествие. Другая Великая Стена сооружена императором Ши Хуанди и его верными последователями, чтобы защищать свою диктатуру. Тысячи лет китайской истории, и один император сменял другого...»

С такой критикой системы движение развивалось с декабря 1978 по март 1979-го. Для того, чтобы охарактеризовать этот период, достаточно нескольких примеров: призыв к президенту Картеру обратить внимание «на положение Прав Человека в Китае», разъяснение «О Правах Человека по-китайски» Вей Жинсена (в самиздатской газете «Поиски»), «Права Человека, демократия, равенство» (в «Пяти модернизациях») и суд над Веем 16 октября 1979 года, чуть позднее «закрытия» стены для дацзыбао и конца критического движения.

Призыв к Картеру датируется 7 декабря 1978 года, на другое утро он стал известен всему миру. Группа «Права Человека», как гласила подпись под дацзыбао, просила Президента интересоваться не только русскими диссидентами, но и обратить внимание на положение в Китае. Авторы (анонимные) обрисовывают страну, в которой марксизм стал новой всеобъемлющей религией, а все прочее уничтожается и преследуется. Ситуация в Китае не сравнима по тяжести ни с чем. А ведь Китай — четверть всего человечества! Народ не хочет повторить трагедию советских

народов на сцене ГУЛага. Дацзыбао пересказывают выступление президента Картера, в котором он заявил, что «нет силы на земле», которая помешала бы американцам бороться за Права Человека. Многие китайцы слушали это выступление по радио. Реагировали остро, но с осторожностью, поскольку уже было объявлено о предстоящей поездке Дэн Сяопина в США.

В уже упоминавшейся тут декларации Прав Человека в Китае главное место занимают не слова о «социализме», народной республике и так далее, а пункты о том, что государственные и партийные институты все время укрепляются. Речь идет далее о государственном управлении индустрией, о коллективизации. Четко выражено требование права на критику, автономию, многопартийную систему, на право собственности. «Пора покончить с тайной дипломатией, цензурой, тайной политической полицией». Авторы требуют нормализации отношений с СССР. С Запада Китай должен перенимать не только технологию, но также традиции демократии и культуры. Граждане нуждаются и в личных контактах с иностранцами.

Вей Жинсен призывает «защищать права каждого члена общества». Прямые права — это не только права социальные, но прежде всего — политические. «Сначала нам нужна свобода, а уж потом — равенство», пишет Вей. Демократия должна гарантировать прежде всего свободу личности, и лишь через это — свободу общества. Вей категорически против всяких социальных утопий (в том числе и коммунистической) и против любых форм диктатуры. Они всегда тоталитарны. Аргументы Вей Жинсена обстоятельны, без следов какого-либо радикализма и без всякого анархизма, часто свойственного подобным программным документам. Он говорит о «хорошем социализме», который не будет нарушать свобод.

Вей говорит, что такие страны, как СССР, Вьетнам и КНР, перед тем, как была разоблачена «банда

четырёх», дегенерировали, «превратившись в чисто фашистские государства с руководящим классом, осуществляющим диктатуру над широкими массами рабочего народа». Он заключает: «Большинство в Китае хочет демократического социализма. Но надо найти к нему дорогу. Я уже принимал участие в демократическом движении, и раз оно существует, то начало пути в нашей стране уже найдено».

Итак, Вей Жинсен завершает собой китайское критическое движение. Острые его направлены не только на культ Мао, но прежде всего на абсолютизм коммунистической партии — фундамент власти меньшинства во главе с Мао. На волне одобрения «народнический» курс Дэн Сяопина против маоистов и его попытки модернизации породили критику системы в целом, ибо модернизация и партийная диктатура взаимно противоположны.

То, чего достигло «критическое движение», — во все не поверхностные результаты. Множество выводов, сделанных третьим пленумом в декабре 1978 года, пробуждают новое и новое желание перемен, вплоть до тех пределов, которые могут быть перейдены только при разрушении всей системы. Абсолютное господство партии находится уже под сомнением. Культурное и хозяйственное оживление в стране после конца «критического движения» вполне очевидно. То запустение, которое воцарилось после маоистского «пусть расцветают сто цветов», выглядело куда безнадежнее, чем сегодняшнее внутреннее положение страны. Нынешняя диктатура в Китае хочет выглядеть либеральной, но быть вполне современной.

К самым явным признакам перемен в Китае следует отнести открытое освещение польского забастовочного движения. Китайская пресса сообщает также о главной цели забастовщиков: создании независимых профсоюзов. В телевизионной программе международных новостей, которая каждый день транслируется в

Пекин из Англии через спутник связи, было показано, как польские рабочие ведут переговоры, ждут, молятся, плачут и, наконец, ликующе приветствуют своих руководителей. Население Китая могло получать информацию из-за рубежа и по радио, которое в КНР не глушится.

Только что закончившаяся 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) не только приняла важные решения по деловым и персональным вопросам, но и прошла в необычной, полупарламентской атмосфере. Впервые состоялась дискуссия по политическим вопросам, таким, как роль народного представительства, минимальный брачный возраст в пересмотренном брачном законодательстве, а также по вопросам финансовой политики государства. Министр металлургии Тан Кэ был забросан критическими вопросами по поводу плановых просчетов на сталелитейном заводе миллиардной стоимости в Баошане (под Шанхаем), и он должен был отвечать на эти вопросы пункт за пунктом. Незадолго до сессии ВСНП был вынужден уйти со своего поста министр нефтедобывающей промышленности Сон Женмин: на него была возложена ответственность за катастрофу на морской буровой вышке в заливе Бохайвань в ноябре 1979 г., вызвавшую 72 человеческие жертвы. Министр не смог отвергнуть обвинения в халатном руководстве буровыми работами.

На сессии ВСНП также произошла смена руководства на верхушке власти, впервые — не в результате борьбы за власть или смерти прежнего руководителя. Под влиянием реформистского крыла вокруг Дэн Сяопина партия приняла решение, что партийные и государственные посты больше не должны быть пожизненными. Это может способствовать устранению «геронтократии» и некомпетентности — двух бичей коммунистической диктатуры. В отставку ушли Хуа Гофен и семь заместителей премьера, уступив

место одному из самых успешных реформистов и экономистов послемаоистского руководства — Жао Жияну. Дэн Сяопин также покинул свой государственный пост, однако он удовлетворен тем, что расчистил путь к власти для своей «гвардии».

Новый премьер-министр собирается уделить основное внимание сельскому хозяйству и легкой промышленности. Капиталовложения в тяжелую промышленность будут уменьшены, так как приоритет отдается улучшению снабжения населения товарами потребления и быстрому росту экспорта. Жао Жиян намерен вести прагматическую хозяйственную политику. Центральное планирование будет дополнено элементами рыночной системы. Предприниматели получают больше самостоятельности. Они могут выбирать себе партнеров, должны будут больше приспосабливать производство к потребностям рынка, а с 1981 года смогут сами продавать свою продукцию за границу. На многих крупных предприятиях выработаны производственные уставы, дающие рабочим коллективам право выбирать дирекцию и участвовать в планировании производства, в решении финансовых и кадровых вопросов.

Все реформы идут изнутри, их инициатором является партия, обладающая абсолютной полнотой власти. Ленинизм как принцип организации системы в Китае играет более важную роль, чем марксистская идеология, в которую нужно «верить», — сегодня больше не занимаются ее определением. Понятие социализма может быть заполнено любым содержанием, при условии, что оно не ставит под вопрос существование «системы». Тот факт, что революция больше не нуждается в идеологической вере, а требует лишь послушания, — ослабляет позиции таких вождей, как Хуа Гофен, которые ведут преемственность своих полномочий от Мао. Будет ли Хуа Гофен еще раз переизбран председателем КПК на XII съезде пар-

тии в конце этого года — неясно. Возможно, от процесса «банды четырех» пострадают и сторонники Мао. Но здесь очертания китайского будущего пока что еще неопределенны.

Париж, 8-го сентября 1980

ЖЕНЩИНА И РОССИЯ

Альманах женщинам о женщинах

Изд. Дэ фам, 144 стр.

В последние дни декабря 1979-го года, мы узнали о выходе в свет в Ленинграде «первого свободного женского альманаха», «Женщина и Россия».

В ответ на репрессии, грозившие женщинам-редакторам Альманаха, мы решили как можно быстрее распространить это издание и мы сразу выпустили в свет во французском переводе (тиражом 10 000) Альманах, изданный в виде книги на основе бесед, записанных в Ленинграде нами.

В настоящее время в согласии с Татьяной Мамоновой, главным редактором, Татьяной Горичевой, Наталией Малаховской и Юлией Вознесенской — редакторами Альманаха, которые были только что изгнаны из СССР из-за того, что решили описать действительность, и сейчас находятся в ссылке в наших так называемых свободных странах, мы издаём их Альманах на русском языке.

От издательниц

Mouvement de libération des femmes

Отрывок из их воззвания:

«Только собравшись вместе, чтобы обсудить все наши горести и страдания, только осознав и обобщив наш опыт, мы сможем найти вывод, помочь самим себе и тысячам женщин, которые мучаются так же, как мы. Именно для этого мы решили издавать первый в нашей стране свободный журнал для женщин... Мы надеемся, что общими усилиями сдвинем с мертвой точки дело освобождения женщины, облегчения женской доли — ведь «тайное, становящееся явным, свет есть»! Стоимость книги: 55 фр. фр.

Заказы и оплату направлять непосредственно в Издательство

éditions

2, rue de la Roquette - 75011 Paris - 805.17.45

ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ СОВЕСТИ

В Финляндии ничтожно мало говорят о нарушениях прав человека в СССР. Пресса, если и касается этой темы, уделяет ей очень мало места. В публичных выступлениях на эту тему наложено табу. Финны предпочитают обращать свои взоры очень далеко, в другие полушария, на Южную Африку и Чили, а не на то, что происходит совсем рядом, по ту сторону границы, по поводу чего этой стране тоже следовало бы возмущаться.

Когда заговариваешь о лагерях, о психиатрических больницах, о тяжелых условиях жизни в Советском Союзе, часто наталкиваешься на недоумение, незнание, если не на прямую враждебность. Политически и географически изолированным, финнам не на что опереться в своих суждениях, и они становятся легкой добычей идей, распространяемых коммунистами или их попутчиками.

У капиталистической, но достаточно близкой к Кремлю, чтобы не забывать об этом, Финляндии нет ни прямого и поучительного опыта коммунизма, ни всей той информации, которая распространяется в других западных странах: она еще полна иллюзий насчет реалий коммунизма. Такое положение дел объясняется не только географией, но и новейшей историей Финляндии. СССР сыграл в ней — прямо или косвенно — такую огромную роль, что Финляндия до сих пор не избавилась от традиционно-эмоционального восприятия.

Если понятно, что по геополитическим и экономическим причинам Финляндия сотрудничает с СССР, то труднее понять финскую осторожность и самоцензуру, граничащие с пособничеством режиму соседа. (За при-

мерами ходить недалеко: в голосовании ООН по Афганистану Финляндия предусмотрительно воздержалась.) Особенно же непонятно, почему столь немногие представители интеллигенции разоблачают нарушения Хельсинкских соглашений и репрессии против членов Хельсинкских групп. Учитывая, что эти соглашения были подписаны на финской земле, мы имеем право считать, что Финляндия пользуется определенным международным престижем и финские интеллигенты могли бы им воспользоваться, если бы их больше волновали события в этой области мира. Им гораздо легче поднять голос, чем их коллегам в социалистических странах. Возникает опасение: не наблюдаем ли мы в культурной жизни Финляндии негласный отказ от своей независимости и от своей ответственности?

Показательна в этом смысле реакция на выступление французского философа Бернара-Анри Леви на международном семинаре писателей в Лахти в 1979 году. В общем, за исключением правых газет, отчет об этом выступлении был или слишком краток, или искажал его идеи, то ли из страха, то ли из враждебности не передавая их полностью и во всей их глубине.

Заметен, однако, и некоторый прогресс: книги Солженицына и Терца напечатаны в Финляндии. Книга Тайсто Хуусконена «Дитя Финляндии», итог размышлений писателя-коммуниста, прожившего в СССР и порвавшего с коммунизмом, переиздается в пятый раз, много недель она возглавляла список бестселлеров. Некоторые восточногерманские диссиденты, например Рудольф Баро, побывали в Финляндии. В журналах начали появляться серьезные исследования о советских диссидентах. Надо отметить и важность многотиражной правой прессы, практически единственного средства критической информации о Советском Союзе. Это, несомненно, одна из причин все новых успехов правых на выборах и растущего интереса к ним со стороны молодежи.

Было бы тщетно и безответственно желать, чтобы Финляндия отказалась от многочисленных экономических, культурных и политических связей, которые она поддерживает с СССР в рамках договора о дружбе. Но мы вправе надеяться, что интеллигенция проявит поменьше лояльности по отношению к соседнему коммунистическому режиму. В конце концов эта якобы левая позиция оказывается мелкобуржуазной: ради собственного спокойствия закрыть глаза, заткнуть себе уши. Уют предпочесть нравственности.

РУССО Жан-Пьер — родился в 1944 в Бордо. Окончил Педагогический институт Восточных языков. Издал два поэтических сборника, в настоящее время пишет прозу. Последние семь лет живет в Финляндии, преподает в университете в Тампере.

Проявите великодушие!

(Открытое письмо Л. И. Брежневу)

Леонид Ильич!

Когда болит даже небольшая часть тела — лихорадит весь организм. Такой болезнью нашего общества является институт политзаключенных, вызывающий критику в мировом масштабе. Конечно, количество политзаключенных теперь в СССР не идет ни в какое сравнение с эпохой Берия и Сталина, но именно эта немногочисленность дает пищу для зловещих раздумий. Много лет этот вопрос муссируется мировой печатью и радиовещанием, это приводит к огромным психологическим и идеологическим потерям, но честь мундира не позволяет проявить благоразумие и человечность, чтобы раз и навсегда покончить с позором великой социалистической страны — с концентрационными лагерями, перед которыми детским лепетом кажутся лагеря Пиночета, где Луис Корвалан мог слушать транзистор, давать интервью корреспонденту, ходить в гражданской одежде и т. д.

В самом деле, есть ли где-нибудь еще в мире такие условия для политзаключенных, как в особом лагункте (Пермская область, Чусовской район, поселок Кучино БС 329/36)? Вот они:

Полная изоляция в камере под замком (по два-три человека) на площади по два квадратных метра на человека (на этой же площади вместили слитную «парашу», кровати, стол, тумбочки, стулья, ходить, разумеется, негде). На этом пятачке заключенный пребывает весь срок (кроме рабочих часов в такой же камере, где он занимается сидячим трудом, без движения). Разрядку дает лишь часовая прогулка в металлических двориках, опутанных сверху колючей проволокой (2×3 м). Солнца мы не видим никогда, зелени не получаем, что ведет к болезням и депрессии. Под видом «ремонта» комнаты для свиданий мы были лишены свиданий этим летом (во время Олимпиады и перед ней). Короче говоря, все условия заключения рассчитаны на медленное психическое и физическое убийство людей.

Леонид Ильич! Можно ли при наличии такого преступного института в нашей стране говорить о международном доверии, если нет такого доверия внутри общества? Достаточно проявить великодушие и понимание ситуации, чтобы устранить эту застарелую болезнь (оставшуюся от Сталина). Ликвидировать институт политзаключенных — это действительно оздоровить идеологическую атмосферу внутри общества, а значит — международную атмосферу.

Ознакомьтесь с «делами» так называемых «инакомыслящих». Вы ужаснетесь, что людей, которые посмели иметь убеждения, не согласные в чем-то с убеждениями тех или иных догматиков, держат в условиях, которых не найти в самых тиранических странах!

Леонид Ильич! Проявив великодушие, Вы и Ваши сотрудники расчистите путь к взаимопониманию между народами. Наша страна созрела для новой человеческой ступени!

Сентябрь 1980 г.
Пермская обл.

(Копия — Мадридскому совещанию стран,
подписавших Хельсинкские соглашения)

Олесь Бердник
Богдан Рвбрик
Левко Лукьяненко
Олекса Тихий
Данило Шумук

ЗАМЕТКИ О БИОГРАФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ МАТЕМАТИКОВ*

В первую очередь следует, на мой взгляд, поздравить читателей с открывшейся впервые возможностью познакомиться с биографическим словарем математиков на русском языке и поблагодарить авторов за их кропотливый, исключительно дельный труд. Интересен тот факт, что отсутствовавшие в СССР в течение десятилетий биографические словари ученых начали появляться сейчас на Украине¹ — частью сперва на украинском языке, а затем и по-русски, что придает деятельности киевских издательств «Наукова думка» и «Радянська школа» значение по меньшей мере в масштабе всей страны.

Культура биографических словарей (а словарей, посвященных ученым в области точных и естественных наук — в особенности) в современной России, к сожалению, крайне низка. За многие годы подобных словарей вообще не выходило из печати². Имелась возможность сослаться лишь на двухтомник «Биографический словарь деятелей естествознания и техники» (М., «Большая Советская энциклопедия», 1958-59) —

А. И. Бородин, А. С. Бугай. Биографический словарь деятелей в области математики. Под ред. чл.-корр. АН УССР И. И. Гихмана. Киев, «Радянська школа» /более 2000 персоналий/. Является расширенным переводом украинского издания: О. І. Бородин, А. С. Бугай. Біографічний словник діячів у галузі математики. Відп. ред. чл.-корр. АН УРСР І. І. Гіхман. Київ, «Радянська школа», 1973 /1050 персоналий/.

справочник слишком неполный и поверхностный. Лишь в самое последнее время стали появляться словари, посвященные деятелям в отдельных областях науки и культуры, которые в какой-то мере восполняют досадную нехватку подобных справочников, а еще более порождают надежду на восполнение такой нехватки направленными и расширенными переизданиями³.

Итак, перед нами только что лег на стол очередной долгожданный представитель этого ряда научных источников — словарь математиков.

По-видимому, он несет в себе какие-то черты, общие с другими аналогичными изданиями. Остановлюсь лишь на некоторых недостатках новой книги, которых можно было — или по крайней мере следовало — избежать. Долгожданность и пока что уникальность этого словаря не должны вести к занижению требований к подобному изданию или к небрежению всякой конкретной критикой.

1. Отсутствие ряда персоналий

От всякого оппонента словарного издания можно ожидать предложений по расширению словника. В принципе, следовало бы рассматривать такие предложения (если они системны и учитывают заданный объем словаря) как конструктивные. Включение в словарь, скажем, всех российских (и советских) математиков — докторов наук не должно показаться чрезмерным (хотя лучше это сделать, наверно, в гипотетическом справочнике «Советские математики», — остается пожелать нашим авторам осуществить и такое издание⁴. Где, как не в СССР, должно опубликовать подобный том?). Вот несколько конкретных примеров, заслуживающих, на мой взгляд, внимания.

В справочнике нет сведений о колоритной фигуре Целестина Леоновича БУРСТЫНА (1888-1938) — бе-

лорусского математика (область научных интересов — дифференциальная геометрия, векторный и тензорный анализ, дифференциальные уравнения), директора Физико-технического института в Минске и академика Белорусской АН с 1931.

Заметное влияние на развитие математической логики в СССР оказала научная деятельность Александра Сергеевича ЕСЕНИНА-ВОЛЬПИНА (формальное наличие у него — в СССР — лишь степени кандидата физико-математических наук отходит здесь на задний план). Оригинальность развиваемого им в науке направления, ссылки на него в специальной литературе (а также неоднократное появление его имени и в таких изданиях, как «Философская энциклопедия» и «Большая Советская энциклопедия», 3-е изд.) делают необходимым включение в такой словарь его биографии хотя бы в виде самых кратких сведений.

Досаден пропуск персоналии Наума Натановича (Нохума Санелевича) МЕЙМАНА, работающего, правда, на стыке математики и физики, но эта особенность давно не уникальна и не стала препятствием для включения некоторых других персоналий в данный справочник. Ученый, не раз игравший существенную роль в узловых ситуациях советской науки, чье имя, в частности, неотделимо от имен таких естествоиспытателей, как физик академик И. Я. Померанчук или математик член-корреспондент АН СССР Н. Г. Чеботарев, отсутствует в словаре, видимо, по недоразумению. Имя его стоит среди прочих в списках деятелей математической школы Н. Г. Чеботарева (стр. 519) и лишь одно из всех не набрано курсивом; все же остальные, естественно, имеют в справочнике соответствующую статью.

Нет статьи об одном из одаренных советских математиков — о Револьте Ивановиче ПИМЕНОВЕ. Известный ученый (первая книга которого привлекла внимание научной общественности и была вскоре пе-

реведена в США⁵), получивший содержательные результаты в области неевклидовой геометрии и космологии (новая теория пространства-времени, обобщающая т. н. общую теорию относительности Эйнштейна и позволяющая осмыслить физические эксперименты без рассуждений о «системах отсчета»), заслуживает того, чтобы интересующийся читатель мог найти о нем в словаре элементарные биографические сведения.

Отсутствует персоналия Ильи Иосифовича ПЯТЕЦКОГО-ШАПИРО, авторитетного специалиста в области алгебры, функционального анализа, теории чисел и теории функций. В этом случае словарь проигрывает даже такому вспомогательному источнику, как приложение к «Истории отечественной математики» (см. прим. 1).

В словарь включены статьи об авторах учебников Л. Ф. Магницком, И. Т. Майере (младшем), А. Ф. Малинине и др. Однако нет персоналии Константина Амбаковича СУЛАКВЕЛИДЗЕ (1879-1941), в 1930-1931 академика и неперменного секретаря Грузинской АН, автора нескольких учебников по математике и для средней и для высшей школы.

В словаре нельзя обнаружить справку о Валентине Федоровиче ТУРЧИНЕ. Известный кибернетик, создатель метаалгоритмического языка РЕФАЛ⁶, не может быть обойден справочником, претендующим на представительность и авторитетность.

Не выполнено обещание составителей включить в словарь «всех академиков /.../ АН СССР» (стр. 3). Отсутствует статья о таком ученом, как специалист в области математического анализа, теории чисел и геометрии, — из зарубежных стран известный особенно во Франции, — Яков Викторович УСПЕНСКИЙ (1883-?), академик Российской АН с 1921, учитель Б. А. Венкова, И. И. Виноградова, Е. А. Нарышкиной и других математиков (упомянутых, кстати, в словаре). Сведения о нем и само его имя, впрочем, невоз-

можно найти в каких бы то ни было энциклопедических справочниках в СССР за последние 50 лет.

Совершенно необъяснимо выпадение из словаря биографии Сергея Васильевича ФОМИНА, крупного ученого в области функционального анализа и его приложений, математических проблем в биологии, известного методиста, постоянного соавтора члена-корреспондента АН СССР И. М. Гельфанда. На мой взгляд, множество юбилейных статей и некрологов в журналах не отменяет биографической заметки в справочнике.

Из четырех основателей грузинской математической школы составители словаря по непонятным причинам пренебрегли одним — Арчилом Кирилловичем ХАРАДЗЕ, алгебраистом, в последние годы Председателем Математического общества Грузии.

Отсутствие статьи об Арноште (Эрнсте) КОЛЬМАНЕ, академике Чехословацкой АН, можно было бы, казалось, оправдать тем, что его основной специальностью является философия и история естествознания. Но, во-первых, почти вся его философская деятельность касалась именно математики (и до войны в СССР, и после возвращения в СССР в 1950-е гг.). Следует вспомнить и недавние его печатные работы — в частности, во многом образцовую статью об истории математики в «Новом мире» (1969, № 4). Во-вторых, такие ученые, как Реймонд Клер Арчибальд, Луи Шарль Карпинский, Максимилиан Мари или Рене Татон, — чистые историки математики, а они попали в словарь. Уникальность судьбы Кольмана, связанной с двумя странами — Чехословакией и СССР, — делает особенно привлекательной возможность включить его биографию в справочник. С формальной же стороны, наличие среди его степеней и отличий звания «профессор математики» (1939) облегчает соблюдение исходных принципов издания. Пропуск в словаре биографии А. Кольмана становится парадоксальным, т. к.

даже в кратком списке литературы, рекомендованном составителями в конце книги, встречаются две его работы по математике (стр. 578)⁷!

К сожалению, этот список можно продолжить еще и еще.

Тот факт, что некоторые из названных ученых в последние годы переменили место жительства и работы (например, Москву на Бостон), далеко еще не означает их исчезновения ни из жизни, ни из науки, ни из истории математики (тем более на решении проблемы — включать или не включать их в словарь — не должны отражаться независимые в той или иной степени общественные взгляды ученых). Но нет, в советской печати не стесняются порой декларировать открыто, что наличие статьи о ком-то в справочнике — это особая честь (а вовсе не норма энциклопедического издания). К сожалению, все говорит за то, что большинство пропущенных в словаре имен — это ученые, недавно эмигрировавшие или как-то иначе прогневившие власть имущих (например, проводившие часть жизни в заключении по политическому обвинению или в течение долгих лет ждущие разрешения на выезд из страны и т. д.). По-видимому, независимо от их научного веса и уже внесенного вклада в отечественную и мировую науку упоминать их в советской литературе «не положено», и они попросту стираются из памяти народа — в настоящий момент из письменной, а в перспективе и из устной. Не затрагивая морально-политический аспект данной искусственно созданной проблемы, необходимо все же сказать, что подобное культивирование «белых пятен»⁸ дальше всего находится именно от науки, ни в коей степени не совместимо с ее подлинным духом и особенно должно быть нетерпимо в справочнике, тем более математическом.

2. Пропуск сведений в персоналиях

2.1. В краткой сверх всякой меры заметке о Владимире Сергеевиче ИГНАТОВСКОМ сфера его научной деятельности зря ограничена только математикой; в первую очередь это известнейший в СССР оптик, организатор ГОМЗ (Государственный оптико-механический завод) — ныне ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение).

Следовало бы, видимо, указать, что Иван Александрович ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ — один из первых и немногих российских стипендиатов Фонда Рокфеллера. Из заметки о нем в противном случае не ясно, вследствие чего стала возможной его командировка в Германию в 1930-1931.

Представляется, кажется, возможным уточнить дату кончины Михаила Хрисанфовича ОРЛОВА (в словаре значится: 7. 1. 1900-1936). Во всяком случае, в монументальной «Истории АН Украинской ССР» (Киев, «Наукова думка», 1979, стр. 775) уверенно приводится дата «17. 10. 1936».

Если уж указано, что Людмила Всеволодовна КЕЛДЫШ — сестра М. В. Келдыша (о чем и так легко догадаться — их биографии расположены рядом), то вовсе не лишне сообщить и то, что она — жена П. С. Новикова и мать С. П. Новикова. Для них обоих, в особенности для последнего, это никак не второстепенный факт биографии; во всяком случае, имеет не меньшее значение, чем то, что П. С. Новиков — его отец (а это сообщается на стр. 370).

Если уж тщательно фиксируется, что А. А. Андронов был членом Президиума Верховного Совета РСФСР и депутатом Верховного Совета СССР, то тем более нелогично замалчивать, что Иван Георгиевич ПЕТРОВСКИЙ многие годы (1966-1973) был членом Президиума Верховного Совета СССР — т. е. одним из глав государства.

Если в заметке о Д. Ч. Филдсе разъясняется статус международной медали Филдса (и это хорошо), а в персоналии А. А. Фридмана (1888-1925) указывается (и справедливо) об учреждении премии его имени, то уж сам Бог велел в обширной статье о Пафнутии Львовиче ЧЕБЫШЕВЕ хотя бы упомянуть о существовании премии АН СССР им. П. Л. Чебышева — многократно названной в других статьях словаря.

Выглядит крайне неквалифицированно составленной персоналия Игоря Ростиславовича ШАФАРЕВИЧА. В противоречие с декларированными принципами издания не указаны почетное членство его в иностранных академиях (Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина» в Галле, Американская академия искусств и наук в Бостоне), присужденная ему Хайнемановская премия Геттингенской Академии наук (а академии эти упомянуты, как и должно, в биографиях Б. Н. Делоне, М. В. Келдыша и др.). В отличие от персоналий И. М. Гельфанда, С. М. Лозинского, В. И. Смирнова и др., почему-то не указывается, что в 1970-1973 И. Р. Шафаревич был Президентом Московского Математического общества (так же и в статье об Андрее Николаевиче КОЛМОГОРОВЕ не сказано, что он занимает этот пост — после И. Р. Шафаревича).

Аналогичным образом обеднена справка о Владимире Игоревиче АРНОЛЬДЕ. Не указано, что он является Вице-президентом Московского Математического общества и членом Национального комитета СССР по механике, умалчивается о том факте, что он избран в почетные члены Лондонского Математического общества.

2.2. Несколько слов об иностранных ученых.

О польском математике Станиславе ЗАРЕМБЕ не сообщается, что он был членом АН СССР (с 1925).

В статье о французском математике Анри Поле КАРТАНЕ использованы устаревшие данные: ученый

давно уже не член-корреспондент, а действительный член Академии наук Института Франции (еще с 1974). Кстати, почему повсюду (в статьях об Э. Ж. Картане, С. Мандельбройте и др.) это научное сообщество именуется Парижской АН? Это попросту неверно — сходным образом она именовалась 200 лет тому назад (до 1793).

Гастон Морис ЖЮЛИА, старейший член (с 1934) АН Института Франции, вообще не назван как академик.

То же — с Жаном Александром Эженом ДЬЕ-ДОННЕ, Жаном Пьером СЕРРОМ, Рене ТОМОМ:

Статью о лауреате премии Филдса Лоране ШВАРЦЕ, к сожалению, также нельзя счесть годной. «В настоящее время» он не только «профессор факультета наук в Париже», но и (с 1975) действительный член АН Института Франции. Кстати, оговорка авторов, что «о современных зарубежных математиках дается, как правило, краткая справка (год рождения /.../» (стр. 3) не выглядит серьезно. Это правило соблюдается непоследовательно и бессистемно. Смешно читать, например, об ученом прошлого века К. Г. А. Шварце, что он родился 25. 1. 1843, а рядом про нашего современника Л. Шварца всего лишь узнавать, что он «р. 1915». Л. Шварц родился 5. 3. 1915, и подобные сведения составителям, казалось бы, раздобыть легче (хотя бы в любом из доступных им — но не всем читателям — справочников «Who's who»), чем о давно прошедших эпохах. Все справки об иностранных ученых (уж во всяком случае в пределах последних столетий) следовало бы привести к более тщательному виду.

2.3. То, что Ольга Александровна ЛАДЫЖЕНСКАЯ, Владимир Иванович СМИРНОВ, Игорь Ростиславович ШАФАРЕВИЧ подписали в 1972 г. в числе прочих 52 советских деятелей науки и культуры про-

шение в Верховный Совет СССР об отмене смертной казни (а Георгий Иванович ПЕТРОВ и И. Р. Шафаревич тогда же еще и обращение 51-го о всеобщей политической амнистии), а также то, что Лоран ШВАРЦ состоял членом Расселовского международного трибунала по расследованию военных преступлений США во Вьетнаме (с 1966) и Международного комитета математиков в защиту Л. И. Плюща и Ю. А. Шихановича (с 1974), — никак не менее существенно для истории науки, культуры и нравственности, чем перечисление орденов, медалей и т. д.

Причем приведенный здесь перечень — лишь малая доля фактов из долгого ряда аналогичных.

3. Опечатки, ошибки и несуразности

Из опечаток я заметил лишь четыре. На стр. 256 в строках 19-20 снизу — должно быть В. И. Арнольд, а не И. В. Арнольд (сын перепутан с отцом). В статье об А. М. Ягломе утверждается, что он работает в «Институте физической атмосферы»; должно быть — Институт физики атмосферы (стр. 574, строка 4 сверху). День рождения Б. Паскаля — 19.6.1623, а не 19.4.1623 (стр. 383, строка 14 снизу). В статье о С. Банахе, видимо, пропущены слова «физико-математического факультета» между словами «деканом» и «Львовского университета» (стр. 34, строка 3 сверху).

С некоторыми ошибками дело обстоит сложнее. В словаре указано, что Наум Ильич АХИЕЗЕР работает в Харьковском университете с 1947. По другим источникам известно, что он работал там также и в 1933-1941, а по третьим — что лишь с 1941⁹.

В пределах одной и той же статьи — о Николае Ивановиче МУСХЕЛИШВИЛИ — на стр. 357 утверждается, что он был Президентом Грузинской АН лишь

в 1941, а на стр. 358 — в 1942-1972. На самом деле ученый занимал этот пост в 1941-1972.

Георгий Николаевич НИКОЛАДЗЕ умер 5. 2. 1931, а не 22. 9. 1931.

Своеобразно поступили авторы с персоналией Виктора Владимировича РУСАНОВА — о нем помещено почему-то две статьи: в основном корпусе (стр. 437) и в Приложении (стр. 568). В первом варианте он родился 2. 11. 1919, а во втором — 2. 11. 1918. Содержание справок тоже различается.

О Сергее Львовиче СОБОЛЕВЕ (р. 1908) сообщено, что окончил он университет в 21 год от роду (т. е. в 1929) и «после окончания университета работал последовательно в Сейсмологическом институте атомной энергетики, /.../». Трудно представить себе такой институт, тем более в 1929. Наверно, имелась в виду его работа в 1929-1932 в Сейсмологическом институте и впоследствии в 1943-1957 — в Институте атомной энергии.

Об Иване Юрьевиче ТИМЧЕНКО (1863-1939) сказано, что в 1914-1933 он был профессором в Новороссийском университете, а с 1933 — в Одесском. Автор, по-видимому, запямятовал, что Новороссийским именовался университет в Одессе до революции 1917 года, затем в 1920-1933 был вовсе закрыт (разделен на несколько отдельных институтов), а после возобновления в 1933 он же стал называться Одесским.

4. Пожелания

Помещенный в конце справочника «Указатель имен» таковым не является — страницы в нем не указаны; точнее было бы его именовать, как и в предисловии, кстати (стр. 4), «списком персоналий».

В книге не хватает вынесенного в приложение списка лауреатов Филдсовской премии (можно бы — и

Ленинской премии по математике). Такие дополнительные хронологические указатели существенно улучшают аналогичные справочники¹⁰.

В списке персоналий в скобках приводятся фамилии нерусских ученых в оригинальной транскрипции. К сожалению, исключения сделаны не только для японских, китайских, арабских, древнегреческих, грузинских, армянских и некоторых других математиков (набор текста на этих языках затруднен в большинстве наших типографий), но и для всех работавших в России выходцев из других стран (например, Э. Д. (Э. А. Х. Л.) Коллинс, С. Э. Кон-Фоссен, В. Л. (Л. Ю.) и Г. В. Крафты, Ф. Г. Миндинг, Н. И. Фусс и др.) и всех нерусских советских ученых (литовцы Б. И. Григелионис, Й. П. Кубилюс, З. Ю. Жемайтис, узбек В. К. Кабулов, украинец Ю. И. Березанский, эстонцы Г. Ф. Кангро, Ю. Ю. Пуут, А. К. Хумал и т. д.). Такая своеобразная «дискриминация» не должна иметь места. Кроме того, есть и просто пропуски оригинальной транскрипции по небрежности (К. Айдукевич, И. М. Х. Бартельс, В. Бюро, Деттонвиль, Г. Г. Кёте, Дж. Крег, Г. Лазар, Г. Ламб, Н. Г. Лепот, Д. Нейкомм, А. Ньюэлл, Х. А. Саймон, Н. Чиоранеску, Б. Экман и многие другие).

Общим местом отзывов на подобные словари может стать пожелание, чтобы оригинальная транскрипция давалась не только в указателе имен, но и в самих персоналиях. Также и литературу лучше не прилагать общим списком в конце книги, а включать в каждую биографическую справку (как и было, собственно, сделано в первом — украинском — издании настоящего словаря).

5. Вот пока все, что я счел возможным добавить при первом просмотре к сведениям, собранным в этом полезном и даже необходимом издании. Конечно, настоящие заметки ни в малой степени не претендуют

на полноту исправлений или на завершенность оценок в целом. Но вероятная серия содержательных откликов способна придать лучшее качество обобщенному в справочнике материалу. Смею надеяться, что от издательств (по меньшей мере, киевских) можно ожидать внимательного, доброжелательного отношения к повторным и усовершенствованным изданиям данного словаря (как и других биографических справочников) и что, буде они осуществляются, авторы соблаговолят учесть и сведения, аналогичные тем, что затронуты в этих заметках.

31. 12. 1979

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Например: Ю. А. Храмов. Физики. Биографический справочник. Киев, «Наукова думка», 1977 /1000 персоналий/ (является расширенным переводом украинского издания: Ю. О. Храмов. Фізики. Довідник. Київ, «Наукова думка», 1974 /500 персоналий/); И. Г. Колчинский, А. А. Корсунь, М. Г. Родригес. Астрономы. Биографический справочник. Киев, «Наукова думка», 1977 /более 450 персоналий/. Также необходимо упомянуть известную заслугу киевских издателей — монографию «История отечественной математики» в 4-х тт. Киев, «Наукова думка», 1966-1970 (в т. 4, кн. 2, на стр. 552-627 см.: Советские математики. (Краткий биографический словарь) /1000 персоналий/).

2. Робкие попытки указать на эту зияющую лакуну в советском науковедении изредка делались в научно-популярной печати. См.: Ф. К. Величко. Нам нужен биографический словарь. — «Природа», 1970, № 11 и С. А. Кордюкова, Н. Б. Лаврова. Биографические словари у нас есть. — Там же, 1978, № 9.

Критическая ситуация усугубляется тем, что советские математическая, физическая, химическая энциклопедии не включают в себя персоналий — но лишь тематические статьи.

3. Например, помимо относящихся к точным наукам и естествознанию, указанных в предыдущих примечаниях (и за исключением музыки, живописи, архитектуры), можно назвать — в хронологическом порядке — следующие биографические словари последних лет:

Д. Г. Квасов, А. К. Федорова-Грот. Физиологическая школа И. П. Павлова. Портреты и характеристики сотрудников и учеников. Л., «Наука», 1967.

Советские военные врачи. Краткий биографический справочник. Часть I. (А.-Л). «Труды Военно-медицинского музея Министерства обороны СССР», т. 22. Л., 1967 /всего было намечено включить 1700 персоналий; часть 2 — т. 23 «Трудов» — не вышел из печати (остался пропущен)/.

С. Д. Милибанд. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. М., «Наука», 1975 (2-е изд., с изменениями, 1977).

М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. В 3-х тт. Минск, Изд-во Белорусского гос. ун-та, 1976-1978.

А. Н. Алаев, В. С. Сперанский. Зарубежные и отечественные анатомы. Изд-во Саратовского ун-та, 1977 /более 500 персоналий/.

Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., «Наука», 1979.

4. Основа для такого справочника уже имеется — краткий биографический словарь в последнем томе «Истории отечественной математики» (см. выше прим. 1).

5. Р. И. Пименов. Пространства кинематического типа. (Математическая теория пространства-времени). — «Записки научных семинаров ЛО МИ им. В. А. Стеклова», т. VI. Л., «Наука», 1968. — R. I. Pimenov. Kinematic spaces. N. Y., Consultants Bureau, 1970. Только что опубликована сводка его результатов, полученных в последние годы: Р. И. Пименов. Негладкие и другие обобщения в теории пространства-времени и электричества. — Серия препринтов «Научные доклады», вып. 47. Сыктывкар, Коми филиал АН СССР, 1979.

6. См. об этом, например, обзор: Ан. Васильев. Общение человека с машиной. По новым работам советских кибернетиков. — «Новый мир», 1970, № 6.

7. С недоумением можно обнаружить, что справка об А. Колмане не пропущена в словаре, а даже исключена: в первом — украинском — его издании соответствующая персоналия имелась (стр. 240).

8. Не с этим ли связан и тот грустный факт, который трудно миновать в серьезном разговоре на темы «математика в биографии», «математика и библиография», — почему прервана замечательная традиция регулярно издавать фундаментальный справочник «Математика в СССР»? Появляясь в 1948, 1958, 1968 годах, он совершенствовался, и его последнее издание просто незаменимо как в библиографических разысканиях собственно по математике, так и для историко-математических штудий.

Поражает, что (насколько мне известно) никто из библиографов или историков математики не сумел поднять этот вопрос в научной

печати, а также что ответственные учреждения и инстанции не сочли своим долгом как-то мотивировать прекращение этих изданий.

9. Нередко даты и др. сведения в различных справочниках не совпадают. Примером прекрасного выхода из положения, дабы не заставлять читателей сомневаться, служит включение в словарь русских славяноведов (см. прим. 3) обоснования приводимых данных, расходящихся с опубликованными в др. справочниках. Наличие такого ответственного обоснования неоценимо.

10. Например «Физики» Ю. А. Храмова (см. прим. 1) или из иностранных изданий: Н. Запрянов, Гр. Найденов. Медицински биографичен справочник. Пловдив, «Христо Г. Данов», 1972.

От редакции: При пересылке в типографию статьи И. Бирмана (см. «Континент» № 24, «Наша почта») была утрачена последняя страница рукописи. Приводим ее текст и приносим извинения читателям и автору.

Конечно же, нельзя было русскому писателю так писать о папуасах; коль мелькнула такая мыслишка, устыдись ее, подави. Но при всем том, кто же наконец скажет либералам, что страстная борьба с Яном Смитом отвлекла их от Брежнева. Добились они бойкота, одолели Родезию. А с СССР торгуют. И вот эта мысль Максимова, пусть и высказанная им в порыве далеко не лучшим образом, по сути своей более, чем верна. К нашему общему несчастью.

Эткинд перечисляет свои ужасы — безответственность, безнаказанность, ненависть. Дорогой профессор Эткинд, а как насчет победного шествия коммунизма по планете, вот этого Вы не ужасаетесь? Вам и вправду не страшен священник, стремящийся сблизить христианство с марксизмом? И не страшно ли, что Ваши коллеги по Парижскому университету наперегонки записываются в марксисты, в компартию? Мне вот страшно и от лобызания мистера Картера с товарищем Брежневым в Вене и от недавней поездки европейских социал-демократов потолковать с тем же Брежневым о разоружении. И от многого такого же.

Нет слов, Запад и в частности либеральная интеллигенция сильно, благородно помогали. Синявскому и Сахарову, Солженицыну и Амальрику, Максимову и Копелеву. Да вот и я живу в Америке не потому, что у Брежнева со товарищи взыграла совесть. Не забудем это. Но вместе с Максимовым скажем этим людям — опамятуйтесь, посмотрите окрест, учитесь видеть. Взгляните наконец в лицо смертельной опасности, общей для всех нас. Может быть еще есть время.

Ибо если вы не перестанете детантировать, будете сдавать новые Вьетнамы, разоружать и разъединять Запад, обольщаться Хуами и Кастрами, продавать СССР зерно и технику по дешевке, то продолжать дискуссии мы будем в лагере где-нибудь на советской Аляске. Те из нас, кого не поставят сразу к стенке.

ЭКОНОМИКА

Стефан Куровский

ДОКТРИНАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ НЫНЕШНЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ПНР

Нынешний кризис нашей экономики — не уникальное явление за последние 35 лет. Даже мимолетно оглянувшись на этот период, ясно видишь, что кризисное состояние, характеризующееся напряженностью, неуравновешенностью в экономической сфере и неудовлетворенностью в социальной, — это скорее состояние нормальное, лишь краткие отклонения от которого наблюдаются в 1947-48, 1956-57 и 1971-73 гг., вызванные, впрочем, факторами, внешними по отношению к системе.

Сегодняшняя фаза социально-экономического кризиса страны заставляет отнестись к ней особенно внимательно: кризис стал глубже, чем когда-либо, приобрел размах, выходящий далеко за рамки экономики, — в то же время в социальном сознании ему не сопутствует надежда на возможный выход, как это все-таки было и в середине 50-х гг., и в 1970-м. Создается впечатление, что арсенал спасательных действий, которыми располагает система, исчерпан.

Дальнейшее развитие может сложиться по одному из двух сценариев. Либо решение наступит вне рамок системы, либо наступит окостенение, и тогда как эко-

Прочитано на конференции Польского социологического общества «Социологические и экономические проблемы планового хозяйства», 12 мая 1979, Зеркальный зал Дворца Сташица, Варшава.

номика, так и вся жизнь общества впадет в состояние устойчивой дегенерации. История показывает, что в определенных условиях механизмы, блокирующие общественное развитие, придают обществу огромную стабильность. Мы ничем не застрахованы от такого будущего.

Что мы можем сделать сейчас — это произвести анализ нынешнего кризиса, вскрыть его постоянно действующие механизмы, в силу которых кризисная ситуация снова и снова самовоспроизводится. Поскольку мы рассматриваем сегодняшнее экономическое положение не как случайное и изолированное, но как закономерное, мы обязаны при выяснении его генезиса и механизмов обратиться к постоянным, конституциональным факторам системы. Одним из этих факторов является доктрина — экономическая, социальная, политическая.

Эта доктрина не возникла в результате индуктивного обобщения существующей практики, подобно т. н. буржуазной экономической науке, но как раз наоборот: экономическая практика сформировалась как результат дедуктивных выводов из доктрины. В этом смысле существующая система экономики искусственна, ибо она была придумана в виде доктрины, а затем уже применена на практике. Доктрина формировала основы системы, ею систему узаконивают и защищают, ее вновь и вновь вводят в действие, когда нужно противостоять очередным попыткам реформы или хотя бы частичного улучшения системы.

Марксизм — ибо речь идет о нем, — кичливый по форме и узурпаторский в своих тотальных притязаниях разрешить все проблемы человека и человечества, — в своей экономической части составляет фундаментальную причину перманентного кризиса нашей экономики. Невозможно всерьез анализировать этот кризис, если искать его истоки только в ошибках хозяйственной практики, в неблагоприятной конъюнк-

туре, в неспособности тех, кто планирует и управляет. Надо обратиться к доктрине, ибо в последней инстанции главным образом она за все ответственна.

В нижеследующих заметках мы напомним несколько фундаментальных канонов марксистской политэкономии, составляющих теоретико-идеологическую почву нынешней системы и нынешней экономической политики, и сопоставим их с результатами, принесенными их применением. Этим путем мы покажем, где лежат корни повседневных бед экономики ПНР и сколь идеологически обусловлена практика, которую мы все чаще оцениваем как противоречащую экономической разумности и общественным интересам.

Примат политики над экономикой

Первое и важнейшее — сам подход доктрины к экономическим явлениям. Он характерен концентрацией внимания лишь на некоторых аспектах экономического процесса, с пренебрежением или замалчиванием других аспектов. Это ясно выражено в определении политической экономики как науки о социальных отношениях в процессе производства, или об отношениях собственности. Пример такого подхода — «Капитал» Маркса, где автор вообще проходит мимо проблем управления экономикой и экономической эффективности. В процессе производства, в процессе труда, который является материальным обменом между человеком и природой, главным противником человека признана не природа, а другой человек.

Этот подход, использованный при объяснении предшествующих социально-экономических формаций, был перенесен на построение нового устройства. Было принято, что нет ничего важнее установления новых отношений собственности и дальнейшего их укрепления и расширения, хоть бы эти новые отношения соб-

ственности представляли регресс и вели к расточительству в сфере вышеназванного материального обмена между человеком и природой, т. е. в сфере производства.

Отсюда идет гнетущий нашу экономическую жизнь примат политики над экономикой, политических критериев и решений над экономическими. Хотя ни в одном из прежних исторических устройств не говорилось о производстве (а в последнее время и об эффективности) так много, как у нас, но место, занимаемое в пропаганде, не пропорционально месту в иерархии целей и критериев. Известное высказывание насчет того, что нам нужен не рост производства вообще, а рост социалистического производства, по-прежнему остается ведущим принципом, хотя морально дискредитированный автор этой формулы уж четверть века как умер.

Этот ведущий принцип определяет профиль нашей экономики во всех конкретных решениях. Особенно это видно там, где встречаются разные виды собственности, разные степени ее обобществления. Тут во всех случаях: в мелких повседневных и больших перспективных решениях — требования даже наочевиднейшей эффективности приносятся в жертву политической принципиальности. Когда диктатура открыто провозглашает коллективизацию сельского хозяйства, хоть это ведет к голоду и недоеданию целых поколений; когда любой местный заправила или министр скрыто способствует распространению госхозов, хотя этим он готовит неизбежный продовольственный кризис и отягощает гигантскими затратами экономику своей страны; когда уездный начальник преследует крестьянина-единоличника, выживает его с земли, а потом не продает эту землю другому единоличнику, но передает в «сельскохозяйственный кружок», где она обращается в пустошь; когда другой заправила навязывает мелкой промышленности и торговле крайне централизован-

ную систему управления — все они действуют согласно этому единственному ведущему принципу, все применяют примат политики над экономикой, а вытекающие отсюда огромные потери принимают с легким сердцем: владея политической властью, лично они защищены от результатов этого расточительства. Они напоминают самозванную мать перед судом Соломона — они готовы пожертвовать экономической эффективностью, лишь бы даже малая часть экономики не функционировала без их тотального контроля.

Марксова теория стоимости

Краеугольный камень политэкономии — теория стоимости. Ответ на вопрос: чем создается стоимость — является решающим не только для направленности анализа экономических явлений, но также — в данной системе — и для направленности и формы практических экономических решений.

Маркс говорит: стоимость создается трудом, она пропорциональна количеству и качеству труда, «заключенного» в продукте или товаре. Этот тезис, на первый взгляд, кажется очевидным, но в том-то и состоит его софистика. Мнимая очевидность Марксовой теории стоимости вытекает из того, что она отвечает природной склонности человека видеть мир субстанционально. Труд «заключен» в товаре, сидит в нем «где-то в середине», как ядро, и определяет стоимость: чем больше этого труда «всажено», тем больше стоимость. Правда, при этом добавляется, что в создании стоимости принимает участие только труд «общественно необходимый», но, во-первых, кто определит, какое количество труда общественно необходимо, а во-вторых, эта теоретическая тонкость слишком трудно уловима для умов, склонных к простым решениям.

В капиталистической экономике рынок с его механизмом конкуренции решал, какое количество труда в товаре общественно необходимо, т. е. сколько товар стоит. Но в государственной экономике с централизованным планированием нет рынка и конкуренции, так что можно лишь декретировать, создавая не «общественно необходимую», а «общественно произвольную» стоимость.

Однако самые серьезные последствия тезис о труде как источнике и показателе стоимости вызывает в области практических решений. Прежде всего, он определяет систему ценообразования. Независимо от деталей, одно явление выступает здесь с постоянством: основой цены, точкой отсчета являются производственные расходы, к которым прибавляется процентная надбавка на прибыль. Цена перестает быть для производителя объективной величиной, к которой он должен приспособлять свои расходы, — наоборот, расходы становятся точкой отсчета для цены. А поскольку нет механизма, определяющего необходимый, или социально оправданный уровень этих расходов, — в соотношениях цен наступает хаос, результат случайной цифры расходов различных производителей. Поведение производителей углубляет этот хаос: если цена — исключительно функция расходов, выражающих, в свою очередь, затраты труда, то расходы приобретают магическую силу творения стоимости: чем выше расходы, тем выше стоимость. Для производителей разница между расходами и результатами стирается, все понесенные расходы *eo ipso* становятся эффективными, и тогда проведение экономического расчета беспредметно. Расширение производства становится расширением расходов.

Возникают и другие последствия. Если стоимость создается трудом, то потребитель и его спрос не играют никакой роли. Степень вожденности данного предмета, т. е. его полезность для потребителя, ни-

коим образом не влияет на стоимость. Тем самым, не влияет на нее дефицит товара, вытекающий из отношений спроса и предложения. Всем этим определяется исчисление национального дохода. Поскольку национальный доход есть сумма созданных стоимостей, а создаются они затратами труда, — он не может повыситься, какие бы процессы ни происходили в сфере так называемой реализации и спроса. Придадут ли потребители большую полезность одному разделу национального дохода и меньшую — другому, увеличится ли сумма ощущаемой потребителями полезности в результате товарообмена — все равно ничего не изменится в цифре нашего национального дохода, исчисляемой через труд. В конкретной экономической политике этот принцип последовательно соблюдается: предпринимаются усилия для повышения национального дохода, но только путем роста производства, т. е. увеличения затрат труда. Путь же его повышения вне затрат — этой системой решительно закрыт. Отсюда такая погоня за капиталовложениями, за созданием новых предприятий, за увеличением затрат сырья, материалов, энергии, которая приводит к неустанной и растущей напряженности, представляющей в рамках системы нормальное состояние экономики.

Далее, тезис о том, что затраты труда создают и определяют стоимость, формирует своеобразную производственно-отраслевую структуру всего народного хозяйства. Если стоимость конечного продукта зависит от затрат труда на всех предыдущих стадиях производства, то разрастаются сырьевые отрасли, обостровывается примат производства средств производства над производством предметов потребления, что полностью соответствует вышеотмеченному экспансионизму затрат. В конечном результате, мы получаем систему «производства для производства».

Теоретический выход из этого абсурда есть. Он находится в том самом замечании об «общественно

необходимых» затратах, что должно означать не только уровень затрат на единицу продукции, но и общественно необходимую долю труда на создание всей продукции той или иной отрасли. Действительно ли необходима эта доля труда, проверяется косвенно, через потребителя, в процессе реализации продукции данной отрасли. Если потребление не оправдывает ее необходимости, тогда ее излишек уже не создает стоимости; если же оно оправдывает ее «с избытком», тогда стоимость товара представляет «большее количество труда, чем в нее вложено». Так-то вот, с черного хода, в Марксову теорию стоимости входит потребитель, входит спрос. Но Маркс приоткрыл эту калитку (да и то лишь в третьем томе «Капитала», еще раз продумав всю проблематику) только затем, чтобы объяснить механизм функционирования капиталистической экономики. Проектируя же экономику социалистическую, он эту калитку немедленно захлопнул, формулируя головоломный тезис о «непосредственно общественном» труде.

Непосредственно общественный характер труда

Тезис о непосредственно общественном характере труда при социализме — ключевое дополнение концепции стоимости, создаваемой трудом. Не будь этого тезиса — и Марксова теория стоимости не имела бы таких вредных политико-экономических последствий, ибо дополнение об общественно необходимых затратах позволило бы найти разумные решения.

Что гласит этот тезис? Что вместе с обобществлением средств производства доля труда, затрачиваемая обществом на создание того или иного вида товара, больше не нуждается в косвенном оправдании ее необходимости потребителем, в процессе реализации: уже в самой этой доле труда, т. е. в принятии реше-

ния, что и сколько производить, оправдание на-
ступает непосредственно, ибо общество, принимаю-
щее решение, знает свои потребности. Таким обра-
зом, каждое производственное решение заведомо, по
определению верно, ибо оно эквивалентно потребно-
сти, которая должна быть удовлетворена данным про-
изводством.

Доктрина гласит, что такое решение принимается
самим социалистическим обществом. Поскольку тех-
нически это невозможно — в роли целого общества
должен выступить определенный орган, и вот мы по-
лучаем централизованное планирование. Центральный
план, снабженный удостоверением непосредственно
общественного труда, обладает нерушимым авторите-
том, его производственные решения являются одно-
временно и решениями в области потребления. В то
же время, принимая решения о распределении общест-
венно необходимого труда, он устанавливает стои-
мость всех товаров и услуг, в том числе рабочей силы.
Таким образом, центральный план играет роль Госпо-
да Бога.

При таких посылах неоткуда взяться никакому
расточительству, пропавшим капиталовложениям,
производственным диспропорциям, а потребление сба-
лансировано со спросом *ex ante*. Тезис о непосред-
ственно общественном труде позволяет центральному
плану *ipso facto* создавать и норму, и ее реализацию.
Неоткуда взяться и косвенным механизмам приспособ-
ления производства к потребностям, ибо этот про-
цесс протекает в голове одного субъекта: центрально-
го плановика. Рынок, существующий в этой системе,
— просто ловушка, своей традиционной формой скры-
вающая распределение, осуществляемое непосред-
ственно центральным планом. Отсюда же вытекает
формулировка основной цели социалистической эконо-
мики: удовлетворение потребностей общества — в
противоположность основной цели капиталистической

экономики, стремлению к прибыли, которое лишь косвенно способно привести к производству, удовлетворяющему потребности.

Итак, тезис о непосредственно общественном труде является нравственным, теоретическим и политическим обоснованием центрального планирования. И в то же время этот тезис остается в разительном противоречии с действительностью обществ, живущих в системе государственной, централизованно планируемой экономики. Осуществление принципа непосредственно общественного труда требовало бы отождествления целей, устремлений и потребностей центрального плановика с целями и потребностями всего общества, требовало бы т. н. морально-политического и всякого иного единства общества в такой степени, в какой оно вообще невозможно в популяциях вида *homo sapiens*. Попытки достижения такого единства в разное время предпринимались, самая недавняя была предпринята в Камбодже «кхмерскими — как их называла тогда наша пресса — патриотами». Такие попытки всегда знаменовались преступлениями в масштабах геноцида и рабством, по сравнению с которым режим Чингисхана — образец либерализма.

В системах, где осуществление этой кошмарной утопии не приняло таких крайних форм, в том числе и в нашей стране, тезис о превращении труда, благодаря государственной собственности на средства производства, в непосредственно общественный, тем не менее, принес колоссальный экономический ущерб. Он открыл путь ничем не ограниченному волюнтаризму в экономических решениях, ибо они по определению не подлежали ни контролю, ни практической проверке. Поэтому каждый народнохозяйственный план, предлагаемый обществу, объявляется оптимальным, каждое решение о капиталовложениях заранее признано самым верным, а вся экономическая политика становится предметом неустанной апологетики как в «сред-

ствах массовой информации», так и в ученых трудах. Тем временем, решения центрального плановика о распределении труда по отдельным отраслям производства на самом деле не только не характеризуются непосредственно общественной верностью, но прямо наоборот — создают пропорции, обратные потребностям общества. Антисоциальное распределение труда нации доходит при этом до того, что не только пренебрегает потребностями сферы потребления, совершенно незащитной на нашем псевдорынке, но и к потребностям сферы производства не умеет приспособиться.

Центральный плановик, взявший роль демиурга непосредственного оправдания — именем общества — необходимости вкладываемого обществом труда, не способен даже сбалансировать создаваемое им предложение с потребностями, им же созданными в сфере производства. Так что этот принцип оказывается негодным даже там, где теоретически можно было бы рассчитывать на единство субъекта принятия решений о спросе и предложении. Так возникают фабрики, не обеспеченные поставками сырья; запускаются печи и требующие большого количества энергии машины, для которых нет электричества и угля; планируются перевозки, для которых нет ни вагонов, ни путей; в портах принимают к перегрузке товары, для которых нет кранов и складов. И в то же самое время строят заводские цеха, которых нечем заполнить; импортируют машины, которых негде поставить; вводят в строй или поддерживают производство продукции, которую некому продать ни в стране, ни за границей. При этом догма о непосредственно общественном труде не позволяет создать обратную связь от спроса к предложению, не позволяет признать, что существует независимая фаза реализации продукции, которая может поставить под сомнение вложенный в нее труд, понизить ее стоимость, привести к банкротству потре-

бителя и плановика. Новую продукцию включают в объем национального дохода уже в момент окончания производства, независимо от того, будет ли она вывезена, продана, принята, смонтирована, отвечает ли она потребностям с точки зрения качества, функциональности, конструкции. Бухгалтерски наш доход растет, а в действительности, в общественном процессе воспроизводства, растут диспропорции, и чуть не каждое звено этого процесса становится узким местом. Происходит колоссальное расточительство: огромные количества труда общества остаются без социального оправдания, а значит, не могут превратиться в стоимость. Однако догма о непосредственно общественном труде продолжает держать своих приверженцев в убеждении, что центральный план способен *ex ante* распределить труд общества на различные потребности так, что этот труд немедленно найдет социальное оправдание.

Конечно, вера горами двигает, но противоречий не устраняет. Противоречие между посылкой о непосредственно общественном характере решений центрального плана и косвенным способом реального социального оправдания общественного характера труда является в этой системе — назовем этот так — первым фундаментальным противоречием социализма. Главный противник центрального плановика в рамках этого противоречия — потребители, т. е. население.

Обобществление средств производства

Вернемся к тому моменту, когда родилось убеждение, будто труд в новой системе может найти социальное подтверждение уже тем, что он предпринят. Откуда взялась такая бессмыслица? Маркс утверждал, что это наступит с момента и вследствие обобществле-

ния средств производства. Он считал, что косвенно общественный характер труда вытекает из частной собственности на средства производства, а не из общественного разделения труда. Маркс верил даже — что уж полнейшая фантазия, — будто с обобществлением средств производства разделение труда исчезнет само собой.

Следовательно, надо произвести обобществление средств производства, ибо именно тогда общество в лице центрального плановика обретет магическую силу самоподтверждения своего труда. Этот постулат, согласно обычаю, следовало подкрепить тезисом, из которого вытекала бы теоретическая и историческая необходимость. Такой тезис был сформулирован следующим образом: в капитализме возникает противоречие между общественным характером производства и частным характером собственности на средства производства. Это так называемое фундаментальное противоречие капитализма. Противоречие это надо преодолеть унификацией уровня обобществления в обеих частях данной системы. Поскольку нельзя лишить процесс производства его общественного характера — надо обобществить собственность на средства производства.

Этот завет был воплощен в жизнь установлением общегосударственной собственности на средства производства — в этом виде система у нас и действует. Но уже в самом теоретическом рассуждении заключена принципиальная ошибка, умноженная воплощением в практику. Обобществление процесса производства, один этап которого был замечен нашим мудрецом из Трира, нельзя считать родовой категорией, т. е. чем-то таким, что либо существует, либо нет, — это не категория рода, но категория степени. Производственный процесс на фабрике XIX века был обобществлен больше, чем в средневековой мастерской цехового ремесленника, но, несмотря на этот прогресс, он не вы-

шел за рамки предприятия. С тех пор обобществление процесса производства еще прогрессировало, что выразилось в росте средних размеров производственного предприятия и в расширении сферы разделения труда, но всё это по-прежнему происходит на этапе предприятия! Значит, приспособливание уровня обобществления собственности к уровню обобществления процесса производства — если оно должно давать эффективность — не может выйти за рамки предприятия. Следует искать такую форму собственности, или производственных отношений, которая отвечала бы развитию производительных сил на уровне предприятия. А что же было сделано? В сфере собственности перепрыгнули этап предприятия и вступили сразу на наивысший: общегосударственной собственности. Возникло новое несоответствие: общегосударственная собственность на средства производства не приспособлена к характеру процесса производства на уровне предприятий, и это порождает новое противоречие, которое можно назвать вторым фундаментальным противоречием социализма.

Это противоречие, которое воплощается в одновременном существовании центрального плана как субъекта общегосударственной собственности на средства производства и предприятий как субъектов, организуемых реальные формы производственных процессов, — наполняет собою значительную часть функционирования этой системы. Между этими двумя полюсами идет неустанная война кто — кого, а цену этой войны платит вся экономика. Хозяйственная машина, правда, крутится, но весь механизм скрежещет, трещит и запинается. Центральный план направляет основную часть своих усилий на борьбу с предприятиями, стараясь подчинить их своим приказам, ограничить их самостоятельность, сломать барьеры, составляющие их специфику, ослабить их т. н. горизонтальные взаимозависимости в пользу зависимости вер-

тикальной, овладеть их информацией о производственном процессе, слить их в единое целое со всей экономикой, исключить экономические мотивировки из тех, которыми они руководствуются. Предприятия, в свою очередь, борются с центральным планом, обходят его приказы и запреты, скрывают т. н. резервы, создают неофициальную сеть связей — целое экономическое подполье, руководствующееся своеобразными экономическими критериями и стимулами, противоречащими центральному плану.

Этапы этой борьбы отмечены вехами очередных попыток реформ «системы планирования и управления» и очередного их ограничения, а результат этой борьбы — совершенно извращенное хозяйствование на предприятиях, где правильный экономический расчет при таких параметрах и ограничениях становится невозможным. Однако центральный плановик в своей войне с предприятиями не останавливается на позиционных боях. Он пытается выиграть битву путем своеобразного разрешения второго фундаментального противоречия, а именно: путем ускорения обобществления производственного процесса. С этой целью создаются всё более крупные предприятия, сливаются меньшие, всё большее число решений принимается на всё более высоких ступеньках объединений и комбинатов — и всё для того, чтобы легче было управлять со ступеньки центрального плана, т. е. осуществлять общегосударственный характер собственности. При этом неважно, что всё происходит за счет экономической эффективности, создается искусственно и рвет естественные связи, что в этом процессе растет непомерное бремя бюрократического аппарата.

В последнее время примером такого ускорения была ликвидация мелкой промышленности и инкорпорация ее предприятий в так называемый «ключ». Это натворило много вреда на рынке, увеличило и без того резкое неравновесие в сотнях ассортиментов, умень-

шило эффективность труда тысяч людей. Лишь несколько дней назад, под влиянием углубляющегося кризиса, были замечены достоинства и необходимость малых предприятий и дан обратный ход этой политике. Но это лишь временное тактическое отступление, тогда как предыдущее решение — элемент долгосрочной стратегии. Смысл этой стратегии в том, чтобы «прогрессивный» этап социальных отношений, выражающийся в общегосударственной собственности на средства производства, ускорил «отстающее» развитие производительных сил, приводя к выходу за рамки отдельных предприятий и к воплощению мечты об одной большой фабрике на всю страну, а может быть, и на весь мир. Но замысел этот означает полную перемену ролей в предшествующем процессе социального развития, где как раз развитие производительных сил должно было стимулировать развитие производственных отношений, всегда склонное к отставанию. И это разделение ролей было логичным. Ожидать же, что роль демиурга истории переймет теперь общегосударственная собственность и потянет за собой производственный процесс, — все равно, что ставит телегу впереди коня: упорством добьешься только того, что конь падет, а телега разлетится в щепки.

Таким образом, центральный плановик ведет свою войну на два фронта: против населения, выступающего в роли потребителей, и против предприятий. Поэтому он внимательно следит, чтобы оба его противника не объединились и не начали действовать в общих интересах, а это могло бы произойти на рынке. Для этого центральный плановик отгородил на рынке производителей от потребителей системой двойных цен: т. н. себестоимости и цены сбыта. Разумеется, это порождает невероятное расточительство и приводит к разрыву элементарных связей между производителями и потребителями, отношения которых в этой

системе лучше всего характеризуются лозунгом: наш клиент — наш враг. В то же время, не допуская поступления сигналов от потребителей к производителям и обратно, этот метод гарантирует центральному планировщику сохранение его власти.

Производительный и непроизводительный труд

Вернемся еще раз к проблеме стоимости. Согласно доктрине, источник стоимости — труд, но не всякий, а только т. н. производительный. Маркс сохранил здесь давнее различие, проведенное физиократами и Адамом Смитом, а продолжатели перенесли его в эпоху, где оно стало анахронизмом. При этом, со свойственной им склонностью к упрощениям, они заменили довольно софистский Марксов критерий производительного труда представлением, основанном на примитивном материализме. У Маркса производительным является тот труд, который создает прибавочную стоимость, хоть бы это был труд приводимого в пример учителя, занятого в предприятии просвещения. У современных же марксистов производителем только тот труд, который преобразует материю. Это регресс к представлениям физиократов. И вот такое представление определило всю экономическую структуру стран, подчиненных доктрине. Цепочка выводов была следующей:

Поскольку национальный доход — это вновь созданная стоимость, а стоимость создается производительным трудом, значит, национальный доход создается производительным трудом и ничем больше. А поскольку мы стремимся к увеличению национального дохода как фонда общественного воспроизводства, следует увеличивать в общественном разделении труда долю труда производительного. Чтобы достичь этого, следует расширять отрасли производительного труда

и лучше платить людям, занятым в этих отраслях. Эта лучшая оплата труда, к тому же, обоснована, поскольку тот, кто работает непроизводительно и не создает стоимости, живет, в общем-то, на счет труда работающих производительно, и оплата его труда — результат перераспределения национального дохода. При наличии таких предпосылок достаточно провести произвольную демаркационную линию между производительным и непроизводительным трудом, создавая устойчивые диспропорции в экономической структуре и кричащие несправедливости в системе зарплаты.

Сохраняющееся в нашей экономике отставание сферы услуг и дискриминации в сетке зарплат работников этой сферы, включая профессиональные группы такой высокой социальной значимости, как врачи и учителя, — прямое следствие верности духу и букве доктрины. Социальный и экономический ущерб такого положения дел столь очевиден и столько раз был заклеямен, что мы воздержимся от дальнейших рассуждений на эту тему.

Проведение экономического расчета «без вмешательства стоимости»

В трудах классиков найдешь десятки примеров их отрицательного отношения к стоимости как таковой, к стоимости как общей форме и мере вещей в экономическом процессе. Даже декларация о том, что стоимость порождается трудом, была недостаточной, чтобы стоимость облагородить и дать ей гражданство в новой системе. Маркс неоднократно говорит о «мистицизме мира товаров», т. е. вещей, выражаемых стоимостью, а Энгельс прямо предсказывает, что стоит обществу овладеть средствами производства и применить их непосредственно общественным образом, как люди будут улаживать всё в высшей степени

просто, без вмешательства пресловутой «стоимости». Эта маниакальная неприязнь к стоимости перешла на инструмент ее измерения, на деньги. В первый период новой власти, в эпоху т. н. военного коммунизма, пытались даже отменить деньги, позднее этот эксперимент еще несколько раз повторялся, частично на Кубе, недавно — в Камбодже, всегда с горестными результатами. Однако, несмотря на неудачу «улаживания всего в высшей степени просто», отрицательное отношение к стоимости и деньгам осталось, и его клеймом по-прежнему отмечена повседневная экономическая практика режима. Это проявляется в ее ключевом вопросе — в экономическом расчете, который должен давать послышки для выбора направлений и методов производства.

Как сказано выше, предприятия, сдавленные стальным корсетом приказов и запретов центрального плана, не могут совершать экономический выбор, т. е. экономический расчет здесь беспредметен. Тяжесть выбора и производства расчета для всей экономики переносится на центрального плановика, ибо он распределяет труд для создания различной продукции. Но именно тут он совершенно беспомощен. Атрибут превращения труда в непосредственно общественный, атрибут, приписанный себе центральным плановиком, обладает политико-пропагандистской ценностью и может использоваться вовне. Но внутри, в конкретном планировании, он ничего не решает и экономического расчета не заменит.

Центральный плановик мог бы произвести макроэкономический расчет в категориях стоимости, но для этого надо иметь настоящие цены. Таких цен нет, ибо, как ясно из вышесказанного, цены — вследствие того, что теория стоимости опирается на труд, — в лучшем случае могут учесть соотношения затрат труда, т. е. сторону расходов и предложения, но никак не сторону потребления и спроса с ее соотношениями дефицита.

К тому же, если бы такие цены и существовали, центральный плановик не смог бы в них производить расчет, ибо это означало бы его отчуждение, подчинение «мистическому», косвенному подтверждению его решений — косвенному, ибо происходящему в категориях стоимости. А этого доктрина не допускает.

Остается производить т. н. прямой экономический расчет, т. е. расчет в натуральных единицах. Плановик сравнивает, что больше «окупится» (слово неподходящее — кто и чем тут будет «окупать?»): построить одну мартеновскую печь или 200 тысяч квартир, использовать труд тысячи людей и двух машин или трехсот людей и десяти машин. Так он сравнивает несравнимое, а поскольку таких естественных альтернатив тысячи, то он не может свести их к одному знаменателю и, вследствие этого, даже для себя самого определить, что он хотел бы максимализировать (в ученом языке математического программирования это называется функцией цели). В конечном счете, решения центрального плановика опираются на интуицию и на несколько общих приоритетов, не выражимых количественно; в деталях (а деталей этих — десятки тысяч) его решения случайны, и говорить в применении к ним об оптимальности — такая же апологетическая чепуха, как выносить суждения о непосредственном подтверждении необходимого труда.

Надо осознать элементарную истину: проведение прямого расчета — попросту *contraditio in adjecto*, т. е. противоречие между понятием и приданным ему эпитетом. Это типичное складывание полрябчика и поллошади. Экономического расчета нет вне сферы стоимости, т. е. вне языка цен. Если нет рынка, который доставил бы эти цены, то надо придать вещам вес, или оценки, вытекающие из соотношений дефицита, и производить расчет в этих оценках. Но тогда придется подчиниться дисциплине, т. е. отказаться от сверхъ-

естественной роли демиурга непосредственно общественного труда.

Деньги не являются всеобщим эквивалентом товаров

Чтобы быть доступным внешнему контролю, расчет должен производиться в денежном выражении. Деньги в нашей системе сохранились, но в форме фрагментарной и функциях извращенных, меняющихся в зависимости от сферы действия. Одну функцию деньги выполняют в операциях центрального планирования, другую — в обороте между предприятиями, третью — на рынке товаров, приобретаемых населением. Однако во всех этих трех сферах неполноценность денег состоит в том, что они перестали быть всеобщим эквивалентом товаров. Центральный плановик применяет деньги как расчетную единицу, которая служит для учета и баланса. Остается тайной, как можно производить учет в единицах, имеющих разное измерение в разных записях. Но не это самое главное. Куда важнее проблемы, возникающие при составлении баланса, т. е. уравнивания различных единиц спроса и предложения. Поскольку нельзя полностью бежать от стоимости, центральный плановик вынужден составлять т. н. синтетический, т. е. денежный, баланс. Тут-то и наступает месть за то, что деньги лишены роли всеобщего эквивалента товаров. Балансы, составляемые в таких деньгах, попросту фиктивны: выравнивание спроса и предложения, рассчитываемое в деньгах, не соответствует равновесию в реальных потоках товаров и услуг. Самые яркие примеры тому мы встречаем в области капиталовложений. Тут мы читаем, что на те или иные нужды уже вложены достаточные средства (финансовые), но отсутствуют т. н. производственные мощности. Разумеется, с экономической

точки зрения такая ситуация абсурдна, а словесное ее выражение внутренне противоречиво.

В сфере оборота между государственными предприятиями проявляется другой порок неполноценных денег. Хотя этот оборот совершается в порядке купли-продажи, т. е. вроде бы за деньги, центральный плановик, тем не менее, бдительно следит, чтобы, не дай Бог, передвижения эти «учетных» денег не определили реальных передвижений, чтобы, например, накопившиеся в предприятиях деньги не стали капиталом или эффективным инструментом спроса. Деньги должны сохранять полную пассивность. Забота о ее сохранении ясно проявилась в очередных ограничениях последней реформы, создававшей производственные объединения. Разумеется, предприятия борются против этого — еще один участок войны между ними и центральным плановиком.

Зато на рынке продуктов потребления и услуг для населения деньги являются необходимым условием реализации принятого распределения т. н. стандартных товаров и услуг, входящих в «корзину» существующего предложения. Поскольку их цены чаще всего далеки от равновесия спроса и предложения, а предложение на это не реагирует, — деньги неизбежно перестают быть просто средством обмена. Мы медленно соскальзываем к состоянию экономики натурального обмена, в которой товары и услуги обмениваются на другие товары и услуги без участия денег или только с их дополнительным участием. Фокус, однако, в том, что нашу т. н. рабочую силу мы продаем основному работодателю — государству — как раз за эти, всё более неполноценные деньги. А единственное средство привести к эквивалентности в этом обмене — ограничение наших усилий, т. е. производительности труда, что приводит к новым потерям, от которых все мы страдаем.

Неадекватность денежной оценки труда и сужение сферы функционирования денег вызывают особенно заметные потери, когда происходит конфронтация отечественного труда с зарубежным — то, что называется международным обменом. Трудность состоит в том, что власть центрального плановика не распространяется за границы страны и не может навязать за границе своих норм общественно необходимых затрат — как относительно направления, так и уровня окупаемости расходов. В международном обмене центральный плановик оказывается в положении обычного рыночного контрагента. Чтобы в этом положении действовать рационально, надо производить точный экономический расчет, надо знать, что нам во сколько обходится и какую прибыль мы получаем. При нашем денежно-ценовом хаосе определить это невозможно, поэтому нельзя осмысленно указать, что мы должны покупать и что продавать. В таких условиях внешняя торговля вместо того, чтобы обогащать страну, становится еще одной территорией колоссальных растрат и расточительства нашего труда. Так что не приходится удивляться, что, вступив на путь более широкого обмена с рыночной экономикой Запада, мы обзавелись дополнительными неприятностями и после начального периода изобилия оказались в ситуации, когда груз задолженности намного перевешивает выгоды от кредитов. Груз многих миллиардов долга — еще одно доказательство и следствие низкой эффективности системы, основные истоки которой следует искать в доктрине.

Ложная доктрина

Целью моих рассуждений до сих пор было указать доктринальные причины неудач экономической практики. Но из этих неудач практики следует также сле-

лать выводы относительно самой доктрины. По правилам логики, ложный вывод безошибочно свидетельствует о ложности посылки. Если тысяча позитивных экспериментов еще не подтверждает верности теории — один-единственный негативный доказывает ее ложность. В нашем случае пропорции обратны. Остается лишь сказать это вслух: доктрина является ложной.

Заключение

Такова наша система экономики. Построенная на неверной экономической теории, ставящая себе неисполнимые задачи, использующая нерациональные методы и толкающая нас ко всё большему социальным затратам. Можно ли исправить такую систему? Из всего сказанного выше ясно, что шансов на это нет. Ее пороки — в ее конструктивных принципах. К тому же, сколько раз уже ее ни пытались чинить, она всегда возвращалась в то же русло и проявляла те же дефекты.

В новейших инструкциях о качестве товаров сказано, что, если какой-либо приобретенный предмет, несмотря на многократные починки, по-прежнему обнаруживает пороки функционирования, покупатель имеет права потребовать его обмена на другой. Мы должны обратиться к Господу Богу или к Истории, чтобы они применили эту инструкцию и в этом вопросе.

В условиях описанной экономики мы живем уже несколько десятков лет. Если повседневно мы не так остро видим все это, если не ассоциируем возмутительный повседневный опыт с фундаментальными

принципами системы, то лишь потому, что мы к ней привыкли, выработали внутренние самозащитные реакции, строим себе наши маленькие энклавы частной экономической рациональности, находим помощь на некоторых участках экономики, где доктрина еще не полностью взяла власть, иногда уходим во внутреннюю эмиграцию, а иногда — даже в экономическое подполье.

Но, помимо всего этого, нас защищает еще наша европейская культура, наша христианская мораль и наша национальная история. Последним нашим оружием может стать свободное и независимое размышление и анализ. Согласно принципу: я мыслю, следовательно, я... СВОБОДЕН.

Варшава, 30. IV. — 3. V. 1979

КУРОВСКИЙ Стефан — родился в Варшаве в 1923 г. Во время войны жил в провинции, где окончил среднюю школу. Изучал философию и экономику в только что созданном Лодзинском университете, окончил его в 1949 г. Учась в университете, ради заработка работал в текстильной промышленности и после окончания стал сотрудником Министерства легкой промышленности. За выдающиеся способности, он был, несмотря на «неблагонадежность», переведен в Комиссию экономического планирования (соответствует Госплану), но в 1951 году уволен оттуда. Работал в НИИ строительства, а затем долгое время в Институте экономических наук ПАН, пока партия не закрыла этот институт. За время работы в нем Куровский защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В настоящее время работает в Институте географии ПАН. Многочисленные работы Куровского (несколько книг, сотни статей, ряд исследований) посвящены широкому кругу экономических, социальных и политических проблем, а также социологии науки, градостроительству и архитектуре.

CHALIDZE — PUBLICATIONS

505 Eight Avenue
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н. Хрущев. *Воспоминания*. Впервые по-русски. Карманный формат, 12.00 долл., 300 страниц.

В книгу вошли многие важные фрагменты об истории СССР из известных воспоминаний Хрущева, опубликованные ранее по-английски.

Коран. Перевод Крачковского. Карманный формат. 20.00 долл.

Пакты о правах человека. Карманный формат. 5.00 долл.

Н. Евреинов. *История телесных наказаний в России*. Переиздано с книги 1906 г. 15.00 долл.

Единственное исследование такого характера, иллюстрированное репродукциями с малоизвестных картин и гравюр.

Н. Валентинов. *Встречи с Лениным*. Карманный формат. 12.00 долл.

В. Чалидзе. *Иностранец в СССР. Юридическая памятка*. Карманный формат, 100 стр., 6.00 долл.

Написанная В. Чалидзе памятка содержит изложение правил поведения иностранцев в СССР и советы, как иностранец может помочь свободомыслящим. Русское издание этой книги важно, т. к. иностранцы в СССР и за рубежом часто обращаются к русским друзьям за советами. В приложении к книге даны списки адресов посольств в Москве, адресов корреспондентских контор в Москве, кодов дипломатических машин в СССР.

Законодательство о религии в СССР, 200 стр., 9.00 долл.

Сокращенное издание книги, изданной в СССР «Для служебного пользования». Эта книга необходима правозащитникам и религиозным активистам в СССР, равно как и всем, кто изучает положение религии в СССР. В книге опубликованы документы, многие из которых власти СССР не осмеливаются опубликовать открыто.

П. Гарви. *Профессиональные союзы в России после революции*. 7.50 долл.

Ценный обзор истории независимых профсоюзов в 1917—1921 гг. с рассказом о том, как большевики подчинили себе профсоюзы в России.

Пожалуйста, пришлите чек или мони-ордер с вашим заказом.

В этом случае пересылка книг будет произведена за счет издательства.

Книготорговцам — скидка 40%.

Спорт и политика

Эммануил Штейн

ШАХМАТНЫЕ НОСОРОГИ

Перестановке фигур на черно-белых полях шахматной доски вот уже две тысячи лет аккомпанирует стук этих копытных: королевская игра на века, навсегда связана с носорогами. Испуская не самые утонченные запахи, обнюхивают млекопитающие шахматный реквизит, обрызгивают своей слюной игроков. Так было, так есть, а будет ли — увидим.

Некоторым великим носорогам, по иронии судьбы не попавшим в панургово стадо подобных себе особей, удалось как-то разнообразить шахматную историю, придать ей налет определенной пикантности, создать, пусть и сумасбродную, но все же шкалу критериев и оценок. Филипп Второй при своем мадридском дворе устроил в 1575 году, пожалуй, первый международный турнир. Правда, таблицу этого состязания он перекроил на свой носорожий лад. Величайший шахматист того времени, сиракузец Паоло Бои, сломил сопротивление Леонардо, но последнего все-таки объявили победителем... по носорожьему решению короля.

Диктатор Польши, маршал Пилсудский, был большим докой по части всяческих военных штучек, в святые чуть даже не попал, совершив на берегах Вислы «чудо», но с шахматами, вот, у него были постоянные нелады: не то что бы не охватывал он притягательной силы игры, нет, просто мания реформаторства толкала его на уничтожение существующих канонов, конечно же, во вред шахматистам и их искусству.

В 1927 году в Варшаве Давид Пшепюрка (читатель, запомни это имя) организовал крупный международный турнир. На открытие сражения он пригласил и всесильного Пилсудского. Продавший к тому времени на развитие национальной шахматной культуры четыре своих дома, Д. Пшепюрка установил целый ряд призов, оставив, однако, одну «вакансию» — награду за самую красивую партию соревнования. Желая прослыть шахматным либералом, маршал брякнул: «За красоту дам 2000 злотых!» Участники турнира, организаторы и зрители, ошарашенные грандиозностью суммы, застыли в немом оцепенении. Придя в себя, Д. Пшепюрка робко стал возражать хозяину страны, что общий-де наградной фонд турнира значительно уступает одному только призу за красоту, что, в свою очередь, изменит характер борьбы, что шахматному празднику не бывать, что стратегию и тактику заменит показуха. С металлом в голосе Пилсудский резюмировал: «Две тысячи и ни гроша меньше!»

А в состязании с большим отрывом, легко и заслуженно, победил легендарный Акиба Рубинштейн. Последнее место не менее заслуженно досталось Казимиру Макарчику, который в последнем туре красиво обыграл триумфатора турнира, завоевав не только первое очко, но и эти пилсудские две тысячи. Цветочки на носорожьем пастбище изменили тогда суть творческого процесса шахматистов.

Носорожье племя не оставило Давида Пшепюрку в покое и после его смерти (замечательный мастер погиб в освенцимском крематории). В 1950 году наивные поляки провели в Щавно-Здруе турнир памяти своего первого чемпиона, пригласив на это спортивное торжество советских коллег. Те вскоре узнали, что погибший шахматист был состоятельным человеком и посему посмертно нарекли его «капиталистом». Советский Союз запретил Народной Польше восхвалять богатеев, и с тех пор турниры памяти Давида Пше-

пюрки упразднили. На пастбище начали появляться первые ягоды...

В период своей политической агонии Владислав Гомулка, экс-первый секретарь ЦК ПОРП, выступая 19 марта 1968 года перед партактивом столицы, почти насмерть забодал рогами ведущего шахматиста Польши, Януша Шпотанского, автора сатирической поэмы «Тихие и гусаки, или бал у президента». Поэта-шахматиста бросили за решетку, а Гомулка, стуча копытами и испуская пену, вопил: «Сутенер! Человек с психикой сутенера!». Вожаки носорожьих семей зашевелились...

Когда Аркадий Белинков убедительно доказал, что советский дурак значительно лучше «американского, французского, голландского, мадагаскарского», я полагал, что критик прав лишь в отношении псевдоинтеллектуалов, которым высшие соображения не позволяют быть умными; в случае же шахматных писателей аксиома Белинкова не срабатывает — ведь сама природа коллизий двух армий не приемлет дурачества. В таком розовом заблуждении пребывал я вплоть до принятия меня в члены группы «А» «АИРЕ».

Смущаться этой аббревиатуре не следует, она имеет прямое отношение к древнему искусству: четыре латинские буквы обозначают Международную федерацию журналистов, пишущих на шахматные темы. Существует этот союз людей пера четырнадцать лет, однако мы вправе уже ставить тривиальный вопрос нашей современности — «А до какого года просуществует федерация?» Однозначно на это вопрошение можно ответить, лишь используя название известной американской кинокомедии «Русские идут!!!» (Увы, с тремя восклицательными знаками).

Однако по порядку. «АИРЕ» — аполитичная организация. Главным критерием членства в ней служит преданность шахматным матадорам и качество написанного о них. Кандидат в члены этого содружества

предлагает особому жюри ряд своих публикаций, на основе которых и определяется: быть журналисту членом группы «А» или «Б» федерации. Принадлежность к группе «А» не только дает право присуждать шахматный Оскар лучшему гроссмейстеру года, но это и наивысшее отличие журналиста. Принятый в «АІРЕ» должен платить членские взносы в конвертируемых знаках и служить шахматной богине Каиссе.

В рядах федерации находятся журналисты из некоторых стран так называемой народной демократии, но до 1-го января текущего года в «АІРЕ» не было советских шахматных обозревателей. Прием в федерацию им был закрыт не потому, что ими ведется кампания бойкота против второго шахматиста мира Корчного, не потому, что они молчаливо одобрили расправу над сыном претендента, не потому, что не заступились за «живых трупов» Гулько и Ахшарумову, не потому, наконец, что, вопреки девизу ФИДЕ «Gens una sumus» («Мы одна семья»), призывали к бойкоту Хайфской олимпиады.

Все намного, намного проще. До сих пор советская сторона не желала предоставлять руководству «АІРЕ» адресов будущих советских членов федерации и к тому же утверждала, что рубль значимее американского доллара. С подобным мнением «АІРЕ» почему-то не могла согласиться, быть может, из-за того, что валютная истина все-таки превыше всего. В год олимпийских свершений советский шахматный «ареопаг» — шахматная федерация СССР — решила все же раскошелиться.

В канун 1980 года Президент «АІРЕ», С. Новруп, получил из СССР письмо следующего содержания:

«Дорогой г-н Новруп!

Я хочу сообщить Вам, что шахматная федерация СССР приняла решение о введении нескольких ведущих журналистов СССР в Международную феде-

рацию, которую Вы представляете, в качестве членов группы «А», начиная с 1-го января 1980 года. В соответствии с правилами, наши журналисты направят Вам анкеты и список своих публикаций. Их членство будет оплачено шахматной федерацией СССР. Благодарю Вас за присылку Вашего информационного журнала «Новости 'AIRE'».

В. Батуринский,
Вице-президент.»

(обратный перевод с английского).

Адресат так прокомментировал в печати это послание:

«Главная проблема «AIRE» наконец-то разрешена. Советские журналисты влились в работу нашей федерации и их ЧЛЕНСТВО ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ТВЕРДОЙ ВАЛЮТЕ (выделено мной. — Э. Ш.). Это событие самое счастливое в Новом Году. Милости просим, советские журналисты!»

Носорожье стадо заревело от восторга... Теперь уж все пошло вместе: и табачок, и денюжки...

В ряды свободных пока журналистов влились пять москвичей — Авербах, Флор, Котов, Рошаль, Нейштадт; два рижанина — Таль и Гипслис и тбилисец Т. Георгадзе. «Отличная восьмерка»? Кто бросит камень в их писания? Спору нет — пишут лихо, складно, обтекаемо. Но почему-то квалификационная комиссия «AIRE» не удосужилась, например, сопоставить изданную в 1972 году в Варшаве Станиславом Гавликовским книгу «Шахматные олимпиады» с книгой, увидевшей свет два года спустя в Москве. Её «авторы» Авербах и Туров воспользовались и польским заглавием, и кое-чем иным...

Каждый шахматный журналист обязан «милость к падшим» призывать, помогать поверженным рыца-

рям черно-белого квадрата. Святую эту заповедь Рошаль интерпретирует строго по-советски. В «Советской России» от 27 апреля сего года он писал о фельденском матче Петросяна с Корчным: «Вошедшие в поговорку короткие бесцветные ничьи, экономия сил в турнирах до последнего момента, когда сами обстоятельства заставляют бороться по-настоящему, — все это, к сожалению, слишком очевидно в некогда самобытном творчестве Т. Петросяна... Четвертьфинальный матч претендентов Т. Петросян проиграл гроссмейстеру, не превосходящему его по масштабу дарования...» «Донос», — zareагирует умудренный жизнью советский читатель, но «эйайпийским» толстокожим не до таких тонкостей.

Итак, под прикрытием афганской дымовой завесы копытные протащили СССР и в «AIPE», и начался топот, и понеслась свистопляска. Не задумываясь, бросился я в гущу стада — а вдруг можно что-то спасти от уничтожения, а вдруг сохранились еще остатки разума, а вдруг не поблекла комбинация, а что, если можно рокироваться, пусть и в короткую сторону, а что, если жив еще ход! Так возник текст моего письма Президенту С. Новрупу, копии которого я разослал Джорди Пурги, Почетному Президенту «AIPE»; Ларсу Грану, секретарю федерации; Тьербору Розелунду, редактору «Шахматных новостей «AIPE»». Отправил это письмо и в самое носорожное издание Запада — в американский «Чез лайф» с единственным «прозаическим» желанием — помешать спячке животных. Кстати, если бы на титульном листе «Чез лайф» тиснуть призыв основоположников к пролетариям всего мира, быть бы журналу прекрасным шахматным органом этаккой Американской социалистической республики. Вот мое письмо:

«Господин Президент!

В первом номере «Шахматных новостей 'AIPE'»

за этот год Вы с радостью оповестили шахматных журналистов, что их дружная семья пополнилась: преодолев самую трудную преграду, оплату членства в конвертируемых знаках, советские обозреватели влились в ряды «АІРЕ». Событие это, бесспорно, вызывает всеобщее возбуждение, поскольку неоценим вклад шахматистов великой страны в развитие древнего искусства: бесценны, например, их неустанные поиски по модернизации славянской защиты и русской партии, которые, к счастью, не имеют ничего общего с «чешским вариантом 1968 года» или с нынешней «афганской атакой».

Сердечное русское «Милости просим!» — реакция на волнующее событие. Однако, открыв настежь дверь своего Дома, мы, как мне кажется, по старинному русскому обычаю вправе спросить: «А чей ты родом, откуда ты?» Возможно, предвидя это, Александр Рошаль в выступлении на съезде членов «АІРЕ» в шведском городе Скара 25 декабря 1979 года торжественно заверил, что шахматная федерация СССР будет тесно сотрудничать с «АІРЕ» и ее членами.

Надеюсь, что обмен информацией, обещанный нам А. Рошалем, разрешит, наконец, ряд проблем, которые беспокоят многочисленных энтузиастов шахмат. Представляется, что было бы крайне своевременным, если бы Вы, господин Президент, используя свой высокий авторитет, способствовали прояснению белых пятен новейшей истории, тем более, что за историей стоят (стояли?) люди.

В сталинские годы в СССР пропал В. Петров, блестящий победитель в Кемери. Гибель шахматиста забыта — «Архипелаг ГУЛаг» списал все, но когда в либеральные времена отцветающего детанта из списка живых исчезают сразу два чемпиона страны — это вызывает крайнюю озабоченность. Я говорю об одном из победителей чемпионата СССР 1977 го-

да, гроссмейстере Гулько и его жене, международном мастере Ахшарумовой.

Мне могут возразить, что они-де принимают активное участие в шахматной жизни своей страны, что якобы видно из нового рейтинга ФИДЕ, в котором у Гулько довольно высокий коэффициент (2590). Согласно же 26-му номеру «Информатора», Ахшарумова с коэффициентом 2275 занимает 26-е место в женских шахматах.

В № 27 «64-х» за 5-11 июля прошлого года были опубликованы индивидуальные коэффициенты всех советских шахматистов как среди мужчин, так и среди женщин. В обоих списках отсутствовали фамилии Гулько и Ахшарумовой. Замечу, что за полгода до этой публикации Гулько завоевал серебряную медаль на олимпиаде в Буэнос-Айресе. Быть может, шахматная чета поменяла профессию? Быть может, совершенствуется сейчас в игре в городки? Быть может, готовится к совместному полету в космос? Это «быть может», скорее всего, носило бы оттенок надежды, если бы не верил я в беспристрастность и правдивость устного народного творчества. Недаром в популярной в СССР частушке сейчас поется:

*«Нам играть теперь легко,
Нет Корчного и Гулько...»*

Где Корчной — известно, знаем мы, что на Западе супруги Гулько не появлялись, да и в Советском Союзе, как явствует из «64-х», их нет. Вывод из этих двух логических посылок, увы, слишком ясен. Я надеюсь, господин Президент, что Вам удастся получить от новых членов «АИРЕ» ответ на вопрос — «Какова причина исчезновения шахматных чемпионов?» Если же советская группа журналистов промолчит, Вы, как я полагаю, будете способствовать

проведению в самое ближайшее время мемориала Гулько и Ахшарумовой. Тут хочу подчеркнуть свое несогласие с Виктором Корчным, который предлагает пригласить на это соревнование... останки супругов; поясню — пока я все еще за проведение турнира, а не за похоронную процессию.

Двукратная победительница первенств СССР среди женщин Ирина Левитина, к счастью, пока жива, однако, её спортивно-творческая судьба продолжает оставаться загадочной. На межзональный турнир в Рио-де-Жанейро вход ей был строжайше запрещен. Всяческие ссылки на ряд объективных причин, возможно, выглядели бы и убедительно, если бы в прошлом декабре ленинградка в Тбилиси с блеском не опередила бы великую грузинскую коалицию — Чибурданидзе, Гаприндашвили и Александрию. Боюсь, что соответствующие органы предпринимают попытки перевести Левитину в разряд «живых трупов». Если новые члены «АІРЕ» сумеют развеять наши опасения, шахматные болельщики мира вздохнут с облегчением.

Поскольку проблемы, затронутые мной, настолько животрепещущи, настолько важны для практического претворения в жизнь благородного девиза «*Gens una sumus*», я, господин Президент, позволил себе придать этому обращению форму открытого письма.

С глубоким уважением,

Э. Штейн — член группы «А» «АІРЕ»

После длительного ожидания я получил из Дании ответ Президента С. Новрупа:

«Дорогой господин Штейн.

Спасибо за Ваше письмо, которое не может быть опубликовано в «Шахматных новостях 'АІРЕ'», поскольку заняло бы слишком много места. Вы обра-

тились ко мне в форме открытого письма, естественно, Вы вправе опубликовать и мой ответ.

Я считаю, что участие советских журналистов в работе «АИРЕ» — факт большой значимости. В СССР насчитывается от 4-х до 5 миллионов шахматистов и многие шахматные события, происходящие в этой стране, представляют большой интерес для шахматных журналистов всего мира, вне зависимости от того, согласны ли они с советской политикой в других областях или нет. Особенно сейчас, после исчезновения (так в тексте. — Э. Ш.) прежнего журнала «64», для нас крайне важно иметь в своих рядах представителей СССР и получать от них информацию (Вы можете себе представить, читатель, какую можно получить информацию от гегиста Котова или доносчика Рошала? — Э. Ш.)

До сих пор у нас была лишь возможность получать информацию из СССР только от шахматной федерации страны, теперь же мы ее получим непосредственно от журналистов. Я должен подчеркнуть, что не только СССР платит членские взносы за своих журналистов. Несмотря на свои предыдущие требования, советская федерация вынуждена была согласиться с нашими условиями и предоставила нам полный список адресов членов «АИРЕ». Раньше нам предлагали, чтобы мы направляли свою информацию только в советскую шахматную федерацию, а та уже, в свою очередь, даст её избранным журналистам. Мы не могли согласиться с такой постановкой вопроса, как не согласились мы и с тем, чтобы советские журналисты принимали участие в плебисците Оскара, не будучи формально членами «АИРЕ».

«Шахматные новости 'АИРЕ'» не должны использоваться в политических целях. Это информационный орган, который должен содержать только информацию из самых разных мест, будь это такие «горячие», как Родезия и Южная Африка, не говоря

уже о других, бурлящих политическими страстями странах, включая и СССР. Придерживаясь этой политики, мы привлекли в нашу организацию около 50-ти различных государств из разных частей мира, представляющих широкий спектр политических систем и взглядов. Благодаря «АІРЕ» у каждого из нас есть адреса, используя которые, мы в состоянии получить нужную нам информацию.

В заключение я хочу подчеркнуть, что, благодаря «Шахматным новостям 'АІРЕ'» сообщения о Корчном, Альбурте и других шахматистах, некогда проживавших в СССР, стали проникать в Советский Союз, тем самым придавая им гласность.

Искренне Ваш,

С. Новруп

Р. С. Это письмо было утверждено руководством «АІРЕ», и длительная задержка отправления объясняется перебоями в работе почты.

Еще раз, искренне Ваш,

С. Новруп»

Ну, что тут скажешь? Ведь даже всамделишные носороги Родезии и те знают: страна их «остывает», называется теперь Зимбабве и, более того, уже принята в ФИДЕ, в ее 12-ю зону. Можно и даже нужно отметить эпохальную победу «АІРЕ» над советскими шахматными бюрократами (да простит меня федерация, что в знак такого торжества я все же не буду фигур бросать в воздух).

А как же Гулько, Ахшарумова, Левитина и тысячи менее известных шахматистов? О них президент Новруп стыдливо умалчивает, ведь принимает он участие в радостном процессе сплошной носорогизации. Владимир Максимов, подобно Аркадию Белинкову, услышал рокот земли под копытами приближающихся орд тяжеловесных животных. С отчаянием

обреченной, но не сдавшейся жертвы, он в июле 1978 года прокричал свое «SOS» — «Дорогу носорогам! Дорогу».

Как саранча, облепили копытные все магистрали мира, однако, есть еще надежда, что обочину спасти все же можно, что не уступим мы боковых, последних вертикалей «а» и «h», не уступим! Врожденный оптимизм пишущего тут ни при чем. Все силы старой Европы собрались для священной поддержки носорожьего племени, но появился же Пахман, Корчной, потом Альбурт, а только что стал невозвращенцем Игорь Иванов. Из России начали бежать ивановы... Берегитесь, носороги!

В поддержку русско-украинского Заявления «Континента»

Кронид Любарский, Галина Салова, Вадим Нечаяев, Виктор Некрасов, Владимир Марамзин, Виолетта Иверни, Василий Бетаки, Оскар Рабин, Александр Глезер, Кира Сапгир, Эрнст Неизвестный, Вадим Делоне, Владимир Аллой, Эдуард Кузнецов, Валерий Чалидзе, Павел Литвинов.

Заявление открыто для дальнейших подписей.

ИСТОКИ

Михаил Володарский

ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ

(К шестидесятилетию советско-иранских отношений)

18 мая 1980 г. исполнилось 60 лет со дня начала Энзелийской операции Красной Армии — первого вторжения советских войск на территорию Ирана.

Советский десант, состоявший из частей XI Красной Армии под командованием Ф. Ф. Раскольников и С. К. Орджоникидзе был высажен в порту Энзели с кораблей Каспийской военной флотилии и внезапно напал на дислоцированные в Энзели части английского экспедиционного корпуса и остатки отступивших на территорию Ирана армий ген. А. И. Деникина. Англичане и белые поспешно отступили из города, и красные оказались хозяевами Энзели и округа. Красное командование обратилось к населению Энзели и Гилянской провинции с воззванием, в котором указывало, что советская акция не преследует враждебных Ирану целей и целиком направлена против английских интервентов и их «белогвардейских пособников», которые превратили Гилян в плацдарм для всевозможных провокаций против советских республик. Помимо этого в воззвании было подчеркнуто, что англичане и деникинцы, отступая перед войсками Красной Армии, увезли в Иран ценное имущество, в том числе корабли Каспийской военной флотилии белых, которое принадлежит по праву советскому народу. Это имущество должно быть возвращено Советской России и другим советским республикам.

Вскоре подала голос и Москва. Наркоминдел направил МИДу Ирана ноту, в которой отмечалось, что, оказывается, Энзелийская военная операция была предпринята по инициативе военного командования Кавказского фронта «без распоряжения о том центрального Советского правительства» и что «о совершившихся в Энзели фактах Российское Советское Правительство было поставлено в известность лишь после того, как означенная операция была доведена до конца»¹.

В телеграмме, отправленной Ф. Ф. Раскольникову и С. К. Орджоникидзе, народный комиссар по иностранным делам Г. В. Чичерин потребовал, чтобы они «немедленно декларировали, что несмотря на присутствие русских частей власть в Энзели принадлежит Персии». Чичерин выдвинул неременное условие пребывания советских войск на иранской территории: чтобы они «ни под каким видом не выходили за пределы Энзели»².

Правительство Ирана, возглавляемое в то время Восугом од-Доуле, выразило Москве резкий протест и указало в своей телеграмме, что не существует таких причин, которые могли бы оправдать в глазах иранского народа этот откровенно агрессивный акт, совершенный правительством, которое публично осудило применение силы для решения международных споров и еще совсем недавно (летом 1919 г.) в обращении к иранскому народу торжественно провозгласило, что кладет в основу своих отношений с Ираном принципы равноправия и справедливости. Восуг од-Доуле сообщал советскому правительству, что он аннулирует свое недавнее (15. V.) обращение к Москве с предложе-

¹ Документы внешней политики СССР (далее — ДВП СССР), т. II, стр. 543.

² Цит. по: А. Н. Хейфец. Советская Россия и сопредельные страны Востока. 1918-1920 гг. М., «Наука», 1964, стр. 235.

нием нормализовать советско-иранские отношения. Одновременно Иран обратился к Лиге Наций с жалобой на Советскую Россию. Однако Лига Наций под влиянием Франции (какое завидное постоянство!!) заняла негативную позицию по отношению к жалобе Ирана, что предрешило отказ Лиги Наций вмешаться в советско-иранский спор. Ирану было заявлено, что у Лиги Наций нет собственных вооруженных сил, которые помогли бы ему вытеснить советские войска со своей территории, поэтому Ирану было рекомендовано решить все спорные вопросы в ходе непосредственных контактов с Москвой³.

Между тем 6 июня 1920 г. русские советские войска были выведены с территории Ирана, и Москва объявила инцидент исчерпанным⁴. Однако в действительности дело обстояло далеко не так, как его изображало советское руководство. Обстановка в Иране, и без того запутанная и сложная, из-за советского вооруженного вторжения стала еще более запутанной, на что неоднократно обращал внимание Г. В. Чичерина его иранский коллега принц Фируз⁵. Именно в этом усложнении и обострении внутривосточной обстановки в Иране и заключался подлинный смысл всей операции. Это подтверждается заявлением такого признанного авторитета в вопросах экспорта революции, как Карл Радек, который 10 июня 1920 г. писал в «Известиях»: «Русских войск в Иране нет... Но «русские» идеи, идеи коммунизма вторглись в Персию».

В самом деле, невозможно предположить, что советское руководство, принимая решение о вторжении в Иран вооруженным путем, руководствовалось стремлением вернуть советскому народу принадлежащее ему

³ R. Ramazani. The Foreign Policy of Iran. 1500-1941. Charlottesville, 1966, p. 151.

⁴ ДВП СССР, т. II, стр. 559, 580, 585.

⁵ ДВП СССР, т. II, стр. 580-581, 585-586.

имущество, которое состояло из нескольких старых волжских пароходов, наспех переделанных в годы гражданской войны в военные корабли. Столь же трудно поверить и в версию о чисто военной акции, предпринятой в целях пресечения антисоветских акций бежавших в Иран белогвардейцев и к тому же осуществленной «без распоряжения на то центрального Советского правительства». Слишком незначительны названные причины для того, чтобы Москва рискнула на акцию, отрицательный резонанс от которой не вызывал сомнения и последствия которой были трудно предсказуемы. Очевидно, Москва очень многого ожидала от вторжения в Иран, если решилась на шаг, который, без сомнения, грозил сильно подорвать ее авторитет в глазах азиатских народов. Ведь Ленин буквально заклинал своих соратников: «...дьявольски важно *завоевать* доверие туземцев; ...доказать, что мы не империалисты, что мы уклona в эту сторону не потерпим.

Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя, тут надо быть 1000 раз осторожным»⁶.

Ближайшей и подлинной целью советской интервенции, как это выяснилось тотчас же, было установление советского контроля над частью иранской территории и создание на этой территории просоветского марионеточного режима, который должен был стать средством давления на Тегеран в нужном для Москвы направлении. Не исключалось также, что при благоприятном стечении обстоятельств гилянский плацдарм послужит ядром Иранской Советской республики.

Высадка советского десанта в Энзели решительно изменила военно-политическую обстановку в Гиляне, который уже на протяжении нескольких лет был аре-

⁶ В. И. Ленин, ПСС, т. 53, стр. 190.

ной партизанских действий отрядов так называемых дженгелийцев (дженгель — лес) против иранских правительственных войск и английского экспедиционного корпуса. Руководитель дженгелийцев некий Кучек-хан — весьма одиозная и крайне неустойчивая личность, объявил Тегерану и англичанам чуть ли не священную войну. Внимание Москвы на Кучек-хана и его борцов за веру было обращено еще в феврале 1919 г. тогдашним, не признанным Тегераном, советским представителем в Иране И. Коломийцевым. Последний предлагал Чичерину свои услуги для установления личных контактов с Кучек-ханом, однако коллегия НКВД решила тогда ограничиться приветственным письмом на имя Кучек-хана, в котором выражала свое восхищение «по адресу его борьбы за независимость против англичан»⁷.

Захватив Энзели, советское командование немедленно направило Кучек-хану письмо, в котором сообщало ему, что население Энзели якобы просит красные войска не оставлять город и не допустить возвращения правительственных войск. Совершенно очевидно, что Раскольников и Орджоникидзе, имея на руках недвусмысленные указания Чичерина об эвакуации Энзели, искали лазейку, чтобы уходя остаться. Они предложили Кучек-хану лично встретиться и обсудить ситуацию. Встреча состоялась, по-видимому, 23 мая, ибо 24 мая в Москву ушла телеграмма, в которой Кучек-хан поздравлял Ленина и новую Россию по случаю «блестящих успехов, совершенных вами против врагов социалистического строя». Под телеграммой стояла подпись: «Председатель Персидской Социалистической Советской Республики, провозглашенной по дороге в Решт, Мирза Кучек»⁸.

⁷ Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (ЦГАОРСС), фонд 130, дело 178, л. 8.

⁸ Там же, фонд 130, дело 464, лл. 99, 102а.

Пока советские войска оставались на территории Ирана, Кучек-хан торопился оформить институты своей «провозглашенной по дороге в Решт» республики: были созданы Совет Народных Комиссаров, Революционный военный Совет, Иранская Красная Армия. Была обнародована и программа новой власти: борьба с монархией и установление в Иране республиканского строя, охрана личности и имущества всего населения, аннулирование неравноправных международных договоров Ирана, равноправие всех наций, охрана ислама, дружба с Советской Россией.

Вести из Гиляна вызвали в Москве взрыв восторга. Л. Троцкий немедленно телеграфировал Кучек-хану, что «известие об образовании Персидской Красной Армии наполнило наши сердца радостью»⁹, а через несколько недель он в новой телеграмме охарактеризовал гилянскую «революцию» как «часть мирового революционного процесса». Выходившая в Петрограде «Красная газета» 17 июня 1920 г. писала: «Образование Гилянской республики не сон, не выдумка, а факт, влияние которого вскоре будет ощутимо во всех странах Востока». В то же время никто не закрывал глаза ни на марионеточный характер созданного под охраной советских штыков просоветского режима в Гиляне, ни на то, что «ни о какой Советской власти в Персии и речи быть не может», как гласит телеграмма Орджоникидзе Ленину¹⁰. И, тем не менее, никто не ставил вопрос о необходимости прекратить эту авантюру. Большевицкая верхушка продолжала старательно разыгрывать гилянскую карту, подумывая уже о дипломатическом признании «правительства» Кучек-хана.

Возникновение марионеточной Гилянской «республики» ускорило оформление коммунистической партии

⁹ «Известия», 16 июня 1920 г.

¹⁰ ЦГАОРСС, фонд 130, дело 464, л. 103.

Ирана. Образованные на территории Советской России, Азербайджана и Туркестана иранские коммунистические организации были вначале объединены в партию «Адалят» (справедливость), а 22-24 июня 1920 г. в Энзели состоялся I съезд коммунистической партии Ирана, которой Москва «рекомендовала» преодолеть сектантские настроения, чтобы войти в единый фронт, в котором помимо сторонников Кучек-хана должны были участвовать анархистские и курдские элементы. Целью этого маневра было постепенное вытеснение сторонников Кучек-хана и его самого с руководящих постов и захват ключевых позиций в Гиляне коммунистами. Однако иранские коммунисты еще не успели набраться достаточного опыта и тотчас же разболтали этот секрет Москвы. В принятой в июле 1920 г. резолюции пленума ЦК КПИ говорилось: «В целях концентрации всех активно враждебных англичанам сил партия поддерживает и не отталкивает нынешних вождей персидского движения, систематически используя свое терпимое отношение к ним для постепенной изоляции их личного авторитета и усиления влияния партии...»¹¹ Комментарии, как говорится, излишни! Фактически после этой резолюции Кучек-хан перестал доверять коммунистам, и единый фронт распался. Однако игра в Советы в Гиляне продолжалась. Выступая на II конгрессе Коминтерна, В. И. Ленин, имея в виду гилянские события, сказал: «Начало советскому движению положено на всем Востоке, во всей Азии, среди колониальных народов»¹².

6 августа 1920 г. в Москву прибыла официальная миссия Гилянской советской республики, которая встретилась с Г. В. Чичериным, Л. М. Караханом и Ш. Элиавой. Миссия вручила советской стороне па-

¹¹ Второй конгресс Коминтерна. Стенографический отчет. Пг., 1921, стр. 141-142.

¹² В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 31, стр. 209.

мятную записку с перечислением интересующих Кучекхана вопросов: товарообмен, техническая помощь в промышленном и железнодорожном строительстве, военная помощь. Члены миссии передали просьбу задержать вывод оставшихся после 6 июня 1920 г. на территории Ирана частей Азербайджанской Красной Армии.

Распад единого фронта в Гиляне по вине коммунистов несомненно ослабил позиции Москвы в Иране в целом и усилил позиции тех деятелей внутри РКП(б), которые с самого начала не одобряли гилянскую авантюру. Есть основание считать, что к их числу относился Г. В. Чичерин. Под влиянием этого поворота дел Ленин обратился к ряду партийных, государственных и военных деятелей с вопросом о дальнейшей политике в отношении Ирана. На решение Ленина, по-видимому, оказала воздействие и резкая реакция Тегерана. 28 июня 1920 г. министр иностранных дел Ирана принц Фируз направил Г. В. Чичерину ноту, в которой в решительных выражениях обвинил Москву в том, что она своими действиями привела в движение сепаратистские и антиправительственные элементы в Иране, которые незадолго до вторжения советских войск находились на грани капитуляции. Оживив эти элементы, писал Фируз, Москва стала активно поддерживать созданное ею марионеточное правительство, грубо попирая ею же провозглашенные и сформулированные принципы¹³.

Ответы, полученные на запрос Ленина, свидетельствовали, что восторг от успеха в Гиляне заметно спал и уступил место реальному взгляду на ситуацию. Член Военного Совета 1-й Красной Армии Туркестанского фронта Баранов, например, в телеграмме на имя Ленина подверг резкой критике гилянских деятелей, назвав

¹³ Архив Министерства иностранных дел СССР (АМИД СССР), фонд 94, дело 4, папка 2, л. 50).

их невеждами и авантюристами, и требовал «немедленно воспользоваться предложением Тегерана о восстановлении дипломатических отношений» и прекратить авантюристические спекуляции в Гиляне¹⁴.

Ленин внял голосу разума и санкционировал переговоры с центральным правительством Ирана о нормализации советско-иранских отношений, однако контакты с Гилянсом продолжались, поскольку существование т. н. Гилянской советской республики и сохранение контингента советских войск на территории Ирана делали позиции Москвы в будущих переговорах более прочными, позволяли ей откровенно шантажировать Тегеран. Только благодаря такой ситуации Москве удалось навязать иранскому правительству договор (26 февраля 1921 г.), в котором суверенитет Ирана откровенно ущемлялся. Речь идет о статьях V и VI, оговаривающих право РСФСР вводить свои войска на территорию Ирана, чем СССР воспользовался 25 августа 1941 г. 4 ноября 1979 г. Иран объявил эти две статьи денонсированными, однако ответа советской стороны на это до сих пор так и не последовало.

Даже после подписания советско-иранского договора контакты Москвы с гилянскими сепаратистами продолжались. По указанию из Кремля компартия Ирана «пересмотрела» свою позицию в отношении единого фронта в Гиляне, и была сделана попытка оживить Гилянскую советскую республику (январь-февраль 1921 г.). С этой целью Москва умышленно затягивала вопрос о выводе «азербайджанских» советских войск, открыто вмешивалась во внутренние дела Ирана, требуя, чтобы иранское правительство предварительно амнистировало всех участников гилянских событий. Одновременно в Гилян продолжало поступать советское оружие и военное снаряжение.

¹⁴ ЦГАОРСС, ф. 130, дело 464, лл. 108-109.

Несмотря на готовность иранской стороны максимально идти навстречу советской стороне, советские войска в Гиляне продолжали оставаться вплоть до июня 1921 г. После их вывода судьба марионеточного режима в Гиляне была предрешена. Осенью 1921 г. правительственные войска установили полный контроль в Гиляне. Таков был итог первого вторжения советских войск в Иран — одного из многочисленных агрессивных актов Москвы против народов Востока.

Отметила эту «знаменательную» дату и советская печать, но отметила на свой лад... 20 мая 1980 г. в «Правде» появилась статья Ю. Глухова, посвященная... 60-летию установления советско-иранских дипломатических отношений. Ю. Глухов, понятно, не вдается в исследование вопроса и не приводит никаких доказательств в пользу того, что 20 мая 1920 г. были установлены такие отношения. Да это и невозможно доказать, ибо в этот день ничего подобного не произошло. Напротив, советское вторжение в Иран 18/19 мая 1920 г. надолго (на три месяца) прервало начавшиеся по инициативе Тегерана контакты с целью нормализации отношений. Ответ Москвы на эту инициативу, датированный 20 мая 1920 г., о готовности начать переговоры по указанному вопросу уже ничего не значил, ибо вторжение советских войск в Энзели создало совершенно новую ситуацию, и, как уже отмечалось, Восуг од-Доуле в телеграмме от 31 мая 1920 г. на имя Чичерина аннулировал свои предложения, полученные в Москве 20 мая 1920 г. и послужившие причиной для переписки между НКВД и правительством Ирана. Можно ли в свете этих фактов говорить всерьез об установлении дипломатических отношений между Ираном и РСФСР? Разумеется, нет! С куда большим правом можно отнести это событие к 14 декабря 1917 г., когда иранский посланник в Петрограде Асадхан передал советскому правительству официальное заявление кабинета Эйн од-Доуле о признании Совнар-

кома законным правительством Российской республики. Следовательно, посланник Ирана Асад-хан с этого дня автоматически становился аккредитованным при новом правительстве России.

Кстати, в прошлые годы в Москве ни словом не упоминалось о том, что 20 мая 1920 г. между Ираном и РСФСР были установлены дипломатические отношения. Ни в одной советской газете либо журнале, не говоря уж об исследованиях советских историков, мы не найдем ничего подобного.

Зачем же понадобилось советскому руководству на самом высшем уровне (поздравительные телеграммы Брежнева и Косыгина Хомейни и Банисадру) выдумывать этот «факт» и буквально притянуть его к дате 20 мая? Очевидно, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от реального позорного события — 60-летия вторжения советских войск в Иран, которое в этом году на фоне столь же откровенной агрессии СССР против Афганистана приобретает особенно зловещий оттенок.

ВОЛОДАРСКИЙ Михаил Израильевич — родился в 1933 г. В 1956 г. окончил исторический факультет Кишиневского университета. С 1956 по 1977 гг. работал ассистентом, затем доцентом исторического факультета того же университета. Читал курс «История стран Азии и Африки». В мае 1977 г. был уволен из университета и лишен научной степени и ученого звания за антисоветские настроения и высказывания. В 1978 г. эмигрировал в Израиль и с декабря того же года доктор Тель-Авивского университета, старший научный сотрудник Центра по исследованию СССР и стран Восточной Европы.

От редакции

В статье В. Некрасова «Долгая и счастливая жизнь?» (об «Избранном» Геннадия Шпаликова), опубликованной в № 25 «Континента», по техническим причинам выпали следующие два абзаца:

«Мы потеряли Генку Шпаликова. Не сумели вернуть, пока он переходил еще площадь. Не перевернули вверх дном дом. Не устроили для него праздник. И в этом наша вина. Его друзей.

Но книжкой, которую я сейчас держу в руках, друзья, все же в какой-то степени, постарались искупить нашу общую вину. Книга не полная, усеченная, подрезанная, профильтрованная, — что поделаешь, система! — но она все же «Генка», и строки его — (опять же из предисловия) — необработанные — пронзительны, и саму эту необработанность и пронзительность можно назвать «поэзией Шпаликова».

Кроме того выпало стихотворение Шпаликова, которое Некрасов цитирует двумя абзацами ниже перед словами «я не верю в загробную жизнь»:

«Басом, тенором — все мне одно,
Хорошо пароходом отпетым
Опускаться на светлое дно,
В мешковину по форме одетым.
Я затем мешковину надел,
Чтобы после, на расставанье,
Тихо всплыть по вечерней воде
И услышать свое отпеванье».

Редакция приносит свои извинения читателям и автору статьи.

Философия

Вацлав Белоградски

ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДИССИДЕНТСТВА

Критика процесса банализации*, который разъедает европейскую цивилизацию, сосредоточена вокруг трех основных тем, в которых диссидентская культура находит свое глубокое философское единство.

1. *Проблема постепенного проникновения закона и ориентированной на государство рациональности в те сферы общественной жизни, где легитимность, историческая узаконенность должна бы быть преобладающим и решающим элементом.*

Важнейшей сферой общественной жизни является неустанно меняющаяся система человеческих отношений, где легитимность преобладает над легальностью: как только это соотношение становится обратным, распадаются и эти отношения. Независимое человеческое общество характеризуется именно преобладанием легитимности над легальностью: только из этого оно черпает свою независимость. Представление о том, что все человеческие отношения могут регулироваться законом, — иллюзия объективистов. В «Гарвардской речи» А. Солженицын обращает наше внимание на отрицательные последствия этого вторжения правовой рациональности в структуру человеческих отношений:

Заключительная глава работы «Кризис эсхатологии безличности. К концепции Яна Паточки о европейском наследии».

* О процессе банализации см. статью того же автора «Литература как критика банального зла» («Континент» № 16). — Прим. ред.

«Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. Общество, ставшее на почву закона, но не выше — слабо использует высоту человеческих возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благотельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими — создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека.

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно».

Банализация человеческих отношений, вызванная тем, что государство вводит их в рамки закона, весьма широка; необходимость ее обычно обосновывают тем, что «организация» — единственный ответ на величину общества, на его рост. Так получается, что ответ на возрастание включает сокращение человеческих отношений, основанных на естественном преобладании легитимности над легальностью, до отношений организованных. Например, человеческие отношения, связанные с нравственными, религиозными, эстетическими переживаниями, с общими поисками истины в группе ученых, с авторитетом учителя и т. д., не могут быть сведены к легальности, законодательству: истина, установленная законом, не имеет никакого смысла — точно так же, как любовь или дружба, установленные законом. Социологическая традиция определяет сферу преобладания легитимности над легальностью термином *communitas (Gemeinschaft)* и видит в ней предпосылку социальной стабильности. Именно стиль этих *communitas*, в которых мы проводим существеннейшую часть нашей жизни, придает характер и неповторимость тем или иным общественным кругам.

Такие гражданские инициативы, как например, Хартия-77, — это не только попытка установления легальности, но, прежде всего, стремление возродить человеческую независимость в смысле *communitas*, т. е. возродить человеческие отношения, основанные на

полноте превосходства легитимности над легальностью; только эта независимость придает всей общественной системе ее человеческое достоинство. Ладислав Гейданек так описывает этот аспект в одном из своих «Писем»*:

«Потому-то и надо бороться за большее пространство человеческого в человеке. Потому-то мы и вступаем в борьбу за права человека и гражданина, т. е. за доказательство того, что человеческая жизнь своим главным содержанием и своей основной частью коренится вне государства и вне его компетенции, что она лишь частично соприкасается с государством и государственной политикой и что плохо то государство, которое не хочет этого признать и вмешивается в эту, самую автономную сферу индивидуальной и общественной жизни человека. Политическое равнодушие и невежество лишь помогают такому нелегитимному вмешательству государства в человеческую жизнь; наоборот, верная политическая и гражданская позиция осуществляется прежде всего и главным образом в сфере, где государственным органам и государственной политике делать нечего».

Таким образом, борьба за права человека — это, прежде всего, борьба за инверсию процесса все большего поглощения легитимности государственными институтами и сужения ее в пользу механизмов легальности: каждое государство дегенерирует в той мере, в какой пытается осуществить проект тотально организованного общества, где легитимность — всего лишь внешний продукт закона, а не основа его. В рамках этого проекта государственные механизмы формируют свою собственную легитимность как результат направленного воспитания и пропаганды.

2. Проблема «минимального государства».

С социологической точки зрения, «технизация» государства, сведение легальности до механизма, а легитимности до психологии является результатом раз-

* Ладислав Гейданек, евангельский философ и богослов, глашатай Хартии-77, в последние годы регулярно выпускает в чешском самиздате свои «Письма друзьям», посвященные как актуально-общественным, так и религиозно-философским проблемам. — Прим. пер.

растания государства; организация — лишь ответ на размеры. Эпоха национальных войн в Европе привела к новому понятию государства, основанному на национализации масс: государство начинает выступать как высшее проявление души нации, ее воли, ее единства. Политика национального государства основана на «всеобщей воле», «национальном сознании», откуда оно выводит свою легитимность. В этом смысле национальное государство перестает быть инструментом индивидуальной воли, организацией, которую создал индивидуализм ради достижения целей, осуществимых только коллективно (или же — легче достижимых коллективно). Либеральное государство — это государство собственников, передавших ему монополию определенных служб, без которых не может существовать свободный рынок: оборона, единая денежная система, законодательство и т. п. Это государство является государством делегированной власти, так как каждый его институт представляет отдельных людей, эмпирически исчисляемых, и их волю; если же государство не сводимо к эмпирически исчислимым личностям и их воле, то мы констатируем возникновение нелегитимных механизмов власти внутри государства. Понятие «минимального государства» распространяется на легитимное государство в том смысле, что каждая его часть сводима до тех эмпирически исчисляемых личностей, волю которых она выражает, из нее одной черпая свою легитимность. Мы можем определить «минимальное государство» как «самое большое государство, которое еще может оставаться легитимным» (*R. Nozick. Anarchy, State, and Utopia. N. Y., 1974, Basic Books*). Естественно, что связь государственных органов со специфическими группами личностей, т. е. проблема представительности государства, является отчасти технической; в развитом индустриальном обществе образование, средства связи и массовой информации, развитие свободных ассоциаций и т. п. — все

это позволяет удержать сравнительно объемные государственные структуры в границах легитимности (ср., напр., Швецию).

Минимальное государство предполагает понятие коллективной жизни как неорганичной — выживание минимального государства находится в прямой зависимости от того, отвергнуто ли понятие государства как органического выражения некоей коллективной воли, преследующей цели «выше» индивидуальных. Разрыв между индивидуальной и коллективной волей — основная черта органического понятия государственности и причина разрастания государства за пределы легитимности. Теория минимального государства исходит из аксиомы, согласно которой не существует иной высшей разумности, нежели та, что связана с индивидуальными приоритетами: государство — лишь специфический метод достижения индивидуальных целей и *ничего больше*. Минимальное государство не предъявляет личностям, из чьих волей оно возникло, никаких исторических или воспитательных требований.

Попытаемся резюмировать определение минимального государства:

— государство есть множество правил и институтов, с помощью которых личности определяют цели, лучше достижимые коллективно, нежели в одиночку;

— единственным приемлемым определением государства будет перечень этих правил и институтов и их детальное описание;

— государство легитимно в той степени, в какой каждый его институт и закон может быть сведен к эмпирически определяемой воле личности, причем никакой иной процесс, кроме этой редукции до индивидуальных волей, не может быть источником легитимности;

— та часть правил и институтов, которая позво-

ляет контролировать и корректировать легитимность государства, называется «конституцией»;

— ни один институт в государстве не может быть источником легитимности (исключение коллективной воли, органического понятия коллективной жизни).

Социализм во всех своих вариантах основан на идеологии, которая узаконивает максимальное государство; основной аспект этой идеологии — органическое понятие государства как выражения коллективной жизни, как ее инструмента и гаранта. Цели государства не сводимы здесь до индивидуальных волей. В социалистическом представлении «частное» должно быть преобразовано в коллективное с помощью целенаправленных воспитательных усилий и нового понятия разумности, основанного на *плане*, формулировка которого исходит из идеи не столько индивидуальных, сколько органических потребностей.

В перспективе нашего исследования минимальное государство может быть определено как государство, где диархия легитимности и легальности ощущается стабильно и эффективно; в теории минимального государства эта диархия становится существеннейшей нормой всякого государственного органа.

Весь XX век — эпоха максимальных государств. В культуре диссидентства вновь звучит мотив минимального государства как единственного типа государства, совместимого с концепцией естественных прав человека, которые должны быть защищены от всякой внешней власти. Свобода, таким образом, — прежде всего, индивидуальна, это свобода «от» вмешательства государства, в то время как основа максимального государства — понятие органической, коллективной свободы: человек тем свободнее, чем сильнее государство, к которому он принадлежит (свобода как участие в государственной мощи).

3. *Диссидентство ставит вопрос о правах человека как об основе необъективистского понятия универсальности.*

Во всяком обществе возникает напряжение между развитием культуры в сторону универсальности и в сторону партикулярности; цивилизация — результат экспансии некоторых элементов культуры за пределы социальных структур, с которыми они изначально были связаны. Основа цивилизации — это та часть национальной культуры, которая наименее зависима от своего социального контекста, национального языка и традиций. Например, техника является таким устремленным к универсальности элементом западной культуры, бурно развивающим свою экспансию за пределы социальных структур, в которых она возникла, и в этом смысле мы живем в технологической цивилизации.

Цивилизацию я определяю как культурную модель, унаследованную от $(2 + n)$ обществ. В этом смысле можно говорить о христианской цивилизации, либеральной цивилизации и т. д. Современная цивилизация всегда основана на стремящемся к универсальности развитии технологии и на рациональной организации государства: государство — механизм, выступающий как главный диспетчер модернизации и индустриализации, — является самым универсальным элементом европейской культуры.

Гуссерль формулирует принципы критики этой идеи универсальности: универсальность, основанная на колонизации естественного мира, ведет к тому, что отодвигается и заслоняется территория единственной подлинной универсальности, т. е. структуры мира, переживаемой личным сознанием. Идея универсальности, к которой устремлен европейский *этнос*, состоит в построении «цивилизации разума». Подобная программа требует, чтобы территория естественного мира была объяснена и методически описана в своей

первоначальной и неотторжимой функции исходной почвы для всякого имеющего смысл понятия и имеющего смысл человеческого действия. Так философия снова возвращается к идее «точной науки», не идентифицируя себя, однако, с идеалом дедуктивных наук. Ее точность опирается на естественный мир и на его изначальную универсальность в каждом личном сознании, в каждом живущем человеческом существе. Так что речь идет о новом пришествии идеала европейского человека, идеала, который дает смысл европейской истории: европеец хочет основывать свое поведение на универсально доступных принципах, дающих основание называть европейскую культуру «цивилизацией разума».

Согласно Гуссерлю, философия выступает как наука о том, что необходимо и очевидно соединяет все живущие человеческие существа в одном нерушимом личном опыте мира, из которого конкретный опыт каждого человека черпает свой *человеческий* смысл.

Рукопись Гуссерля *«Grundlegende Untersuchungen zur phänomenologische Ursprung der Räumlichkeit der Natur»** (1940) показывает, какой род универсальности — полностью недоступный естественным наукам — философия должна извлекать из забвения и систематически изучать. Гуссерль анализирует здесь понятие «Земли» таким, как оно функционирует в изначальной ориентированности мира. «Земля» означает не тело в астрономическом или физическом смысле, но — «почву», и уже из нее такие понятия, как «тело» или «движение», черпают свое исходное осмысление. Эта «почва» по-разному толковалась в истории чело-

* Философия Гуссерля и, в частности, его труд «Фундаментальные исследования феноменологического происхождения природного пространства» — основная область философских интересов Яна Пачочки, который был учеником Гуссерля, его переводчиком на чешский язык и создателем чешской школы феноменологии. — Прим. пер.

вещества: мифические интерпретации первобытных племен, астрофизика древних греков, Галилея, Эйнштейна и т. д. придают «Земле» различные значения. Однако внутри каждого истолкования функционирует «Земля» в своем генеалогическом смысле «почвы», частью которой является каждое тело и которая в этой своей функции радикально, конститутивно отличается от понятия «тело». «Земле-почве» не может быть приписано движение в том смысле, в каком мы его приписываем телам на Земле.

Такие понятия, как «тело», «место», «движение», «часть» и т. п. по происхождению связаны с первоначальным переживанием «Земли-почвы» как точки отсчета всего пространственного движения (развивающегося на ней) и телесности. Современное представление о Земле как о теле, движущемся в бесконечном пространстве, невыразимо в естественном мире, где Земля является почвой пространственного опыта, а не телом; по существу, тело изначально определялось как часть Земли, и только этим частям свойственны «движение и покой» как состояния и перемены, характерные для «частей-земли-почвы».

Гуссерль заключает содержание своей рукописи в следующих словах: *«Umsturz der kopernikanischen Lehre in der gewöhnlichen weltanschaulichen Interpretation. Die Ur-Arche Erde bewegt sich nicht»*. «Переворот учения Коперника в обычном истолковании мира. Допотопная Земля неподвижна». Объективизация пространственного опыта, осуществленная в современной астрофизике, должна быть объяснена путем генеалогического разбора переживания пространства. В естественном мире первоначальная функция Земли отличается от модальности тел: Земля есть почва, в которой телесное «здесь» находит свой противовес. Тело так же «неподвижно», как и Земля, носитель пространственного опыта «здесь-бытия», не переносимого ни на какое тело или место. Эта почва находится вне кате-

горий движения и покоя в том смысле, что покой как остановка движения столь же чужд ей, как само движение. Она — почва, в которой коренится переживание различия между телом и Землей.

«Земля, однако, не только неизбежная укорененность нашего деяния, но одновременно твердая опора для всего. Всё, что мы называем вещами, опирается на нее, и даже в случае, когда что-то возносится над ней, как воздушный шар или облако, оно с ней как-то связано, оно преодолевает эту некую связанность. Земля — прототип всего массивного, телесного, материального, она — «универсальное тело», частями которого являются все вещи, как показывает их притяжение к земле, их зависимость, их происхождение, их конец. Так что земля изначально, в рамках рассматриваемой первобытной *fyzis* — не тело в ряду других тел и ни с чем иным не сравнима, ибо все остальное, что может встретиться и с чем мы можем встретиться, относится к ней как к фундаменту, который всегда предполагается. Она — *прирожденная горизонталь*, относительно которой мы занимаем позицию или положение, — в каждом выпрямлении, шаге, движении земля предположена, она одновременно напрягает и утомляет, поддерживает и дает покой... поэтому сказать о человеке «землянин» — это не только поэтическая метафора, но уловленная суть» (Jan Patočka. *Prirozený svet a fenomenologia*. In: *Existencialismus a fenomenologia*. Sbornik. Bratislava, 1967. Obsor).

В этом анализе понятие Земли-почвы встает перед нами как универсальная точка отсчета всякого человеческого опыта: в нем коренятся все остальные понятия Земли, выработанные в исторически различных культурах. Не всякая культура понимает Землю как «тело в пространстве», но в каждой функционирует Земля-почва — точка отсчета различия между движением и покоем, противовес телесному «здесь», горизонт всякого пространственного опыта. Слово «землянин» соотносится здесь с принципом универсальности необъективистской — следовательно, более изначальной, нежели та, на которой основывается колонизация естественного мира.

Из этой универсальности Паточка выводит некоторые нравственные следствия: отношения человека к другим людям должны всегда выстраиваться на почве

этой универсальности, этой открытости и понятности мира, которая заставляет нас быть универсально и лично ответственными за наши действия. Именно эта предшествующая универсальность естественного мира должна стать основой нового, внутреннего единства человечества; объективизм же объединяет человечество лишь внешне, ибо он работает с концепцией безличного знания, лишенного «оглядки на мир, из которого оно выросло». Только сделав естественный мир темой ясного размышления, мы станем на почву реальной универсальности, проявляющейся в личном сознании и его неизбежно предметных структурах переживания.

Так вопрос прав человека становится частью вопроса о естественном мире, о нерушимой емкости личного сознания, с которым должно соотноситься все, что имеет *человеческий смысл*: всякая реальность дается как слой личного сознания. В нашей перспективе философская традиция Гуссерля и Паточки — попытка сделать доступными глубочайшие истоки европейской диархии, истоки не поддающегося редукции напряжения между легитимностью, всегда связанной с личным сознанием и межличностным общением, и легальностью, связанной с институтами и государственной рациональностью. Это напряжение и бремя его, понимаемое как существо содержания и ситуации европейской цивилизации, и есть «европейское наследие».

Религия в нашей жизни

ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ СПАРРЕ

ОТ РЕДАКЦИИ: В середине сентября в Париже, в русской галерее «Москва-Петербург», открылась выставка выдающегося норвежского религиозного художника, члена редколлегии нашего журнала Виктора Спарре. Ниже мы публикуем интервью, которое взял у него английский искусствовед Эдвард Робинсон.

Э. Р. Как бы вы определили понятие «религиозного», выраженного средствами современного искусства? Ограничились бы вы только работами, в которых используются явные религиозные образы или религиозная символика?

В. С. Нет. Работы Мондриана для меня, например, обладают очень сильной религиозностью.

Э. Р. Но как бы вы объяснили это тому, кто не видит в них ничего, кроме набора прямых линий?

В. С. В работах Мондриана по-настоящему интересные вещи происходят между линиями, не так ли? Но позвольте мне начать с начала. Я не могу увидеть разницы между религиозным и нерелигиозным искусством. Я думаю, что все искусство религиозно. Искусство рождается из стремления найти связь или цельность в существовании. Должно быть понятно, что слово *цельность* описывает духовное измерение, к которому человек может приблизиться посредством творчества, религиозного экстаза или подлинной набожности. Конечно, тот тип абсолютного, который связан с политической идеологией или с Церковью, обладающей земной властью, является лишь искажением религиозного стремления. Я хочу сказать попросту: если нет Веры, если не чувствуешь наличия

духовной истины, которой нужно придать форму, — не нужно идти в художники, ибо у тебя нет оснований заниматься живописью. Поэтому, я думаю, очень трудно определить различие между религиозным и нерелигиозным в искусстве.

Э. Р. Да, я полагаю, что в своей глубине все искусство является попыткой выразить нечто, что абсолютно реально для художника. Но можно все же сказать, что некоторые художники более религиозны, чем другие?

В. С. Конечно. Если осознаешь свою веру в Господа, тогда, естественно, преобразуешь свои творческие способности в таинство понимания или даже в переживание Божественного.

Э. Р. В некотором смысле можно сказать, что работы Мондриана религиозны, в то время как работы Тулуз-Лотрека — нет. Не правда ли? Я уверен, что Тулуз-Лотрек выражал нечто, что он чувствовал очень сильно, но...

В. С. Но в то же время Тулуз-Лотрек оказал большое влияние на Руо, который был глубоко религиозен. И Руо, будучи христианином, писал своих ужасных проституток и другие картины, которые были еще «хуже», чем у Тулуз-Лотрека.

Э. Р. И, конечно, Церковь осудила его за это.

В. С. Да, и Церковь, и его близкие друзья, например, писатель Леон Блуа, который, впервые увидев выставку этих работ, сказал: «Ты просто зачарован уродством. Отныне ты потерян для меня как друг». Для Руо, которого к христианству привели такие друзья, как Леон Блуа, это было тяжело. Он был в безысходном состоянии, но чувствовал, что просто не может принять христианскую живопись своего времени, которая была сентиментальной и лживой.

Э. Р. Китч?

В. С. Да, как «Христос» Торвальдсена. В моей комнате есть копия, мне ее дал дед, когда я был маль-

чиком. Я ненавидел эту статую. В ней есть что-то мягкое, что-то лживое. Из-за этого мне позже было сложно даже произнести имя Иисуса. Во время Руо религиозное искусство было в упадке. Правдивый художник должен был порвать с этой фальшивкой. Нужно было быть честным в отношении жизни как она есть. Но для Руо это было как распятие. Через страдание он понял, что христианство — это не свод моральных правил, но опыт спасения. Поэтому Руо оказался способен так изобразить Христа, с такой духовной силой, которой европейское искусство не достигало со времен средних веков. То же можно сказать и о его клоунах. Клоун — дурак, но дурак, говорящий правду. Только через правдивость можно прийти к любому виду истинно религиозного искусства. Нельзя притворяться. Как сказал Жак Маритэн: «Если ты христианин, не пытайся писать христианские картины; живи как христианин и будь хорошим художником». Допустим, вы приступаете к изображению Христа и стараетесь сделать то, что понравится зрителю; вот сюжет воскресения из мертвых — но сколько вы видели картин, на которых Христос идет так, как будто Он только что выпил чашку чая, а в Библии сказано, что Воскресение было потрясением, и люди падали как мертвые. Очень редко можно увидеть картину, которая передает это потрясение. В большинстве случаев о христианском искусстве говорят: «Да, это очень мило, я как раз так себе и представлял» или «О, это совсем не то, что я думал». Но Христос всегда совсем не то, что мы думаем.

Э. Р. Могли бы вы сказать, что все религиозное искусство должно содержать в себе элемент потрясения?

В. С. Думаю, что должно. Я также полагаю, что мы уже перешли от разговора о религиозном искусстве к совершенно отличной теме — к христианскому церковному искусству. Это понятие относится к тем

редким произведениям искусства, которые иконописцы называют нерукотворными. Это картины, выражающие христианское таинство прощения, центральную идею в нашей вере в Бога, Который принял страдания для того, чтобы спасти человека от самого себя.

Э. Р. Что вы можете сказать об этой иконе Рублева? *(Беседа происходит в православном церковном центре в Оксфорде.)*

В. С. Это распространенный мотив в иконописи, который редко можно встретить в других живописных жанрах. Изображен момент, когда впервые в Библии — в Ветхом Завете — упоминается Троица: Господь является Аврааму и Сарре в виде трех путников. Эта икона — одно из самых высоких проявлений нашей культуры, она такое же важное явление, как и любое западное.

Э. Р. Но и эта икона, в XV веке, когда она была написана, возможно, была потрясением для современников Рублева?

В. С. Да, возможно, она была окружена большей тайной и больше потрясала в свое время, чем нас теперь.

Э. Р. Когда мы с вами встречались в последний раз, вы много работали над витражами...

В. С. Да, я продолжаю их делать, как и работы маслом. Последний витраж я сделал для храма в Тель-Авиве. Это было очень интересно: я узнал, как многим мы обязаны иудаизму. Я должен был сочетать иудейские символы с христианскими — очень интересная задача.

Э. Р. Какой художник оказал на вас наибольшее влияние?

В. С. Я всегда был захвачен иконами. Для меня также очень много значит Руо. Не так его стиль, как дух, который излучают его работы. Но прежде всего я должен сказать об одной работе, которая никогда не покидала моего сознания с тех пор, как я впервые ее

увидел в маленьком городке Кольмар во Франции. Это распятие, написанное с таким страданием и с таким жестоким реализмом Матиасом Грюневальдом в 1590 году. Я долго не мог принять его, пока не узнал, что Изенгеймский алтарь был написан для монастырского госпиталя. Во время чумы перед этим алтарем клали умирающих, чтобы несчастные могли ощутить, что Христос принимает на Себя все наши уродливые язвы и гноящиеся раны, которые поражают тело и душу.

Э. Р. Можно ли сказать, что все ваши работы фигуративны или, по крайней мере, не абстрактны?

В. С. Я никогда не был полностью абстрактным художником.

Э. Р. Многие абстрактные работы, однако, могут передать сильное ощущение таинства.

В. С. О да! Например, французский художник Манизер, который много работал с витражами, — превосходный художник и христианин.

Э. Р. Некоторых людей беспокоит в его искусстве то, что оно имеет сильную тенденцию к декоративности.

В. С. Но это может быть неплохо в правильно выбранном месте. Не знаю, видели ли вы маленькую часовню, которую он сделал для деревни Эм на севере Франции, сразу за Лиллем. Он сделал там витражи. Правда, они не в моем стиле. Мой стиль более фигуративный, я больше экспрессионист. Но, конечно, у нас сильна традиция экспрессионизма, идущая от Мунка.

Э. Р. Когда вы работаете над витражом, насколько сильно отличается окончательный вариант от первоначального наброска?

В. С. Я не делаю предварительных набросков. Я делаю всю ремесленную работу сам. Для меня это очень важно. Если не делаешь этого сам, теряешь чувство материала. Я позволяю материалу вести себя,

и во время работы у меня всегда появляются новые идеи.

Э. Р. Не приходилось ли вам сталкиваться с тем, что во время работы материал отказывается подчиняться?

В. С. Да, конечно.

Э. Р. Это подсказывало вам, что нужно делать?

В. С. Эти кусочки стекла — как люди: при слишком сильном давлении они ломаются там, где положение неправильно, поэтому они должны вести художника за собой, как и он их ведет.

Э. Р. Когда эти кусочки стекла попадают в неправильное положение и ломаются, может ли это подсказать неожиданную идею?

В. С. Безусловно. Помню, когда я делал большой витраж для собора в Тромсо, я работал над руками Христа. Изображался момент после Воскресения. Я не мог решить, должен ли показывать следы от гвоздей на Его руках. Решил не показывать, но во время работы стекло треснуло, и мне пришлось сделать отверстия.

Э. Р. Для меня в религиозном искусстве кажется очень важным то, что оно должно быть таинственным и не обязано быть доступным.

В. С. Не в логическом смысле.

Э. Р. Вы, может, помните, что Кьеркегор называл это «непрямым сообщением». Иногда бывает совершенно необходимо затруднить понимание, чтобы заставить людей использовать свое воображение. Создается впечатление, что большая часть современных художников старается облегчить задачу.

В. С. Вы правы. Часто думают о том, чтобы создать нечто прекрасное — декорацию на стене, которая не имеет никакого значения. Я совсем не стремлюсь к красоте. Я стремлюсь к правде...

Э. Р. ...которая часто нарушает покой.

В. С. Да, в большинстве случаев покой нарушается.

Э. Р. Как в работах Эдварда Мунка, который от природы был возмутителем покоя.

В. С. Да, через тревогу он выражал нечто очень важное о человеческой душе. Сам Мунк был безрассудным, особенно в юности, но никогда не терял чувства надежды. С другой стороны, английский художник Френсис Бэкон — действительно странный феномен. Впервые в истории искусства встречается художник, который абсолютно нерелигиозен. С колоссальной силой его картины выражают ненависть к жизни, к смерти и к самому человеку — и в них не содержится никакой надежды.

Э. Р. Мунк вам ближе, чем другие художники Севера?

В. С. Да, полагаю, что я отмечен как «североевропеец». Солженицын однажды в письме ко мне упомянул, что русские на севере России и норвежцы имеют много общего. Это было в 1973 г. Он писал, что пришел к заключению, что наиболее стойкий дух в Европе можно обнаружить в Норвегии. Возможно, потому, что мы смогли помочь ему в критический момент 1969 года, когда его исключили из Союза писателей.

Э. Р. Чувствуете ли вы близость к русской живописи, а не только к иконописной традиции?

В. С. Боюсь, что я плохо знаю современное искусство России. Я думаю, что неофициальные художники, чья выставка была уничтожена бульдозерами, проявили большую смелость в борьбе против дурацких директив режима. Но многие из них «застряли» на том виде модернизма, от которого мы на Западе отказались 30 лет назад. Конечно, есть исключения. Это, прежде всего, мой друг Незвестный, который, несомненно, является наиболее значительным скульптором нашего времени. Есть такие графики, как Шемякин, который сделал себе имя в Париже, есть Олег

Целков с его экспрессионистскими масками и Эдуард Зеленин.

Возвращаясь к ситуации в Советском Союзе — похоже, что режим как бы осознал полный провал в создании нового советского атеистического человека. Даже верховный жрец идеологии Суслов, кажется, покровительствует религиозному национальному искусству, чтобы укрепить расшатанный режим. В прошлом году Илье Глазунову, официозному художнику, написавшему портрет Брежнева при всех его регалиях, позволили показать для полумиллиона москвичей серию слащаво-религиозных работ.

Но странно и удивительно подумать, как много русских было в авангарде начала века: Малевич, Сутин, Шагал, Кандинский.

Э. Р. Вы не думаете, что Кандинский соблазнился идеалом декоративности?

В. С. Я думаю, сам Кандинский чувствовал, что он на неверном пути, что он слишком углубился в теорию. Но некоторые его ранние работы я считаю очень привлекательными. Они мне больше говорят.

Э. Р. Когда вы получаете заказ на картину или на витраж, насколько свободным вы себя ощущаете? Насколько вы ограничены условиями контракта?

В. С. Я очень редко заключаю контракты, в которых я не был бы абсолютно свободен. Я представляю рисунок заказчикам и выслушиваю их. Но я никогда не попадал в ситуацию, чтобы после моих разъяснений о том, что и почему я хочу сделать, заказчик бы со мной не согласился. Часто первой реакцией является «Почему это?» и «Я этого не понимаю» и так далее. Однако иногда мне указывают, где я сам непоследователен или неясен.

Э. Р. Значит, разговоры с другими вам помогают?

В. С. Да, и моя жена — лучший советчик. Или простые люди, без специальных знаний в искусстве.

Иногда даже мои дети. У детей ясный взгляд, и они говорят по существу.

Э. Р. Мне было интересно услышать, что иногда другие видят в ваших картинах или рисунках то, чего вы сами не видите. Вы считаете, что из комментариев других вы узнаете достаточно о ваших картинах?

В. С. Я узнаю многое. Один мой очень хороший друг — слепой. Он человек творческий и интересуется моим искусством. Я помню, когда в 1974 году у меня была моя самая большая выставка в Бергене, на фестивале музыки и искусства, он пришел, и мы обошли выставку, картину за картиной, которые я объяснял ему, и он почувствовал их все. Это было самым интересным, я многому от него научился. Я научился выражать себя более ясно. Его также интересовали витражи, потому что он может значительно лучше ощущать их руками. Он даже чувствует цвета. Это странно, он полностью слеп — правда, до восьмилетнего возраста он был зрячим.

Э. Р. Барбара Хепворт сказала однажды, что ее правая рука — исполнитель, а левая — творец. Левой рукой она чувствует материал, мрамор или дерево, открывает его возможности. Не было ли у вас похожего?

В. С. Когда я работаю по стеклу, я с трудом отличаю, где кончается моя рука и начинается молоток.

Э. Р. Когда вы впервые начали делать витражи? Считаете ли вы, что стекло, как материал, больше всего вам подходит?

В. С. Я так считаю, но работать со стеклом я начал случайно. В Норвегии был большой национальный конкурс. На западном побережье, в Ставангере, у нас есть прекрасный собор. В нем было несколько витражей в плохом состоянии, которые решили заменить. Я выиграл конкурс, хотя ни разу не работал с витражами. Поэтому мне пришлось учиться. Год я экспериментировал. Я обнаружил, что стекло — замеча-

тельный материал, я был полностью им захвачен, я чувствовал, что оно мне очень подходит. Это один из самых таинственных материалов, потому что то, с чем вы работаете, — это свет. Когда вы делаете витраж, свет уже присутствует. Все, что нужно сделать художнику, это ввести тени. Художник останавливает свет, но не полностью. Он делает окно, через которое нельзя смотреть наружу, но Нечто смотрит в это окно, и это Нечто — свет. В этом заключена религиозность, с самого начала. Художник — грешник, замутняющий свет. Но свет пронизывает тьму; и если бы не было тьмы, нельзя было бы видеть свет. В этом заключено таинство.

Для художника важнее всего — знать, кто он есть, и быть естественным. Я помню, однажды после лекции юная девушка задала мне вопрос: «Скажите, г-н Спарре, как вы стали личностью?» Я ответил, что, хотя многие наши характеристики заданы еще до рождения, мы рождаемся полностью неповторимыми, потому что Господь никогда не повторяется. Но чтобы стать личностью — необходимо многое сделать. Необходимо решить: «Почему я был рожден именно в это время и в этом месте? Что я собираюсь дать миру?» Это самые волнующие вопросы, которые нужно разрешить в жизни. Их нельзя понять из того, что говорят соседи, нужно прислушиваться к внутреннему голосу. Это то, что каждый из нас должен делать сам, и сейчас это еще более важно, чем когда бы то ни было, потому что у общества появилось так много возможностей контроля над личностью, как никогда раньше. Но если вы не знаете себя сами, если у вас нет самоуважения, вы никогда не сможете уважать других людей, другие религии, другие народы. Этому русские диссиденты должны нас обучить*.

* Снимок с гравюры Виктора Спарре «Александр Гинзбург и Анатолий Шаранский в гостях у Андрея Сахарова» опубликован на 4-й странице обложки «Континента» № 21.

Эта же девушка задала мне еще вопрос: «Как вы стали знаменитым художником?» Я ответил вопросом: «А кем бы вы хотели быть?» — «Я думаю стать артисткой эстрады». Поэтому я сказал: «Давайте представим артиста кабаре. Он очень активен, он владеет всеми трюками, но под конец он утомляет. Затем на сцену поднимается другой актер: ему нет нужды двигаться, он стоит спокойно. Но ваше внимание захвачено, потому что этот актер не пытается изображать действие, он сам является им». Для того, чтобы стать художником, нужен, конечно, талант, но прежде всего нужна подлинность, хотите ли вы быть художником или индивидуальностью.

Э. Р. Скажите коротко, почему советское правительство так напугано тем, что оно называет «авангардом»? В большинстве произведений искусства религиозность не выражена явно, да и так называемые религиозные деятели на Западе не проявляют к ним особого интереса. Так чего же так боятся советские власти?

В. С. Это очевидно. Советский режим установился благодаря идеям, которые теперь застыли в неподвижные догмы. Даже партийные лидеры больше в них не верят. Кремлевские старцы потеряли способность обновлять свои представления, поэтому они ненавидят творчество. Советский режим не боится традиционного искусства или традиционной Церкви. Но они знают, что идеи их мертвы и что скоро будут мертвы их тела. Они испытывают отчаянный страх, что творчество может привести к культурному возрождению, что религия сможет возродить Веру.

Искусство

Кира Сапгир

«МУРАВИНЫЙ ЛЕВ»

(Размышления у картины Ильи Глазунова)

Советский Союз прислал в ЮНЕСКО картину художника Ильи Глазунова, таким образом внеся свой вклад в украшение этого здания, где уже выставлены лучшие мастера современности — Пикассо, Миро, Мур, Лурса и пр.

И вот в отдельном помещении красуется огромное панно, величиной, на первый взгляд, с двух «Трех Богатырей», аллегорически представляющее всю историю русской культуры. По композиции и замыслу эта картина аналогична другой, широко известной картине Глазунова — «Мистерии XX века». Так же точно там расположены в хронологическом порядке — слева направо — и иерархически — сверху вниз — десятки знаменитых и великих людей. Так же точно художник позволил себе — или ему позволили — наряду с «угодными» советской власти показать неугодных, даже преданных анафеме.

Точно так же, как в картине «XX век», и в картине, висящей в ЮНЕСКО, Илья Глазунов, не мудрствуя лукаво, срисовывал своих персонажей и различные атрибуты с известных портретов, с фотографий, даже из учебников — словом, откуда придется.

Правда, и советскому зрителю, не то что западному, знакомы далеко не все лица из изображенных на холсте. Так и хочется, чтобы поместили возле панно его же репродукцию, быть может, даже с цифрами

возле каждого из персонажей — а внизу уточнить, кто есть кто, как под групповым фотоснимком.

Слева, откуда начинается отсчет культуры, — Древняя Русь. Певец Боян, играя на гуслях, воспекает подвиги князя Игоря; а рядом — сам манускрипт «Слова о полку Игореве» и, по-видимому, Ярославна. Гудит новгородский колокол. В небесах «Русский Икар» с лицом Бога Саваофа. Тут и «Троица»: нимб на иконе пробила красная татарская стрела (сюжет этот у Глазунова не в первый раз).

Представляют русскую культуру также и Шота Руставели, и Алишер Навои, поскольку их страны — теперь «братские республики», входящие в состав СССР.

Теперь очередь Ломоносова, нарисованного в ракурсе, «до боли знакомом» по учебникам физики. Крупным планом — Пушкин, заимствованный у Кипренского. Затем — Федор Михайлович, прикрывающий рукой еле теплящуюся свечечку. Ее отблеск — на личике Неточки Незвановой. И Гоголь реет над «птицей-тройкой». А вот и «Медный Всадник», и кусочек русской усадьбы — «Дворянское гнездо»...

Много места на картине заняли опера и балет, это ведь наша гордость! Тут, правда, своя субординация. Нижинский — в самом низу, и то только голова. Он тянет шею, а его «резвой ножкой» бьет по затылку балерина в пачке: так и надо, нечего эмигрировать! Зато другой эмигрант — Шаляпин в костюме Бориса Годунова работы Билибина — дан в полный рост и Шапкой Мономаха упирается в небеса.

Но что это? Неужели Гумилев? Расстрелянный!? Неужели Владимир Соловьев? А рядом — Луначарский. И он, нарком культуры, их, отверженных, реабилитирует! А дальше Блок (с портрета Сомова), Прокофьев, Рахманинов, Маяковский — великие нашего века. Им тесно — поэтому, скорей всего, не хватило

на картине места для Левитана, Рубинштейна, Пастернака, Мандельштама...

А у правого края панно — уже советская власть и культура. Мавзолей, Красная площадь, в небе проектора, скульптура Мухиной «Рабочий и Колхозница», Максим Горький. Все увенчано гигантской — больше Пушкина — головой Юрия Гагарина, улыбающегося из космического шлема белозубой улыбкой. Совсем с краю, справа — балалайка и баян (по аллитеративной симметрии с Бояном?).

... Что греха таить, и замысел, и исполнение этой картины анекдотически примитивны. Так и хочется спросить: неужто этим кончается русская культура? Или «продолжение следует»?

И отчего все-таки картина именно этого художника выбрана для того, чтобы представлять советское искусство в здании ЮНЕСКО, где решают мировые проблемы культуры?

И что есть художник Илья Глазунов?

... Если спросить у любого человека, что такое «мертвая зыбь», — он никогда словами не ответит, а сделает рукой некий неопределенный жест, всегда один и тот же. Если спросить у любого художника, искусствоведа, интеллектуала — любителя живописи, что есть художник Глазунов, — ответом будет неопределенная гримаса, сопровождаемая жестом, будто отталкивающим что-то. Повторяю, это жест — общий для тех, кто сам пишет картины или же разбирается в искусстве.

Но вот летом 1978 года перед зданием Манежа изо дня в день тянулись огромные очереди. Люди стремились попасть на выставку Глазунова. Десятки тысяч во что бы то ни стало хотели увидеть то, что искусствоведы называют дешевой аллегорией, дурным вкусом, фальшью, пошлостью, сравнивают с мещанскими слониками на комод. Так что же, значит, на выставку шли толпы любителей слоников?

У Джини Лоллобриджиды на комодке наверняка есть кое-что получше, чем слоники. А вот позировала же Глазунову для портрета! Ведь нравится же Глазунов и Джине Лоллобриджиде и Брежневу, и рядовому советскому инженеру. Что же такое изображено на его картинах, если тогда же, в 1978 году, посетив выставку, отец Дмитрий Дудко благословил «раба Божьего Илью»?

Вот что видят посетители. Перед всепрощающим отцом — на коленях блудный сын. В джинсах и штиблетах. Это не рембрандтовский «Блудный сын» (хотя центральная композиция почти та же). Это наш «блудный сын»! У картины толпа; кто-то ёрничает, кто-то брезгливо морщится; но многие плачут! И среди этих последних — до глубины души потрясенный виденным отец Дмитрий. Его восторженная статья о выставке Глазунова и о картине «Блудный сын» была опубликована в «Русской Мысли» от 24 августа 1978 года. Он пишет в великом волнении: «Появился настоящий художник, не увлекающийся поветрием мод. Смелый, дерзновенный, любящий Россию, такую, как она есть! — не за это ли ему попадает от не понимающих Россию, хотящих видеть ее по-своему?»

Отец Дмитрий далее в статье наивно пересказывает содержание картин, дивится *настоящим* игрушкам, вмонтированным в картину, где убийство царевича Дмитрия, рамочке из жердочек, окаймляющих портрет старушки с палочкой. И пылко восклицает: «Стихия! Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

Восхищение Глазуновым этого неискущенного в живописи человека было столь велико, что он тогда же попросил у него интервью для своей рукописной газеты «В свете Преображения». Там на вопрос: «Кто враждебен Вашему творчеству?» — Глазунов отвечает: «Здесь смыкаются единым строем официальные критики Союза Художников и представители «третьей волны», известные своей ненавистью к России и

выражающие идеи Коминтерна 20 гг., так называемого 'авангарда'».

Вот тут-то, на наш взгляд, и заключается ловушка; здесь приоткрывается секрет воздействия Глазунова. Его секрет — в его двойственности. Именно в двойственности, а не в раздвоении. Да, с одной стороны, Глазунова как бы не очень любят официальные критики. Но, как пишет отец Дмитрий, «Глазунов видит дальше, чем репортер 'Правды'». Еще бы!

Сила Глазунова, страшная его сила в том, что он учитывает главным образом не индивидуальную психологию, а коллективную, психологию толпы. Он учитывает ее, толпы, вкусы, и поэтому умеет ею повелевать. Он умеет внушить человеку из толпы, что тот — личность, поскольку понимает это искусство, ему лично предназначенное. И, главное, Глазунов понял, что все — толпа: короли и королевы, генсеки и портнихи, священники и врачи. Он залавливает людей в ловушку лести, они увязают, словно букашки, попавшие в воронку муравьиного льва. Эта лесть и есть та «прелесть», о которой говорится в Евангелии. Притом лесть может быть самой грубой, самой аляповатой. Пусть портрет Брежнева молодит его на пятьдесят лет. Все равно похоже, а глаза у вождя — как на византийской иконе. Лесть всегда найдет путь к человеческой душе. А остальное приложится. Разумеется, портрет Лоллобриджиды написан художником с большим усердием, чем портрет БАМовца. А старик, протянувший к зрителям стакан водки — «Будьте здоровы!» — написан просто здорово.

Глазунова как бы не любят официальные критики. Вот это «как бы» — главный механизм ловушки. Глазунов изображает как бы Россию; на самом же деле это всегда Советский Союз. А простому человеку этот переодетый Советский Союз — маслом по сердцу. «Я пришел, я чувствую себя, как дома, у себя на Руси», — говорит отец Дмитрий. Тут как бы

христианство. «Здесь не только евангельский сюжет, — говорит отец Дмитрий о «Блудном сыне», — здесь на основе Евангелия запечатлена вся русская история».

При этом критики недовольны «крамольными» христианскими сюжетами, и Глазунов — как бы и не соцреалист. Отчего же выставляют его картины, где Серафим Саровский и святые? Как же получил он, невзирая на недовольство официальных критиков, Манеж для своей выставки? Очень просто. В интервью для газеты отца Дудко он так объясняет это: «Так как Союз Художников отказался выставлять мои работы, а Министерство культуры имеет всего один зал, то выставка состоялась в Манеже». А что, если в ЮНЕСКО панно Глазунова висит потому, что его отказались вывесить во Дворце Съездов?

Все дело в том, что Глазунов дает обманчивое ощущение, как бы настоящей свободы совести. Он внушает, подспудно, что в стране, где церковь отделена от государства, религия не под запретом. А недовольство критиков смахивает на рекламу, умело отрежиссированную самим Глазуновым... Специально, что ли, он их дразнит и дрессирует?..

И правительство он выдрессировал выделять слюну перед лакомым блюдом. После смерти Сталина, после царства кондовых соцреалистов, бывших по мозгам пудовым кулаком, он приятно пощекотал им нервы. Советские правители почувствовали, что разрешают нечто, как бы не дозволенное ранее, и при этом они в полной безопасности, а как бы «еретик» — с ними полностью заодно...

Помогая растлевать психику рядового человека, Глазунов стал одной из главных кариатид советского искусства, самым отъявленным порождением советской аморальности. Создавая иллюзию свободы в выборе сюжета, позволил надеяться на хоть какую-то свободу творчества в дальнейшем. Он пачкает мозги доверившихся ему людей обманчивой надеждой: пус-

кай, мол, сегодня все дозволено лишь некоторым, тем, кто (по Орвеллу) «немного равнее прочих»; а завтра — кто знает — и другим перепадет...

Подменяя Русь Советским Союзом, Глазунов не просто лжет: он у б и в а е т правду — а это не всякому дано. Он убивает правду, выдавая за нее полуправду, а это медленно действующий яд. Он внушает добрым людям, что пропасть между правдой и полуправдой восполнима. Что тоталитарный режим допустит хоть что-нибудь, что может ему повредить, — то есть малейшее проявление внутренней свободы. И вот падают, скатываются в ловушку муравьиного льва монахи и монархи, честные и подлецы, учителя и генералы. Попадают в ловушку разрешенного протеста.

Падения можно и не заметить: стенки воронки-ловушки покаты. Так неужели же звенья одной цепи — восторг отца Дмитрия перед «Блудным сыном» Глазунова и вот эти его слова в «Известиях» от 21 июня 1980 года: «Я отказываюсь от того, что я делал...» «Нам всем нужно (...) делать одно дело со своей властью...» «Всякая власть от Бога, противящийся власти — противится Божьему установлению».

Бедный «блудный сын», втянутый в песчаную воронку!...

Вот какие мысли приходят в голову у картины Ильи Глазунова, висящей в здании ЮНЕСКО в Париже. Тем, кто придет взглянуть на нее, не следует опасаться сонных полицейских, дежурящих возле советского шедевра. Это вас они, уважаемые посетители, опасаются. Вдруг кто-то из вас похитит его — из любви к искусству.

Литература и время

Борис Закас

НЕМНОГО О ГРОССМАНЕ

Как счастлив был бы Гроссман, если б он мог заранее твердо знать, что его роман — несмотря ни на что — когда-нибудь выйдет в свет. Конечно, он на это надеялся, всё для этого сделал, но быть уверен все же не мог.

У Томаса Манна есть статья «Роман одного романа» (о том, как он писал «Иосифа и его братьев»). Если использовать это выражение в применении к истории книги Гроссмана, то роман *его* романа отличается тем, что сюжет начинает развиваться лишь после того, как основной роман закончен. Тогда-то и происходят все главные события: роман запрещен, заклеен, даже арестован, а вместе с тем — надежно припрятан и тайно проникает за границу — к издателям и к читателям; но автора давно уже нет в живых, и он не может порадоваться спасению своей книги, стоившей ему многолетнего труда и многолетних мучений.

С Василием Семеновичем Гроссманом я встречался не часто, но на протяжении почти двух десятков лет и в самой различной обстановке — от редакции до кокетбельского пляжа. Не могу сказать, чтобы знакомство с ним было близким. А потому мои отрывочные воспоминания — не столько о самом Гроссмане, сколько о некоторых фактах, так или иначе с ним связанных; штрихи, которые, возможно, отчасти до-

полнят то, что о нем уже написано или будет написано в дальнейшем.

Начну с Коктебеля, раз уж это слово подвернулось под руку.

Поздней осенью 1960 года в одной из Лисьих бухт повстречались Мария Илларионовна Твардовская и Ольга Михайловна Гроссман. Их обеих привела сюда страсть к собиранию красивых камешков, которыми это место славится на всем восточнокрымском побережье. Ради этого они и прошли на резком холодном ветру тяжелый девятикилометровый путь по всем бухточкам, разбросанным между Козами и Отузами. Твардовский относился к коллекционированию камней иронически, шел поверху, по тропинкам, лишь изредка спускаясь к морю. Он подбирал сушняк: щепки, ветки, дощечки — и, уйдя вперед, раскладывал костерок, сидел возле него, покуривал. На одном из них он, тщательно обстругав прутики наподобие вертелов, даже зажарил нечто вроде шашлыка.

Итак, у самой кромки воды состоялась встреча и обмен информацией. Посетовав на неурожайный день, М. И. и О. М. разошлись. Твардовский поздоровался с О. М. Гроссман и опять неспеша ушел вперед.

А где же Василий Семенович? Его и не видать было. Еще до приближения нашей группы (я шел шагах в двадцати от М. И. Твардовской) он свернул в сторону и теперь стоял возле одной из диких груш, росших поодаль от моря.

Этот мелкий, незначительный эпизод не стоило бы и упоминать, если бы в нем не отразились взаимоотношения Гроссмана и Твардовского в решающую пору окончания второй части романа «За правое дело».

Впервые я увидел Гроссмана в 1946 году, когда печаталась его пьеса «Если верить пифагорейцам». Что я знал тогда о нем? Кроме объемистого романа «Степан Кольчугин» — только очерки «Направление глав-

ного удара» и «Тремблинка». Роман показался скучным, очерки оставили сильное впечатление.

Судьба пьесы, разруганной в советской печати, нисколько не сказалась на непоколебимом спокойствии Гроссмана. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. Я не могу припомнить ни тени испуга, даже раздражения. Василий Семенович оставался таким же, что и всегда, — немногословным, неторопливым.

Не только во внешнем облике Гроссмана, но и в речи его была некая тяжеловесная основательность. Чаще всего он глядел хмуро, неприветливо, но, когда улыбался, лицо менялось, на щеках появлялись детские ямочки, и видно было, что человек он, в сущности, очень добрый. И смех его звучал добродушно. Но автором он слыл на редкость трудным — упрямым и непокладистым.

Несколько лет спустя, когда Твардовский в первый раз стал редактором «Нового мира», в журнале был напечатан роман Гроссмана о войне. Вернее, первая его часть, единственная, увидевшая свет при жизни автора.

Если впоследствии судьба второй части романа обернулась для Гроссмана подлинной трагедией, то и с первой частью было связано много трудностей и огорчений.

Как сотрудник отдела прозы «Нового мира», я принимал участие в процессе редактирования романа. Однако роль моя в данном случае была более чем скромной, почти технической. Формально — так называемого «ведущего редактора» у романа не было вообще. С самого начала им занимался сам Твардовский. Но, кроме него, непонятным образом еще и Фадеев тоже выполнял нечто вроде функций редактора. Отчего так получилось — объяснить трудно. Скорее всего, это было результатом инициативы еще Симонова, предшественника Твардовского. Однако факт остается фактом: всесильный секретарь Союза писа-

телей не только прочитал роман в рукописи, не только дал положительный отзыв, но и стал вникать в чуть ли не построчное редактирование. Правда, в «Новом мире» Фадеев не появлялся ни разу. Всё делалось либо письменно, либо по телефону.

Первая зацепка произошла с названием. Гроссман назвал свой роман «Сталинград». Фадеев возражал: слишком ответственно! (Прецедент уже был. За несколько лет до того повесть В. Некрасова, в журнале называвшуюся так же, пришлось в отдельном издании переименовать: «В окопах Сталинграда».) Кто-то придумал: «Правое дело». Фадеев прибавил спереди «за», Гроссман согласился. Так и осталось: «За правое дело».

Тем самым программа — по видимости, безопасная — была заявлена с первой строки, с заглавия. (Что, как показало дальнейшее, ничуть не помогло; не спас и фадеевский авторитет.)

Мучительно медленно продвигался роман к печати. Гроссман поддавался давлению очень туго. Порой мне даже казалось, что он излишне упорствует по мелочам, потом я понял, что это отражало последовательную, принципиальную позицию. Твардовского с Гроссманом связывали дружеские отношения, они даже были на «ты», к чему А. Т. вообще-то был мало расположен. Он держался примирительно, советовал, ободрял, иногда спорил, стараясь убедить... В конце концов был найден модус, удовлетворявший Фадеева и устраивавший Гроссмана. Роман пошел в печать.

Сейчас, оглядываясь в прошлое и пытаясь понять роль Фадеева в истории романа Гроссмана, я думаю, что Фадеев делал определенную ставку на этот роман как на одно из достижений советской литературы. Ему нужны были весомые, солидные, написанные уверенной писательской рукой образцы социалистического реализма.

Но эта его ставка провалилась. Многолетний руководитель Союза писателей, член ЦК еще с XVIII

съезда партии, хитрый и властный политик, Фадеев просчитался. Видимо, представление о Гроссмане, как об авторе положительном, идейно выдержанном, трансформировалось у инстанций, получивших право сказать решающее слово, и Гроссман превратился в автора неблагонадежного, склонного к опасному философствованию. Силы более могущественные, чем Фадеев, взяли верх.

Сразу же после опубликования в «Новом мире» роман подвергся форменному разгрому. Грубая и глупая статья М. Бубеннова в «Правде» задала тон кампании по травле В. Гроссмана в печати. Говорят, это делалось по указанию Сталина. Возможно. Недаром даже сам Фадеев круто изменил свою позицию и в одной из речей тоже счел нужным обрушиться на Гроссмана.

И хотя ценой дальнейших проволочек и дальнейших уступок роман все же вышел и отдельным изданием, судьба Гроссмана становилась все труднее.

Он очень мало, редко печатался. Работал над второй частью своего романа, о чем мало кто знал. Разве что ближайшие друзья. И уж совсем не вовремя произошла размолвка с Твардовским. Из-за чего они поссорились, мне показалось неловким расспрашивать. Думаю, однако, что повод был несущественный. Их отношения прервались надолго. И потому, закончив вторую часть романа, Гроссман не пошел с ней в «Новый мир» к Твардовскому, а отдал в журнал «Знамя».

Потянулись долгие месяцы ожидания. Именно месяцы, ибо, как стало известно впоследствии, стоило в «Знамени» ознакомиться с романом всего лишь одному члену редколлегии, как рукопись тут же переправили в ЦК. А там, конечно, не спешили... Гроссману же редакция не сообщила ровным счетом ничего. Вряд ли он даже знал, где его роман. И был слишком самолюбив, чтобы торопить с ответом.

Редакция ждала, что прикажут в ЦК, автор ждал, что же решит редакция.

Так обстояло дело в тот день, когда Гроссман и Твардовский внезапно встретились на лестнице Союза писателей. Лестница довольно узка, и они, можно сказать, почти столкнулись нос к носу.

Кто-то из них — совершенно нечаянно — поздоровался. А другой — столь же автоматически — ответил.

Кто был первым, кто вторым — осталось невыясненным. Но, поздоровавшись, они приостановились; остановившись, заговорили; а заговорив, отправились в ресторан ЦДЛ, чтобы продолжить разговор за скрепляющей мировую бутылкой коньяку.

Во время этого разговора Гроссман поведал о своей беде, о том, что он истомился в ожидании ответа, и попросил Твардовского прочитать его роман. Что сделано, то сделано, рукопись в «Знамени», этого не изменишь, но ему хочется дать роман Твардовскому не как редактору, а просто как другу, мнение которого для него важно.

Твардовский сразу же согласился.

Он прочитал роман сам, дал прочесть нескольким членам редколлегии. По поводу возможности опубликования романа у него не возникло ни малейших иллюзий. Роман явно непроходим, его не то что в «Знамени», ни в каком другом журнале не напечатать. В романе нарушены все табу. Сквозь весь роман проходит параллелизм: сцена у Гитлера — сцена у Сталина, нацистские функционеры — советские члены военного совета... Одни других стоят! Концлагерь немецкий — концлагерь советский... Антисемитизм в СССР... Атомная бомба и моральные проблемы, возникающие перед учеными в связи с ее созданием... Всё не то, всё не так, как положено!

Ситуация была абсолютно безнадёжной, ничего утешительного сказать Гроссману Твардовский не смог.

Помню, как сидел он у себя в кабинете, облокотившись на письменный стол и, в буквальном смысле слова, схватившись за голову.

— Господи, — с горечью говорил он, — неужели у этого человека нету ни одного друга, который объяснил бы ему, что нельзя, невозможно было отдавать этот роман в «Знамя»!

Почти год ждал Гроссман ответа и наконец-то дождался: ему вернули рукопись, коротко сообщив (от редакции, разумеется, без всякой ссылки на ЦК), что, мол, роман антисоветский. И всё — ни объяснений, ни мотивировок.

Это выглядело зловеще. Как отзыв не только о романе, но и об авторе. Как предвестие худшего...

Однажды, когда я работал дома, за мной вдруг прислали курьера: надо срочно явиться в редакцию, зачем — не было сказано. Твардовский был в отпуску, меня встретил его заместитель и спросил, где рукопись романа Гроссмана. Я ответил, что она там, куда Твардовский велел ее положить: в сейфе. Зам сказал, чтобы я принес ее к себе в кабинет.

Сейф стоял в проходной комнате перед моей дверью. Я вынул из него папку с рукописью и прошел в свой кабинетик. Там в моем кресле сидел у стола незнакомый человек в штатском. Зам, взяв у меня папку, положил на стол. Незнакомец развязал тесемки, заглянул в папку, полистал чуть-чуть, словно удостовераясь, то ли это, что нужно, потом написал несколько строк на листке бумаги и протянул мне. Привожу по памяти содержание этой бумаги: Расписка. Роман В. Гроссмана «За правое дело» часть вторая, получил — полковник Бардин. 14 февраля 1961 г.

Полковник положил папку в портфель и ушел, унося с собой арестованный роман.

(Бумажка, выданная им, была на месте, когда я сдавал дела, и я не раз жалел, что не прихватил ее на память. Впрочем, что толку... Все равно она вряд ли уцелела бы впоследствии при обыске.)

Арест романа был едва ли не первым случаем такого рода. Когда арестовывали писателя, заодно с ним забирали и его бумаги. Это известно. Но чтобы взяли рукописи, оставив автора на свободе, — такого еще никто, пожалуй, не слыхивал.

Стали известны и некоторые подробности. Рассказывали со слов самого Гроссмана, что к нему пришли из КГБ и потребовали выдать все машинописные экземпляры романа. Он отдал. Потребовали все черновики. Он помог собрать всё, до листочка. Тогда спросили, все ли копии тут, нет ли еще где-нибудь экземпляра? Он ответил, что есть в «Новом мире». В результате, полковник Бардин отправился к нам в редакцию.

Твардовский находился тогда в санатории. Под датой 21 февраля 1961 г. у меня значится краткая запись: «Звонил А. Т. Он очень недоволен историей с рукописью Гроссмана».

Бесполезно гадать, как поступил бы Твардовский, будь он в тот день в редакции. Хочу лишь напомнить об одной детали, которая мне кажется существенной, но вряд ли кому-нибудь знакома: поскольку роман официально не поступал в редакцию, а был дан Твардовскому из рук в руки для дружеского прочтения, его никто нигде не регистрировал; ни в одной книге, ведомости, ни на одной карточке роман не значился находящимся в «Новом мире».

Долго оставалось для меня загадкой, зачем Гроссман раскрыл местонахождение этого, едва ли известного КГБ экземпляра? Ведь, казалось бы, так просто умолчать, скрыть самое его существование... Неужели то было всего лишь проявление наивной и неуместной рудиментарной правдивости? Немало лет прошло,

пока, наконец, мне не стало ясно, чем это являлось на самом деле: трезвым, умным расчетом, уловкой, доведенной до конца. В беседах с близкими друзьями Гроссман говорил, что ему нестерпимо не хватает рукописи, хотя бы черновой, что ему хочется еще поработать над романом, а у него нет ни клочка и потому он сделать ничего не может...

И когда впоследствии появились первые слухи о том, что за границей есть вторая часть романа Гроссмана, я этому никак не мог поверить. Как мне сейчас ни странно вспомнить, я даже яростно оспаривал правдоподобность этих слухов. А ведь к тому времени я уже прочитал ходившую тайно по рукам повесть «Все течет», о которой при жизни Гроссмана всеведущая московская молва и полсловечка не проронила. Сумел же он ее скрыть, сохранить...

В конце своей жизни Гроссман год или полтора был почти что моим соседом, он поселился в одном из трех расположенных в виде буквы П, кооперативных жилых корпусов на Аэропортовской улице. Окна его маленькой однокомнатной квартиры выходили во двор напротив моих. Жил он в то время совершенно один. Квартира над ним долго не заселялась, и в доме были убеждены, что там устанавливается подслушивающая аппаратура для слежки за квартирой Гроссмана. Знал об этом, конечно, и сам Василий Семенович, как, в частности, свидетельствует прекрасный очерк покойного Бориса Ямпольского.

Однажды, рано утром, ко мне домой неожиданно пришел Твардовский. Ему нужен был Гроссман, но он не помнил ни номера квартиры, ни телефона. От меня он позвонил Василию Семеновичу и договорился, что зайдет. Я проводил его до самого порога квартиры Гроссмана, но сначала мы зашли в магазин и купили поллитра.

Спустя час или чуть больше снова раздался звонок в дверь. Пришли оба — А. Т. и В. С. Все вместе мы уселись на кухне, появилась на столе бутылка, продолжился разговор, начатый дома у Гроссмана.

Твардовский говорил взволнованно, возбужденно. Гроссман — спокойно, по нему совсем не заметно было, что он выпил.

Воспроизвести их длинный и довольно-таки бес-связный разговор — невозможно. Приведу лишь две-три отчетливо запомнившиеся мне реплики, которые, кажется, дают суммарное представление, как и о чем шла речь.

— Вася, ты ведь замечательный, большой писатель!.. Нельзя допустить, чтобы твой роман погиб... Помоги мне спасти его для читателя. Вася!..

— Нет, Саша, нет! Я, Саша, тебя люблю, никогда не забуду, как на фронте ты меня уложил на свою койку, а сам лег на пол... Но уступить я не могу. Больше раком становиться не буду. Характер не тот...

На том все и кончилось.

Попытка Твардовского уговорить Гроссмана согласиться на некоторые уступки, что дало бы возможность начать хлопотать о возврате рукописи, — успеха не имела. Думается, однако, попытка эта в любом случае была обречена с самого начала. Даже если бы Гроссман пообещал кое-что изменить, роман не отдали бы. Политзаключенных не так-то легко выпускают на свободу.

И еще один эпизод вспоминается из того времени. В «Новом мире» набрали очерк Гроссмана об Армении. Было там пространное рассуждение о судьбах армянского народа и попутно, как параллель, страничка о еврейском народе. Эту страничку цензура категорически потребовала снять. Гроссман столь же категорически отказался. Очерк не смог появиться в журнале.

14 сентября 1964 года Василий Семенович Гроссман умер.

Поздним вечером того дня я вышел на балкон, но тут же вернулся — позвать жену. Потушив свет в комнате, мы минут двадцать простояли на балконе в темноте и наблюдали, как напротив, на четвертом этаже, в квартире Гроссмана, скользят по стенам светлые круги от карманных фонарей. Кто-то тайком что-то искал. Но кто? Были ли это друзья, пытавшиеся спасти бумаги покойного? Или недруги, срочно нагрянувшие с секретным обыском, чтобы опередить родственников? В наших домах всё узнавалось очень скоро. Это не были друзья. А утром пришли еще раз, вполне открыто, и опечатали квартиру.

В гробу Василий Семенович был неузнаваем — худой, почерневший. Болезнь, мучительные страдания, вызванные ею, страдания, вызванные трагической участью его книги — всё это наложило свою печать.

Но, умирая, он знал то, чего не знали стоявшие вокруг гроба в тесном конференц-зале Союза писателей.

Что рукопись его последнего романа надежно скрыта.

Что она есть.

Что он перехитрил своих гонителей...

А теперь уже есть не только рукопись, но и книга. Роман вышел в свет.

И пусть бдительные сторожа архивных камер все еще держат за семью замками кипу изъятых бумаг Гроссмана, — роман его уже вне их власти. Он вырвался на волю.

Таков конец одного романа. Запоздалый счастливый конец.

ЗАКС Борис Германович — родился в 1908 г. (гор. Петропавловск Акмолинской обл.). Учился в Москве в Высшем Художественно-техническом институте. Не окончив, начал работать в печати —

художником, литературным сотрудником (Москва, Архангельск, Хабаровск). В годы войны работал в военно-морской газете «Красный флот». После войны в редакции журнала «Знамя», а с 1950 г. в «Новом мире» — восемь лет в отделе прозы и восемь лет отв. секретарем и членом редколлегии. В конце 1966 г. уволен по указанию ЦК. С 1968 г. на пенсии. В конце 1978 г. эмигрировал, проживает в США.

CHALIDZE — PUBLICATIONS
505 Eight Avenue
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Готовятся к печати)

Забастовки в Польше. Сборник документов. Карманный формат, около 100 стр., 6.00 долл.

Право наций на самоопределение. Карманный формат, 200 стр., 10.00 долл.

Сборник содержит юридический комментарий В. Чалидзе о праве наций на самоопределение и о нарушении его в СССР, и документы правозащитного и национальных движений на эту тему.

Н. Хрущев. *Воспоминания. Книга вторая.* Около 300 стр., 12.00 долл., карманный формат.

Хельсинкское движение, основные документы, 7.50 долл.

**Пожалуйста, не оплачивайте предварительные заказы
на готовящиеся издания.**

Ввиду налогового законодательства г.г. заказчики из штата Нью-Йорк
благоволят запрашивать эти книги
в русских книжных магазинах.

Наша почта

Редакция газеты «Вашингтон Стар», опубликовавшей текст открытого письма В. Буковского, Э. Кузнецова и В. Максимова Президенту США Дж. Картеру по поводу работы радиостанции «Свобода» (см. «Континент» № 25), переслала в редакцию «Континента» полученный ею ответ Председателя Совета Директоров радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа» г-на Дж. С. Хейса. Публикуем его вместе с репликой авторов первого открытого письма.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ВАШИНГТОН СТАР»

Господа!

Для нас было поразительно видеть, что Ваша газета, опубликовав на своих страницах мнение трех известных советских диссидентов о неэффективности передач РС-РСЕ, приняла его как несомненное. Мы считаем, что успешно исполняли свою важную задачу в течение последних тридцати лет, особенно в последние недели, когда отважные польские рабочие изменили политическую атмосферу наших радиопередач — возможно, навсегда.

Нас огорчает тот факт, что В. Буковский, Э. Кузнецов и В. Максимов, перед борьбой которых против тирании мы преклоняемся, подвергли наши радиопередачи такой критике в открытом письме Президенту, ибо мы относились к ним как к одним из наиболее ценных наших сотрудников. Это относится также и к А. Солженицыну, И. Бродскому и П. Литвинову. Все они так или иначе участвовали в наших программах, притом А. Солженицын — еще в прошедшем августе. Интересно, что один из них позвонил к нам и выразил

сожаление относительно того, что имя его, без его разрешения, использовано в письме, с которым он резко несогласен.

РС-РСЕ вещает 1000 часов в неделю на 21-м языке, неся не подвергающиеся цензуре новости и комментарии в критически важный район мира, где средства массовой информации являются государственной монополией. Заслуживающие доверия подсчеты показывают, что наша аудитория в Восточной Европе составляет почти половину взрослого населения. В Советском Союзе, где сильному глушению — не являющемуся чем-то новым для Радио-Свобода — недавно подверглись «Голос Америки» и другие западные станции, нас слушает каждую неделю более семи миллионов человек. Мы много и регулярно используем материалы известных недавних эмигрантов из Советского Союза, включая, к примеру, самого Буковского — его вдохновляющую книгу «И возвращается ветер...» мы передавали полностью.

Что же касается ассигнований, вопрос о которых затронут в редакционной статье, то я рад, что представляется возможность поставить перед читателями самую серьезную нашу проблему. Международные передачи дорогостоящи. Налогоплательщик с трудом согласится, что бюджет РС-РСЕ в 93 млн. долларов недостаточен. Тем не менее, это так. Красноречивый факт: весь бюджет РС-РСЕ в четыре раза меньше, чем стоимость четырех истребителей-бомбардировщиков. Мы считаем, что роль, которую играют наши передачи, не менее решающая.

Нам пришлось вводить экономию различными путями, из которых самый болезненный — сокращение кадров. По сравнению с 1976 г. у нас на 161 чел. меньше — и почти на тысячу меньше, чем общее число сотрудников РС-РСЕ десять лет назад. В будущем году мы запустим 11 новых передатчиков по 250 кв, на которые Конгресс отпустил средства. Они, безуслов-

но, помогут нашим радиопередачам пробить глушение. Но в то же время они сильно увеличат расход электроэнергии, недостаточно обеспеченный средствами.

Благодаря электронной переработке информации и другим экономящим труд нововведениям, мы смогли сохранить 1000 часов вещания в неделю, несмотря на резкое сокращение кадров. Однако мы растягиваем наши ресурсы больше, чем можно. Учитывая польские события и увеличивающуюся напряженность между Востоком и Западом, мы должны обладать ресурсами, достаточными для ответа на новую ситуацию. Нам следует не просто бороться за существование, но создать на основе наших прошлых и нынешних достижений.

*Джон С. Хейс,
Председатель Совета Директоров РС-РСЕ*

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТВЕТА

Вместо того, чтобы ответить авторам Открытого письма Президенту Картеру по существу, Председатель Совета Директоров РС-РСЕ ограничивается отвлеченными ссылками на никем и ничем не подтвержденные факты. Попробуем опровергнуть его доводы по пунктам:

1. Негоже ответственному лицу в официальном письме в редакцию ссылаться на мифические звонки от человека, который якобы возмущен упоминанием его фамилии. *С каждым из людей, названных нами (кроме А. Солженицына), это принципиально согласовано.*

2. Трансляция книг, выступлений и интервью еще не является свидетельством прямого сотрудничества

их авторов со станцией. К тому же, многие активные правозащитники действительно пытались лояльно сотрудничать с ней, но, в конце концов, вынуждены были отказаться от этого по уже указанным в нашем письме причинам.

3. Факт цензуры, приведенный в нашем письме Президенту, никак не может быть назван иначе, ибо этот факт не служит политике, как ее называет господин Хейс, сдержанности и ответственности, а скорее наоборот. По нашим сведениям, тот же господин Хейс, видимо, в стремлении к всеобъемлющему контролю над радиопередачами предложил недавно вообще перевести часть вещания на английский язык. Если это так, то это весьма красноречиво свидетельствует о его компетентности и знании им аудитории, на которую он призван вещать.

4. Нам трудно судить, насколько объективную информацию представило РС-РСЕ подкомитету Палаты представителей, который проводил рассмотрение его деятельности, но, если понадобится, мы готовы представить в распоряжение любых заинтересованных лиц или организаций свидетельства, подтверждающие наши доводы.

5. Наши же замечания о кадровой политике американской администрации РС-РСЕ вообще остались без ответа. Остался также без ответа и фундаментальный вопрос письма: почему радиостанция «Свобода» растеряла за последние несколько лет половину своих радиослушателей?

С высоким уважением

В. Буковский, Э. Кузнецов, В. Максимов

Уважаемый господин редактор!

В подборке моих стихов, напечатанных в № 25 «Континента», допущены следующие ошибки:

Стихотворение «В краю поэмы и романа» оборвано на стр. 151 строчкой «Вдали Египет проступал» и слеplено со стихотворением «И все провинциальные поэты». Окончание же стихотворения «В краю поэмы и романа...», начиная со строчки «И двери туго затворялись...», попало на стр. 154-155 как бы в виде отдельного стихотворения.

Жаль, что Наталья Горбаневская, как следует из ее предисловия, настолько не одолела мои стихи, что даже пренебрегла своими редакторскими обязанностями.

Эдуард Лимонов

Главному редактору журнала
«Континент»
В. Е. Максимову

Париж, 15 ноября 1980 г.

Господин главный редактор!

Ваша «Колонка редактора» в последнем номере «Континента» вызывает у нас некоторое недоумение.

Конечно, Вы вольны считать «профессорами» в кавычках тех, кого два парижских университета, к которым мы принадлежим, сделали профессорами — без кавычек: если речь идет о научной квалификации, то наши критерии могут и не совпадать. Другое дело, когда Вы бросаете в адрес наших коллег обвинение политического, или точнее морального порядка: тут, нам кажется, двух критериев не может быть.

Если говорить прямо — без прозрачных намеков и многозначительных инсинуаций, Вы утверждаете, что А. Д. Синявский «после семи лет своего 'диссидентства' получил от родного правительства постоянный советский паспорт для проживания за рубежом» и что поездки Е. Ф. Эткинд в СССР дают возможность подозревать какие-то тайные связи с советскими властями.

Первое утверждение — просто ложь: А. Д. Синявский и М. В. Розанова уже четыре года являются французскими гражданами. Что же касается Е. Ф. Эткинд, тоже французской гражданки, то ее поездки на родные места и к больным родственникам не более предосудительны или двусмысленны, чем, например, поездки Е. Г. Боннер, жены академика Сахарова, на лечение в Италию: и в том и в другом случае визы на эти путешествия выдаются советским правительством.

В начале своей «Колонки редактора» Вы приводите длинный список писателей и общественных дея-

телей, а также печатных органов, в доказательство представительности Вашего журнала. Но нельзя прикрывать их авторитетом те недостойные приемы полемики, которые Вы дальше употребляете. Поэтому мы посылаем всем этим лицам и органам копию нашего письма и просим Вас довести его до сведения читателей «Континента».

Мишель Окутюрье,
профессор университета
«Париж IV».

Жозе Жоанне,
профессор университета
«Париж X».

ОТ РЕДАКТОРА: Оставляя на совести авторов этого письма весьма сомнительную систему их обвинительных доказательств по поводу моей «Колонки редактора» в № 25 журнала (в ней не было упомянуто никаких имен), я хотел бы только обратить внимание читателя «Континента» на приведенное ими сравнение между беспрепятственными поездками некоторых жен некоторых наших диссидентов в СССР и выездами выдающейся общественной деятельницы, жены лауреата Нобелевской премии, академика Андрея Сахарова в Италию на лечение — выездами, разрешенными Советским правительством под огромным давлением мирового общественного мнения и при личном вмешательстве в это дело Глав западных государств. Поразительная моральная разборчивость, в особенности для профессоров парижских университетов!

Колонка редактора

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Мадриде, как и следовало ожидать, не принесло сколько-нибудь ощутимых результатов, но зато открыло перед нами новые возможности и перспективы для того, чтобы попытаться собственными усилиями вновь поставить проблемы Прав Человека в тоталитарном мире в центр мирового общественного внимания.

Русские и восточноевропейские диссиденты прекрасно отдают себе отчет, какая огромная политическая и финансовая сила противостоит им. Но нам не привыкать бороться в одиночку, наше Сопротивление — это прежде всего Сопротивление не политическое, а нравственное и личностное. Мы не на стороне тех, у кого сила, а на стороне нравственной правоты, ибо те, кто нравственно прав, прав исторически.

К советской дезинформации и пропаганде присоединяются политические течения и люди, которых, на первый взгляд, трудно заподозрить в лукавстве или злом умысле. Они полны благих намерений и миротворческого прекраснодушия, они готовы в любую минуту слиться в дружественном экстазе с палачами всего мира от Брежнева до Пол Пота. И весьма характерно, что чем катастрофичнее становится ситуация, тем интенсивнее и громче разливается велеречивый поток их обезоруживающих заклинаний через печать, радио и телевидение. Не успел, к примеру, один французский политический деятель разродиться книжкой на эту тему, как пятнадцать разноречивых изданий уже спорят за честь предоставить свои услуги для распространения этой оппортунистической чуши. То, за что в сорок пятом году идеологов Виши судили и отправляли на каторгу, сочувственно обсуждается

сегодня на страницах самых уважаемых французских газет. Печально, но факт!

Рассуждения сегодняшних «реалистов» от политики сводятся, примерно, к следующим глубокомысленным умозаключениям:

— Трезвая политика не может основываться на моральной романтике и нравственном максимализме. Мир надо принимать таким, каков он есть. Тоталитарная система, разумеется, плоха и бесчеловечна, но она существует и у нас нет другого выхода, кроме сосуществования. Плохой мир лучше доброй ссоры. К тому же они меняются. Постепенно на смену сталинским «ястребам» к власти приходят прагматики и технократы, которым война претит так же, как и нам. Посмотрите на них, поговорите с ними: это интеллигентные люди, владеющие языками, с широким политическим кругозором и склонностью к политической эволюции. Они почти как мы уже, между нами все меньше разницы. Конечно, диктатура, но, знаете, у них такие исторические традиции.

Я готов согласиться с этим с одной оговоркой:

— Вы правы, господа, разница невелика и только, — как обычно говорит мой друг Наум Коржавин, — одна: они едят человечину, а вы — компот, и об этом вам не следовало бы забывать, хотя бы из чувства самосохранения.

И Мадрид еще раз напоминает нам об этом!

Критика и библиография

ПОИСКИ ИСТИНЫ В ПРЕДРАССВЕТНОМ СУМРАКЕ

Эта книга написана ученым и человеком, пришедшим к Богу «трудным путем размышлений и отказа от внушаемой нам лжи». Таких пришедших к религии ученых в сегодняшней России становится все больше и больше. У нас, в Ленинграде, приход интеллигенции в церковь начался именно с них, молодых физиков и математиков, отказавшихся от своей научной карьеры и избравших путь тихой, молитвенной жизни, порвавших с атеистическим государством и его ложью. Правда, до сих пор мне удавалось встречаться лишь с теми, кто, порвав с атеизмом, не захотел больше иметь дела со светской наукой и культурой, сбросив с себя вместе с одеждами ветхого человека «язычество» своего научного прошлого. Книга Тростникова радует прежде всего тем, что является свидетельством о другом, более утешительном и более перспективном пути ученого в царство Духа, ибо автор ее не порвал с наукой, но сумел пересмотреть свои прежние взгляды, сумел показать, как саморазоблачается и расколдовывается всеобщий идол, как обнаруживает наука свои глубинные религиозные корни.

Несколько первых глав посвящены истории становления европейского научного знания: необыкновенно живо и горячо происходит развенчание героев и гениев, стоящих у основания европейской науки, тех, о ком нам с благоговением рассказывают в школах и университетах. Автор прекрасно показывает, как под маской научного мировоззрения повсюду выступала *идеология* — идеология, нацеленная на превращение всего мира в «один великий механизм», в «алгоритм». Тогда им, этим миром, удобнее манипулировать.

Подобная критика научной идеологии, конечно, не нова. Мы встречаемся с ней в «философии жизни» (например, у Бергсона), в феноменологии (Гуссерль «Кризис европейской науки»), в экзистенциализме (критика «техники» Хайдеггера).

В. Тростников. Мысли перед рассветом. ИМКА-Пресс, Париж, 1980.

ром). Все эти мыслители затем противопоставляли идеологическому, бездушному и плоскому мышлению некую онтологию, вопрошание о глубинных основах бытия. Русский ученый, солидаризируясь в критической части своей работы со своими предшественниками-европейцами, дает свое, менее расплывчатое, более религиозно определенное понимание бытия. Для него люди, ослепленные идеей наук, не просто безликое *das Man*. Они — религиозное «братство», секта «черных магов»: «Братство автоматопоклонников не нуждалось ни в организационной структуре, ни в научных аргументах, ни в логике. И безо всего этого его члены проявляли редкое единство мнений, действовали согласованно и находили там лучшие тактические решения. Английский скептицизм, французская публицистичность и немецкая фундаментальность дополняли друг друга и лили воду на одну мельницу. Братство проявляло высокую активность и в конце концов подчинило себе науку и приучило всех к логическим нелепостям своей концепции до такой степени, что нелепости перестали замечаться».

Работа «братства» иллюстрируется в книге на обширном материале: дарвинизм, различные физические теории, позитивизм и структурализм — всё это подвергнуто пересмотру. История науки завершается ее кризисом, поскольку, несмотря на заклинания «братства», она — в современной физике, например, — прорывается сквозь автоматизм идеологического мышления и намекает на наличие «какой-то данности, которая является принципиально ненаблюдаемой, но по самостоятельности поведения и по определенности свойств должна вроде бы иметь онтологический статус». Сама наука потребовала выхода за рамки чувственно воспринимаемых объектов. Тогда позитивизм, понимающий — «коготок увяз — всей птичке пропасть», отказался от понятия истины и реальности вообще. Ученые совершили последнее предательство, и отмщение не замедлило прийти: выродился сам тип ученого: «Интеллигентность, культура, отрешенная от мирских дел, чуждаемость человека науки — черты, известные нам по литературе старых времен, — вытесняются деловой хваткой, административными способностями, дипломатическими талантами и прагматизмом...»

Итак, Тростников призывает отвести взор от идолов и идеологии и обратить его к глубинам сущего, к вопросу о

Бытии. Когда Хайдеггера спросили, можно ли «бытие» его философии назвать «Богом», он сказал, что отказывается отвечать на этот вопрос. Тростников отвечает на него без колебаний положительно, это человек горячей и искренней веры. Однако следует сделать существенную оговорку. Читая первые главы книги, думаешь, что пишет ее автор, без сомнения, христианского мирозерцания. Но когда переходишь к ее «положительной программе», то обнаруживаешь, что книга скорее гностическая, чем христианская. Некрофилии «автоматчиков» от науки автор противопоставляет не единственную истину христианского Писания и Предания, а многослойную и пеструю истину мифов, вечное мифологическое откровение, говорящее с нами языком многоэтажных гностических систем, через «слои бытия», посредников и демиургов.

Тростников апеллирует к «космологическому мифу», индийский вариант которого особо близок ему. В современной России среди «новообращенцев» необыкновенно популярны различные восточные учения. Повсюду распространяется йога, антропософия, различная оккультная литература. Среди православных верующих отношение к подобным увлечениям нередко крайне отрицательное. Не раз приходилось мне слышать, что все йоги — сатанисты. Не рискую делать такие выводы и, главное, не желаю их делать. Мне кажется, сегодняшнему православию как раз не хватает терпимости, и горько встречать христиан, вся «вера» которых сводится к ненависти к «другому», к знанию, культуре, другим религиям и мировоззрениям. Сегодня нам, православным, нужно быть «светом миру», а не отдавать культуру, науку, гнозис на откуп атеистам. Но вместе с тем есть и очень существенные различия между христианским пониманием истории бытия и культуры и пониманием «гностическим».

Христианское Благовестие понимается Тростниковым как один из видов «синкретического мифа». Но это — не миф. Керигма проста, миф же сложен и многослоен. Благовестие основывается на одном-единственном уникальном событии, происшедшем в истории (Распятие и Воскресение), миф — на исторической повторяемости и цикличности.

Одним из ключевых вопросов, позволяющих выяснить степень «христианскости» автора, является вопрос о зле. Зло

в восточных и гностических системах понимается как незнание, иллюзия, небытие. В том же духе рассуждает и Тростников: зло — это часть, задумавшая стать целым, сила, которая действует слишком прямолинейно и из полезной становится вредной. Одним словом, происходит то же оправдание и оглушение зла, которое мы встречаем в гностической традиции как на Востоке, так и на Западе. У последнего гностика от философии, Гегеля, зло, или небытие является принципом движения и носителем прогресса. В том же оптимистически-пантеистическом духе высказывается подчас и автор нашей книги: «Мы знаем, что дьявол не является досадным изъяном в мировой картине, что он в определенные моменты необходим, ибо, сам того не подозревая, работает на Бога».

Если дьявол понимается как «отсутствие Бога», то христианин должен не бороться с ним как с личным, самостоятельным началом (что происходит в практике православной аскезы), а бежать от него как от иллюзии — так ведет себя йог. Весь мир видимый воспринимается бегущим от него йогом как «покрывало Майи». Материя и телесность становятся тюрьмой для духа. Этого нет в христианстве, где Господь Иисус Христос приходит во плоти, где тело не отрицается, а возвышается, чтобы стать сосудом Духа Святого. В вопросе о ценности тела и материи наш автор тоже склонен к гностическому пренебрежению плотью: мифологическая материальная вселенная — это дьявол. Поэтому для него «материя имеет «дьявольскую» природу».

И, наконец, христианство и гнозис ставят перед собой и совершенно различные конечные цели. Для христианина смысл жизни — в спасении, для гностика — в познании.

И здесь также становится понятной гностическая ориентация автора. Святые — только комментаторы той книги, которая именуется мир: «Вся деятельность Платона, Плотина, Отцов Церкви, Фомы Аквинского и многих других мудрецов была направлена именно на то, чтобы помочь людям верно *истолковать* (подчеркнуто мной. — Т. Г.) совокупность свидетельств о существовании нематериального мира».

Однако, несмотря на гностические «издержки», книга Тростникова будет интересна любому ищущему истину читателю. Это — начало очень важного разговора о науке,

одна из первых попыток вернуть человеческое знание Богу, сделать так, чтобы культура перестала быть идолом, а стала вновь сиянием Славы Божией.

Татьяна Горичева

«КАК РАСКАЧАНА ВОЛНА...»

Уже само название новой книги стихов Натальи Горбаневской символично и многослойно в своей символике. Указывая на протяженность самовыражения*, оно свидетельствует о постоянном присутствии, о непреходящем настоящем прошлого. Но и каждое из включенных в эту строку слов предвосхищает, объясняет тематическую, смысловую наполненность стихов. Перелет, полет через — это не только действие («взлетаю вверх усилием слабых плеч»), это и взгляд на перелетаемое, «на заборы, на изгороди, проволоки, плетни, на разделение мира, на раздоры...» В перелете нет географической законченности: «Так ты летишь, смешная? Куда и для чего? Да я сама не знаю...» Снежная граница, понятие, казалось бы, точное по отношению к авторскому жизненному опыту, вне его становится всеобъемлющим: снег не только собственность пространства, это и замороженность, стоячесть воды, пушкинская зима, и безнадежное ожидание у Крестов, снег — это указатель времени года, указатель времени. Смешанность времени и пространства в книге создают впечатление синонимичности, тональной согласованности этих понятий:

Который час? (Какая, кстати, страсть
разрыв пространства исчислять часами,
как будто можно, как часы, украсть
часть света, что простерта между нами...)

Наталья Горбаневская. Перелетая снежную границу... Париж, ИМКА-Пресс, 1979.

* Название является цитатой из стихотворения, опубликованного в книге «Побережье».

И граница, над которой повис след от полета, от перелета, может восприниматься и как граница времени, и как граница пространства, оставаясь в обоих случаях знаком разорванности, разобщенности, доведенной до границы «дыши-и-недыши», т. е. отделения плоти от духа: «...и, колотя по воздуху кистями, в туман стараюсь, в облако облечь, что одевалось мясом и костями...»

Но в самом чувстве разрыва, отделенности «там» от «тут» заключается незабвенность, осязаемость отсутствующего времени и пространства:

Я и до сих там брожу,
грежу, брежу и тужу...

и это — буквально: сегодняшнее «там» уже иное, и даже если все еще «на белых кафельках синеют человечки, и синий дым на снег у Черной речки ложится как узорный след калош...» — это уже не там, но «тут, в попытке слов».

Подбор связи слов внутри стиха подчеркивает присутствие оставшегося за границей, как, впрочем, и самой границы:

Куда меня ты занесла, метель
дождя, и солнца, и волны воздушной...

Переход-перелет от метели на новую строку — дождя — вбирает в себя и чисто языковую напряженность, и смысловую наполненность.

Принадлежность вчера к сегодня, к сейчас так естественна, что необходимость измерения времени отпадает сама собой:

А что там значится в календаре,
какое, милые, на дворе
тысячелетье и день недели,
— это выдохни и забудь,
мы живем не когда- и не где-нибудь,
но где-то, хоть в гетто, но в самом деле.

А стихотворение-вступление и вовсе запутывает временное кружево, глядя в «давно прошедший семьдесят девятый»

из еще не наступившего восемьдесят четвертого. Течение времени замыкается в круговороте. И приходящее на ум сравнение круговорота времени с круговоротом воды в природе* оказывается вполне уместным, поскольку именно текучесть, «неизменность измены» воды, ее вечное присутствие («... по вечным ухабам тянется моя несмываемая слеза, моя нелегальная посланница... и стрелочник стрелку часов переводит... и в круговороте воды в природе росы и тумана не больше, чем слез») позволяет отождествить ее со временем:

Забудем числа наших встреч,
листок дубовый,
и не покатым реки встреч
своим истокам,
и не покатым время вспять
к былой любви...

И даже сам «проклятый дар не небес, а не знаю чего...» определяется автором как «гул этот, шум этот, звон ли в ушах, водопад, водосброс...» Дар стихотворного вмещения, совмещения времени и пространства, «тонкая ниточка крови», что «сочится и не кончается», и есть тот связующий и одухотворяющий элемент между тут и там («Что такое, впрочем, там?... Не пора ли точку отсчета перенести из откуда-то во что-то»), между водой и временем, между автором и нами.

В желании найти «где-то» стихи — и автор — постепенно освобождаются от «инерции вчерашнего разбега», замедляют движение по кругу, несмотря на упорство сомнений («А может быть, я еду не туда...»). Пространство настоящего проступает, проясняется на полотне времени, становится Парижем, Вероной, Европой, где все-таки лучше не спать «на закате», иначе «расцепятся цепи, взлетишь и погибнешь, Икар...», где лучше отогнать себя «за борт канала, чтоб чернела вода и сминала воспоминанье и сон незакатных времен». Париж — это не просто место жительства, это любовное брожение («Я изменяю вам всем с этим городом...»), это языковое соприкосновение («Ну и язык, поехал, что пошел...»), это отзвуки «чахотки бескорыстного Шопена» в

* Одна из частей книги озаглавлена «Круговорот воды в природе».

освобожденной от наручников каждодневности флейты в метро. «Это жизнь продолжается... это она подсказывает: — Не откажись! и подсовывает новый кусок железнодорожного полотна, встающего поперек горла...» Остановка временна, сиюминутна, уже «давняя стремительность подкидывает вверх, сдавленная диафрагма шелкает наружу, видимо, обыденный, неспрадный четверг высвободил из подвала скованную душу...», но сама минута неизмерима, как неизмеримо отпечатанное на пишущей — той, давней? — машинке пространство стиха: «...продравши буркалы, сообразила вдруг, что это та же самая минута, которая уже была давно и так давно несбыточно сбывалась и убывала, ускользала, но так явственно, так явно забывалась».

Звуковая иконопись стихов, их ритмическая напряженность, в которую вплетается не только свое, но и через других приобретенное прошлое (вспомним «и берег милый для меня», «прощай, и если навсегда...») еще более подчеркивают незаконченность, «солнцеворот» времени.

Поэзия открыта: «Слушай — и услышишь. А пока до свиданья, до завтра...»

Н. Дюжева

ИНТЕЛЛИГЕНТ В СТРАНЕ ЗЭ-КА

«Путешествие в страну зэ-ка» — книга, предмет которой знаком мне из первых рук: я тоже бывший зэк и провел на Архипелаге десять с половиной лет. Но выбор темы определило в первую очередь объективное обстоятельство — значение книги Юлия Марголина, уже получившей к настоящему времени довольно широкое признание, но все еще далеко не оцененной по достоинству.

Написание «Путешествия» было одним из крупных шагов, сделавших Марголина объектом травли и бойкота со стороны левых просоветистов, которых в Израиле и по сегодня хоть пруд пруди, а тогда было полнейшее засилье. Аргументация этих господ была полностью заимствована у героя известного анекдота, который, увидя живого жи-

Юлий Марголин. Путешествие в страну зэ-ка.

рафа, заявил, что такой длинной шеи не может быть. Проще всего думать, что всеми этими людьми двигала глупость или подлость. Но, последовательно проводя такую точку зрения, мы окажемся перед мрачной картиной мира, почти сплошь населенного идиотами и мерзавцами. В дураки попадет, например, даже великий химик Д. И. Менделеев, совершенно так же отвергавший открытие радиоактивности, противоречащее модели «единого неделимого» атома. А что сказать про наших умных и порядочных знакомых, которые долго не понимали советского строя потому, что зажимали уши, когда им рассказывали, и зажимали глаза, когда им показывали? А мы сами, люди моего поколения, разве не были многие из нас искренне верующими хунвейбинами? Отлично помню, что я был далеко не одинок. Ясно, что причина этого явления коренится много глубже, и необходимо ее понять, чтобы суметь правильно оценить значение книги Марголина.

Обратимся к естественным наукам, где все прослеживается много яснее и проще. Научная работа предъявляет к исследователю два противоречивых требования. Он должен обладать мужеством ума — готовностью пересмотреть любое свое представление. И в то же время он должен проявлять мудрую сдержанность — не отказываться ни от какого из своих представлений без достаточных к тому оснований. Понятно, что часто трудно и не всегда возможно нащупать границу между мудрой сдержанностью и недостатком мужества ума. А эмоции усугубляют и драматизируют положение.

Великий физик-теоретик Г. А. Лоренц, создатель классической теории электронов, высказывал сожаление, что дождался до триумфа квантовой механики и увидел, как зашаталось все, сделанное в науке, в том числе и им самим. То, что мы теперь прозаически называем ограничением применимости теоретических моделей классической физики, тогда, полвека с лишним тому назад, было подлинной «драмой идей» (Эйнштейн).

Мое поколение видело не один фарс, когда паразитирующие на науке философы-марксисты (Герцен назвал бы их марксидами) объявляли крупнейшие научные теории сперва «поповщиной» и «псевдонаукой людоедов», а затем «блестящим подтверждением диалектического материализма». Так

было с теорией относительности, квантовой механикой, генетикой, кибернетикой...

Уже из этих примеров видно, что чем сильнее задевает пересмотр представлений непосредственные жизненные интересы, чем более радикального пересмотра жизненного пути он требует, тем сильнее защитная реакция — стремление расширить границы мудрой сдержанности за счет мужества ума — и тем более уродливые формы может принимать эта реакция.

Идейная эволюция на самом деле революция. До поры, до времени свидетельства и факты кое-как удается согласовывать со своими убеждениями и взглядами. Потом свидетельства отвергаются как не заслуживающие доверия, а факты — как нетипичные частные случаи. Но в конце концов наступает резкий переход: преодолевается психологический барьер, ломается защитная реакция, оберегавшая дорогие иллюзии, и убеждения меняются скачком. Каплей, переполнившей чашу, оказывается либо рассказ свидетеля, которому нельзя не верить, либо факт, который невозможно игнорировать.

Последнее замечание и подводит нас вплотную к вопросу о значении книги Юлия Марголина.

Прежде всего, «Путешествие в страну зз-ка» — свидетельство, вызывающее безусловное доверие благодаря безупречному моральному облику автора, который отчетливо просматривается при чтении книги. Если бы мы дожили до суда над преступлениями против человечности, который судил бы всех виновников и судил бы их потому, что они совершали такие преступления, а не потому, что проиграли войну, — книга Марголина фигурировала бы на таком суде как ценное свидетельское показание.

Но «Путешествие» нечто гораздо большее, чем просто свидетельство, устанавливающее факты. Недостаточно факты установить, нужно еще уметь их оценить, определить их место в общей картине жизни. И с этой точки зрения книга Марголина представляется мне уникальной. Она единственная известная мне книга, показывающая советский лагерь, увиденный глазами настоящего интеллигента-гуманиста, с моральной позицией которого полностью соглашаешься. Эту позицию очень точно очертил В. Г. Короленко, человек, по типу во многом близкий к Ю. Б. Марголину. Вот отрывок

записи из дневника В. Г. Короленко от 14 марта 1887 года:

«Никого целиком не осуждать, ни перед кем не преклоняться. Сочувствовать всему доброму и любить все доброе даже в дурных людях. Бороться со злом без уступок, но вместе — как можно больше прощать — вот настоящая трезвая философия жизни. Я говорю «прощать», но не мириться. Прощать побежденного, но не мириться, пока не побеждено дурное».

Эта позиция ясно видна и в книге Марголина. Вот он пишет про Салека — услужливого, хорошо воспитанного мальчика, который ничего не умел делать руками, не умел постоять за себя, и которого все поэтому нещадно били:

«Лагерь учил его беспощадно, учил праву сильного и борьбе за существование. Салек оказался понятливым учеником... Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно... И как могло быть иначе? Сама власть — непогрешимая и могучая — преподавала ему урок циничного и грубого насилия».

Марголин умел понимать и даже извинять тех, кого лагерь расчеловечил (марголинский термин, поразительный по емкости и точности). Но он не путал амнистии с реабилитацией и никогда их не оправдывал. Правильно построенный корабль имеет запас остойчивости больше, чем пловучести. Он может утонуть, но не перевернуться. То же и с человеком, и таким правильно построенным человеком был Юлий Марголин.

Рассказ про избивание бывшего люблинского экспедитора заканчивается так:

«Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерью и мрачным его создателям, на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, *их* последователя и ученика».

Тут нет раскаяния. Решение избить экспедитора Марголин принял холодно, рассудочно, даже не чувствуя злобы, — просто у него не оставалось другого способа избавиться от преследований расчеловеченного, превратившегося в лагерную гиену. Этот эпизод великолепно демонстрирует правильный подход к еще одной достаточно запутанной этической проблеме.

В жизни нередки ситуации, когда именно требования

морали вынуждают совершить поступок сам по себе аморальный. Простейший пример — причинение тяжкого увечья посредством хирургического вмешательства — понятен и обычно недоразумений не вызывает. Но в более сложных случаях, когда к тому же центральная фигура не профессионал-хирург, а простой человек, экспромтом принимающий непривычное решение, защитные реакции часто ведут к путанице в моральных оценках. Люди низкой морали, сами легкие на подъем в дурных делах, заинтересованные подстрекать к этому других и в то же время сохранять репутацию порядочных, придумали относительную мораль, в которой печальная необходимость выдается за благодать и дурной поступок может считаться хорошим сам по себе («морально все, что идет на благо революции»). Люди, которым тяжелый нравственный долг не под силу, стараются усыпить свою совесть, выдавая слабость за добродетель, представляя ее как гуманизм («согласитесь ли вы быть архитектором такого здания?», «не стоит ваша всеобщая гармония одной слезы одного ребенка»). Марголин стоял выше этой путаницы. У него достало сил и преодолеть моральный барьер, и не обманывать себя, не выдавать за благо печальную необходимость, которая его к этому вынудила.

Рассказ о путешествии в страну зэ-ка немыслим без упоминания о «Записках из мертвого дома» и их авторе. Смелая гипотеза Марголина о роли лагерного невроза в творчестве Достоевского заслуживает серьезного внимания психологов и литературоведов. Картины Врубеля, Ван-Гога и позднего Сарьяна занимают свое место в мировой живописи, они не становятся ни лучше, ни хуже, когда мы узнаём, что их создали художники, страдавшие дефектами цветового зрения. Но знание этого факта ставит на место многое. Эти примеры подводят нас к еще одному аспекту «Путешествия», пожалуй, самому важному. Невозможно правильно понять действительность, если не разобраться в себе самом, в подспудных побуждениях и причинах, навязывающих подчас самые нелепые суждения и мнения. И книга Марголина — прекрасный пример и урок самопознания. Он сумел рассказать о себе, не приукрашивая себя никак, ни прямо, ни под видом раскаяния.

Как только человек осознаёт, что цеплялся за ложные взгляды из инстинкта самосохранения, ради душевного ком-

форта, — всякая раздвоенность исчезает. Он расстается либо с этими взглядами, либо со своей совестью. И такие, и другие примеры достаточно известны и многочисленны.

Книга Марголина учит честно взглянуть на себя и на окружение, и в этом ее непреходящее значение. Потому что проблема адекватного восприятия действительности никогда не перестает быть актуальной.

В. Казан

РУССКИЕ МАНИХЕЙЦЫ

I

Ехал в подмосковном пригородном поезде молодой человек, читал роман в толстом журнале. Вышел на пустую платформу, его ударили по голове, очнулся — ничего не взяли, кроме журнала.

Анекдот, конечно. Но когда я услышал, какой бой идет в библиотеках из-за этого журнала, как перепродают его по бешеным ценам, захотелось понять, в чем причины такой противоестественной, я бы сказал, болезненной популярности?

И вот они лежат передо мной — номера 4, 5, 6 и 7 журнала «Наш современник» за 1979 год с романом Валентина Пикуля «У последней черты», посвященным последней царской чете и ее фавориту Григорию Распутину. Но прежде чем анализировать эту историческую хронику, посмотрим, в каком издании и при каких обстоятельствах она опубликована.

После «великого противостояния» двух литературных журналов, олицетворявших контрапункт российской общественной жизни шестидесятых годов — «Нового мира» и «Октября», закончившегося отставкой редактора одного из них — Твардовского и смертью другого — Кочетова, на литературном фронте Москвы, а значит и страны, наступило полное затишье. Отсутствие собственной творческой позиции, однообразие публикаций приводит к тому, что «Новый мир», возглавляемый средним поэтом Наровчатовым, в сущности, неотличим от «Октября», редактируемого средним прозаиком Ананьевым, а «Знамя», которое много лет

В. Пикуль. У последней черты.

возглавляет равнодушный литературный вельможа Кожевников, — от «Москвы», где редактором воинствующий черносотенец Алексеев. Каждый из этих журналов представляет собой безликое издание, послушно откликающееся на любое указание партийного аппарата и умело загоняющее плоды литературного процесса в рамки общепринятых идеологических стандартов.

Более или менее выраженной общественно-политической физиономией обладает, пожалуй, лишь журнал Союза писателей РСФСР «Наш современник». Редактируемый малоизвестным поэтом Викуловым, он в последние годы стал рупором группы так называемых деревенских, славянофильского толка писателей.

Позиция этой группы порождена определенным общественным настроением, распространенным как в средних слоях русского общества, так и в высших правительственных кругах. Это настроение ностальгического отношения к деревне, к ее прошлому и обостренный интерес к ее сегодняшнему дню, свойственные недавним сельским выходцам. Обретая себя в городах (а приток в них сельского населения в Советском Союзе и особенно в коренной России идет все возрастающими темпами), завоевывая новые позиции и жадно пользуясь всеми благами городской цивилизации, вчерашние крестьяне тем не менее сохраняют своего рода лирическое отношение к селу, оберегают в себе национальные великорусские корни. Истоки укрепления подобного чувства — в стремлении опереться на патриархальные нравственные ценности, национальные духовные идеалы, противопоставить их быстротекущей современной жизни с ее трагическими противоречиями и иссушающим душу темпом. Стремление, может быть, само по себе и здоровое, естественное, но, не облагороженное культурой, подлинным образованием и объективным знанием отечественной истории, оно, как правило, заставляет сделать шаг от национализма к шовинизму, способствует пробуждению антиинтеллигентских и, в конечном итоге, антисемитских настроений.

Яркое проявление этого процесса — публикация журнала «Наш современник», где на одном полюсе находятся чистые и по-своему искренние повести Распутина и Белова, а на другом — роман Пикуля «У последней черты».

II

Подзаголовок: «Роман-хроника о разложении самодержавия: рассказ о темных силах придворной камарильи и бюрократии, толпившейся возле престола; летопись той поры, которую зовут реакцией между двумя революциями; а также достоверная повесть о жизни и смерти «святого черта» Гришки Распутина». Что нам напоминает этот залихватский тон, это интригующее многословие? Ну, конечно же, крик базарного зазывалы, парня, что стоит в подземном переходе на перекрестке шумных московских улиц и рекламирует книжный товар. И люди хватают, набивают авоськи, сумки, кладут книгу между раздобытым куском мяса и десятком апельсинов.

Эпиграф: «Памяти моей бабушки — псковской крестьянки Василисы Минаевны Карениной, которая всю свою долгую жизнь прожила не для себя, а для людей, — посвящаю». Зачем такой эпиграф? Какая в этом романе родовая, глубинная, семейная связь с биографией автора? Ах, как же я сразу не понял? Фамилия-то Пиккуль — подозрительная, не дай Бог, еврейская. Эпиграф — визитная карточка. Русский я, ребята, русский, говорит нам автор, подлинно русский человек, болеющий за судьбы России. Ладно, удостоверились, человек пишет истинно русский, и читать, судя по подзаголовку, будет куда как интересно. Приступим же...

И словно в какую-то вязкую пахучую тину ныряем мы с первых же страниц. Медленно разворачивается действие. История царской семьи, брак Николая II, коронация, первые годы царствования. Жизнь Распутина, его деревенское детство, проникновение в Петербург. Но как идет это действие? С массой бытовых подробностей, сплетен, разговоров. Как ели, как спали, как изменяли друг другу. Подстать этому взгляду на историю и авторская лексика — говор городской улицы, не очень грамотный, развязный, наглый, а порой и сентиментальный. Прусский принц — отец будущей императрицы — папаша. В Петербурге он живет на хлебах русского зятя. Великие князья — Мишки, Николашки, Сандро. Если вопль, так дичайший, ненависть — лютейшая, щеки нарумянены густейше. И тут же совсем уж мешанские перлы — ливень неистовых поцелуев. Цари и принцы выража-

ются, как одесские пижоны: «Моя жена — дивная женщина». Вот уж подлинно, стиль — это человек.

Такой стиль — результат специфического авторского настроя, сплава определенных чувств, среди которых можно выделить прежде всего злобу и иронию. Но это какие-то предельно огрубленные злоба и ирония. Злоба толпы, негодующей на аристократа прежде всего за его сладкую жизнь: «Ишь ты, жрал, пил, жил-то как...» Не негодование, а принижающая злоба, перемешанная с завистью. Ирония тоже своеобразная, сродни шуткам, которые летят из толпы вслед ведомому на казнь: «Поел-попил, пожил, посмотрим, как висеть теперь будешь».

Разумеется, к периоду распада и разложения Российской империи, пришедшему на конец XIX — начало XX века могут быть приложимы многие негативные эмоции, но ведь любовь Николая II к жене, владевшее царем несомненно сильное и чистое чувство, вызывает хамское хихиканье хрониста.

Даже Касвинов, автор также весьма популярной сейчас в Советском Союзе книжки «33 ступени вниз», посвященной последним дням царской семьи и написанной, естественно, с правозерных советских позиций, находит в себе достаточно ума и такта, чтобы отметить такие личные качества Николая II, как семейственность, личную скромность. Здесь же все подвергается площадному осмеянию.

Характерно и другое. Используя весьма обширную мемуарную литературу, привлекая при написании книги довольно разнообразный исторический материал, Пикуль при столкновении с мало-мальски сложной ситуацией, требующей определенного уровня исторического и художественного мышления, оказывается практически беспомощным. И как бы ощущая эту свою беспомощность, он просто-напросто обходит задачу, не отвечая на возникающие при чтении книги серьезные и глубокие вопросы.

Такого рода авторская неполноценность особенно ощущается при анализе образа Распутина. В чем истоки магической силы этого сибирского мужика, влияния на царскую чету? Объяснить такое влияние истеризмом царицы, безволием царя, — значит ничего не сказать. Тем более, что воздействию Распутина подвергались десятки, если не сотни женщин разных общественных кругов. Можно опять-таки

хихикать по поводу сексуальных походов царского фаворита. А можно задуматься над мистической и почти не изученной струей народной жизни, рождавшей разного толка внехристианские секты, где познание человеком своей души шло по тайным путям забытых языческих культов, включавших в себя и сексуальные обряды.

Пикуль упоминает о возможной принадлежности Распутина к хлыстовству. Но где там размышлять над загадками биографии своего героя, надо подробно описать, что ел за обедом протоиерей Восторгов — икра черная, уха янтарная из стерляди...

А чем, кстати, пленил Распутин того же Восторгова? Как одержал первую победу, поднявшись на первую ступеньку лестницы, ведущей к успеху? В романе рассказывается о том, как Восторгов, агитируя за черносотенных депутатов в Государственную думу, приезжает на сход села Покровское. Его речь Распутин прерывает следующей репликой: «По-вашему: царство небесное одни твои партийные получают? А мы-то, дурни, иначе евангелие толковали... Жизнь небесную мы и сами как-нибудь отмолим для себя. А ты вот, городской, лучше нам скажи — будет ли когда здесь, на земле царство мужицкое?»

И такое-то примитивное рассуждение в духе мужицкого социализма настолько поразило опытного политического деятеля Восторгова, что он, рассказав впоследствии своим товарищам по Союзу русского народа о новом пророке, выписывает его в Петербург и начинает содействовать духовидческой карьере.

Между тем образ Распутина, как ни старается автор затолкать его в русло традиционного представления о сибирском варнаке-конокраде, словно выламывается из ткани повествования. Документы, которыми пользуется хронист, говорят сами за себя. Поражает диковинная сочность безграмотных распутинских записок, его редкостная смелость, живучесть. Все говорит о натуре недюжинной, талантливой — талантливой, разумеется, во зле, а не в добре. Эх, такой материал да в настоящие писательские руки...

Эпоха, о которой идет речь, полна загадок, до сих пор не разгаданных. Их-то автор романа ни в коем случае не обходит, смело повествуя о самых запутанных эпизодах политического сыска, революционного террора. Сомнения, не-

досказанность, диктуемая нехваткой или неясностью исторического материала, ему неведомы.

Возьмем, к примеру, убийство Столыпина. До сих пор историки спорят об истоках этого удивительного дела. Что толкнуло завербованного охранкой революционера Богрова на такого рода самоубийственный шаг? Раскайание, минутный порыв? Характер сложный, противоречивый, неизученный. Был ли убийца премьер-министра инструментом в руках департамента полиции или вырвавшимся из-под контроля орудием охраны?.. Пикулю здесь все ясно. Избалованный буржуазный сынок. Продажный и развратный. Как, однако, примирить такую трактовку характера с действиями Богрова, сознательно шедшего и пришедшего на эшафот? Это противоречие совершенно не заботит автора. Главное, о чем он не забывает упомянуть, — о еврейском происхождении террориста. С учетом же того, что симпатии Пикуля явно на стороне Столыпина — твердого, честного русского государственного деятеля, пытающегося спасти Россию от дворцовой распутинской камарильи, — то расклад получается такой: был в русском правительстве один надежный человек, и того еврей ухлопал.

А дело Мясоедова? Пусть себе специалисты выясняют, был ли этот полковник русского генштаба агентом немецкой разведки или жертвой интриги верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, пытавшегося «свалить» военного министра Сухомлинова. У Пикуля, конечно же, нет сомнений: ясное дело — шпион, и на еврейке женат, это ли не доказательство; вон, вместе с ним сколько евреев повесили — таких же, как он, шпионов.

Антисемитизм, густым лаком покрывающий страницы повествования, конечно же, закономерно вытекает из всей исторической концепции автора, является весьма важным элементом его умонастроения. И не какой-нибудь там утонченный антисемитизм в духе Розанова с его теорией кровавого причащения, утруждающий себя попытками доказательств, ссылками на источники. Здесь мы имеем дело с обыкновенным базарным юдофобством — пародированием акцента, еврейскими анекдотами — пожалуй, только вместо привычного и уместного здесь слова жид приходится употреблять новомодное обозначение сионист.

Разве не очевидно, что, они, сионисты, всевозможные

Манусы, Симановичи, Рубинштейны оплели темного мужика Распутина и сделали его орудием в своих низменных целях? Вот вам, читатель, описание еврейских сходок, еврейских взяток. Все обыкновенно, как всегда.

Казалось бы, здесь можно поставить точку. Примитивность, пошлость подобных сцен и рассуждений придают роману законченность, служат предельным выражением авторской позиции, своего рода венцом его мировоззрения. Так стоит ли всерьез говорить о самой книге, особенно, если учесть, что и в официальной советской прессе она получила единодушно отрицательную оценку? Более того, именно ее имел в виду идеологический диктатор страны Михаил Андреевич Суслов, говоря на Всесоюзном идеологическом совещании в октябре 1979 года о том, что «встречаются в иных произведениях и внеисторические, искаженные представления о прошлом, странные пристрастия к фигурам исторических авантюристов, поверхностные суждения о современности».

Характерно, что и Суслов, и рецензенты советских газет и журналов воспринимают публикацию книги Пикуля как случайный просчет, неудачу в системе идеологического воспитания масс. Реальное же положение вещей состоит в том, что роман этот следует рассматривать не как явление литературы или исторической науки, а как психологический, социальный документ, отражающий представления российского люмпена, человека улицы об истории его отечества. Именно в этой связи и становится поучительным анализ мировоззрения В. Пикуля, интересны истоки популярности его книг.

III

Какова психология массового успеха произведения духовного творчества, формирования интеллектуальных кумиров толпы? Советская общественная наука, в сущности, оставляет подобные процессы вне поля своего зрения. Да, конечно, полагают представители этой науки, у нас есть любимые народом артисты, писатели, художники. Почему особенно любимы те, а не другие? В силу высоких творческих достоинств их произведений. Вот и весь сказ. Между тем, истоки избирательной способности толпы, создания

образа кумира — вопросы не праздные, они связаны с духовным существованием, наполненностью внутреннего мира, интересами и помыслами многомиллионных масс людей.

Киноактер Тихонов, эстрадная певица Пугачева, поэт Евтушенко, художник Глазунов — при всем разнообразии сфер творчества, разных мерах таланта, все они много лет служат предметом обостренного и неослабевающего зрительского, читательского интереса, а подчас и безраздельного обожания. Одни из них политически нейтральны, другие носят фиктивный ореол противоборства государственной системе, но во всех случаях система стремится усыновить их, использовать в своих целях их талант и популярность.

Отличительной особенностью подобного рода проявлений массовой культуры служит создание художником своего внешнего образа, неотделимого от его творчества. Вячеслав Тихонов почти всегда играет одну роль — доброго, чистого, мужественного советского человека, что при его облагороженной, респектабельной внешности приносит постоянный и все возрастающий успех. И не случайно он был выбран на роль ведущего чтеца в телевизионном фильме по автобиографической книге Брежнева «Возрождение». Он как бы представлял образ автора книги.

Евтушенко, в свою очередь, играет роль поэта-бунтаря, вольнолюбивого, но, в конечном счете, преданного идее советской власти, отстаивающего чистоту этой идеи. Неважно, что «бунт» его происходит в строго дозволенных государством рамках — в сознании массового читателя и не менее массового зрителя (выступления Евтушенко собирают многотысячную аудиторию) он — поэт, поэт, в котором все интересно — внешность, политические эскапады, то, с кем он спит, на какой даче живет.

Осознавая интерес толпы к личности своего кумира, Алла Пугачева исполняет песню, где сообщает о том, что и она, знаменитая певица, тоже человек, женщина, которой бывает грустно и одиноко.

Прежде чем вернуться к главному предмету нашего разговора — книге В. Пикуля, — заметим, что нравственная основа произведения массовой культуры вовсе не обязательно бывает неизменна. Художник может проповедовать добро, призывать к чистоте, но своими творческими методами и

приемами он всегда приспосабливается к уже оформленным вкусам и пристрастиям аудитории, угадывает и эксплуатирует их, и чаще всего спекулирует на этих вкусах.

Может ли быть предметом массовой культуры исторический труд, исторический роман? Разумеется. Но какой роман? Несколько лет назад оживленный интерес читающей публики вызвали книга о де Голле, новый труд о Наполеоне. Написанные в живой, непринужденной манере, они были, тем не менее, достаточно серьезны и достоверны по своим научным воззрениям. Их читала, в основном, интеллигенция, располагающая досугом и выработанной образованием привычкой к организованному мышлению.

Представим себе, однако, обыкновенного рядового российского горожанина — служащего, среднего инженера или рабочего (в интеллектуальном отношении разница между ними невелика). В утренних сумерках он едет в переполненном автобусе на работу и возвращается вечером после дня не столько утомительного, сколько развращающего неорганизованностью труда, в свою тесную квартиру, запасаясь по дороге бутылкой дешевого портвейна. Его жена, отработав день и набегавшись по очередям за самыми необходимыми продуктами, готовит ужин. Что потом? Телевидение? Ругай его сколько хочешь за пропагандистскую направленность и однообразие программ, тем не менее футбольный или хоккейный матч, фигурное катанье или приключенческий сериал скрасят твой вечер. Чтение? Да, пожалуй. Детективный роман о буднях милиции, газетный фельетон о мелких жуликах, спортивное обозрение.

Что занимает и волнует этого человека, кроме повседневных бытовых забот? Он понимает, что жизнь его скудна, безрадостна и однообразна. Кого винить? Правительство? Власть? Конечно, можно между своими, чтобы не донесли, поматерить Брежнева, окружающих его партийных вельмож. Ну а раньше-то? Хрущев, Сталин. Вроде все то же самое. При Сталине как будто больше порядка было, войну выиграли, но и сажали, правда, людей ни за что.

Как относится он к себе подобным? Классовая солидарность? Но разница в формах существования и мышления совхозного тракториста, заводского токаря или конструктора, в сущности, невелика. Они так же разобщены и неправы перед властью, отупляемы пропагандой и портвейном.

Барьер проходит не между классами в марксистском их понимании, а между партийно-хозяйственной бюрократией и рядовым человеком.

Разве только национальное чувство тешит и дает опору этому человеку. Можно, конечно, поругать русских: мы, мол, такой народ, и ленивы-то, и пьяноваты, одно слово — Ваньки. Но это так, для близиру, опять же среди своих. На самом же деле национальная гордость живет в нем, то дремлет, то просыпается, но обязательно живет и греет душу. — Нас, русских, не тронь. Русский Иван как пойдет крушить...

Интерес к отечественной истории есть, да еще какой. Но, разумеется, не к той истории, что преподается в бесчисленных кружках политпросвещения замороченными марксистскими догмами пропагандистами. Почитать бы что-нибудь интересное — как люди жили в старые времена?

В сознание человека, развращенного чтением детективных романов, любая мало-мальски абстрактная литературно-историческая мысль может войти только с помощью острого занимательного сюжета. Такому читателю нужен густой навар бытовых подробностей, дающих пищу его воображению, позволяющих перекинуть мостки от жизни героев к его собственной. Поменьше общих рассуждений, никаких исторических, политических альтернатив, сомнений, чтобы ясно было, кто прав, а кто виноват. Ну, и конечно, желательно потешить национальное чувство, уж ни в коей мере не принижать Россию, а лучше бы возвысить, подмалевать, подкрасить события, что ж нам в дурное зеркало смотреться-то...

Вот мы и сформулировали основные черты исторического романа как предмета массовой культуры — острая занимательность, бытовизм, однозначность концепции, обращение к простейшим народным чувствам.

В самом деле, откуда нам еще узнать, сколько весила любовница сразу двух великих князей балерина Кшесинская, что ел царь на обед, кто был любовником царицы и как Распутин парил в бане великосветских барынь? Но ведь не только это узнаем. Россию могли спасти твердые русские люди, такие, как Петр Аркадьевич Столыпин, если бы не помешала распутинская сионистская жидо-масонская банда. Ну, а то, что подобная концепция не нравится Михаилу Андреевичу Суслову, противоречит положениям официаль-

ной советской исторической науки — что ж, тем интереснее читать роман, когда вокруг него ореол запретности.

IV

В. Пикуль, да и не только он один, точно выражает потребность своего читателя ощутить реальную движущую силу исторического процесса, стремление увидеть этот процесс не в виде сцепления случайностей, но и, конечно же, не как арену борьбы классов — дворянства и буржуазии, буржуазии и пролетариата. Такого рода абстрактные марксистские тезисы практически не воспринимаются рядовым читателем и уж во всяком случае не волнует его, не затрагивают душу. Силы истории должны быть реальны, конкретны, овеществлены, а вернее — олицетворены, они должны выступать в противоборстве добра и зла.

Эта потребность в поляризации нравственных начал — не новость в духовной истории человечества. В средние века она проявлялась в виде учения манихейцев. В противовес святому Августину, считавшему, что зло — это отсутствие добра, мир для них делился на черное и белое, представлял в виде борения сил добра и зла, бога и дьявола. Причем все зло происходило от сознательных преступных действий дьявола.

Подобное мировоззрение имеет корни в психике человека и знакомо каждому в быту. Кто из нас не встречал людей, четко делящих свое окружение на друзей и врагов, приписывающих одним всевозможные высокие нравственные качества, а другим — злонамеренность и греховность. Таких людей можно назвать стихийными манихейцами. Их мироощущение возникает чаще всего вследствие обостренной душевной ранимости, сравнительно невысокого уровня культуры и неудовлетворенности жизнью.

В периоды исторических потрясений, кризисных ситуаций они служат взрывчатым веществом, наиболее активной частью толпы, к которой обращаются всевозможного рода политические спекулянты, диктаторы и фанатики. Они в первую очередь воспринимали проповедь национал-социализма, где в качестве злонамеренной силы представляли жида и масоны. Они страстно поддерживают в Иране Хомейни, прекрасно понимающего, что только пугало американского

империализма, противопоставленного святому делу ислама, может сплотить и удержать в повиновении нацию. Наконец, на успех среди них рассчитывает скромный русский писатель Валентин Пикуль, выдвигая все ту же идею жидо-масонского заговора, только применительно к русской истории.

В популяризации этой идеи определенными славянофильствующими кругами русской интеллигенции — писателями, публицистами — авторами так называемых антисионистских брошюр, а порой и самиздатских рукописей, видимо, сказывается тяготение от навязанного России интернационал-социализма, официально исповедуемого государством, к более близкому народу русскому национал-социализму*. И если руководители советской идеологической системы не поддерживают открыто это тяготение (возможно, кое-кому из них оно втайне близко), а порой мягко сдерживают его, как в случае с публикацией романа Пикуля, то здесь сказывается естественное для тоталитарной власти стремление противодействовать любому проявлению экстремизма, способного изменить существующее положение дел.

V

Обратимся, однако, к личности автора романа «У последней черты». В биографической справке, опубликованной на внутренней обложке журнала «Наш современник», сказано: «Валентин Саввич Пикуль родился в 1928 году в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года целиком посвящает себя литературному труду. Автор семнадцати исторических романов — «Баязет», «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Битва железных канцлеров», «На задворках российской империи» и других. Член Союза писателей. Живет в Риге».

Журнал анонсировал также публикацию очередного романа писателя «Фаворит» — по слухам, о морганатичес-

* ОТ РЕДАКЦИИ: Мы считаем необходимым отметить, что между оголтелым юдофобством господина Пикуля и обвинением целого народа в склонности к «близкому» ему «национал-социализму», к сожалению, разница невелика. Подобное мироощущение, говоря словами самого автора, как раз и возникает «вследствие обостренной душевной ранимости, сравнительно невысокого уровня культуры и неудовлетворенности жизнью».

ком муже Екатерины II Григории Потемкине. Легко себе представить, какой здесь простор для обывательского воображения. Золотая пора Российской империи, блеск которой так ослепляет внука псковской крестьянки Василисы Карениной; один из главных организаторов имперских территориальных захватов, он же главный любовник знаменитой русской Мессалины. Чтение будет захватывающее. Надо сказать, что темы большинства романов Пикуля выбираются с тем же прицелом. То это работа секретных служб времен последнего русского царства, то ограбление Японией русского Дальнего Востока, то борьба двух имперских канцлеров — Горчакова и Бисмарка. Книги строятся по одним и тем же рецептам массовой литературы — тенденциозность, легковесность, занимательность, смакование бытовых подробностей. И почти всегда за идеологическую основу принимается русская национальная идея в ее шовинистическом воплощении.

На фронтисписе одной из своих книг, посвященной морскому конвою времен Второй мировой войны, Пикуль сфотографировался в тельняшке, в морской куртке, видимо в знак личной причастности к описываемым событиям. Перед заголовком последнего романа — другой снимок, — живое, энергичное, не лишенное приятности лицо. Вчера он — корабельный юнга в распахнутой, как морская душа, куртке, сегодня — внук Василисы Карениной, страдающей о погубленной России. Но в какие бы костюмы ни рядился писатель на фронтисписах и в эпиграфах своих книг, его нельзя не узнать — это все тот же уличный манихеец, городской люмпен, невежественный и крикливый, легковверный и хвастливый, жестокий и сентиментальный. Он перетряхивает сундук отечественной истории, примеряя то одно, то другое платье, но истинное его призвание, истинная стихия — погром. Быть или не быть погрому, воспламенится или нет этот горячий материал современной России — время покажет.

Марран

(Рецензия пришла из СССР)

КАК СОЛОТЧИНСКИЙ ПЕРЕЛЕСОК...

В суетный век, так спешащий к своему концу, на общей нашей земле — совсем немного писателей. На русской — их на виду почти совсем не осталось. В эмиграции — вполне хватит пальцев, чтоб пересчитать. Самый большой — Солженицын.

А цивилизованный, оболваненный сворой политиков, машинный мир знает надежные методы борьбы с искусством: может, действенное средневековых пыток, эффективней костров на городских площадях, и телевидение, вначале совершенно невинная игрушка Зворыкина — русского американца, — далеко не единственный из этих методов. Еще есть шоу-бизнес, комиксы, дайджесты, есть свободные от всякой ответственности газеты...

Очень трудно оставаться оптимистом, чуть задумаешься о судьбе истинной литературы в почти незаметной, но страшной схватке.

И все же не только помолодевший Брежнев на витринах парижских книжных лавок. И исчез наконец наводнявший годами газетные киоски толстый московский увраж, под трогательным названием «Саня». И девочка-студентка, вошедшая в метро на «Републик», достает из сумочки не триста сорок восьмое сочинение Эксбрайя в «Черной серии», а сильно потрепанного «Денисовича» в карманном издании. Читает — не оторвется. Ей не больше семнадцати — обычная парижская «папа» из одиннадцатого округа... Боже ж ты мой — да ведь ее не было на свете, когда всколыхнула весь белый свет эта помятая книжка, найденная теперь за два франка у букиниста на левом берегу!

Что для нее Солженицын?

С тех, в общем-то совсем недавних, пор об Александре Солженицыне написано много — и журналистами, и литературоведами, и врагами, и карьеристами, и друзьями — гораздо больше, чем написал он сам: в крупном магазине — целые полки, можно растеряться.

Поэтому вначале без особого интереса я взял в руки еще одну книжку, вышедшую в серии «Писатели вечности» издательства «Сей». Но книга эта, скромная на вид, неожидан-

Georges Nivat «Soljénitsyne», «Ecrivains de toujours», Seuil, 1980.

но оказалась хорошей и сразу захватила меня и увлекла.

Написал ее один из французских переводчиков и знатоков Солженицына Жорж Нива и посвящен его труд памяти оксфордского коллеги и наставника, умершего в прошлом году, Макса Хейварда.

Несмотря на карманный формат, книга Ж. Ниваместила огромное количество самого различного материала, и вполне может быть, что сегодня она — наиболее полный, объективный и компетентный справочник о творчестве и жизни великого русского писателя. За предельной сжатостью каждой главы — при полном отсутствии ненужной шелухи — совершенно очевидна многолетняя и серьезная работа умного и честного исследователя. А особенно приятно было увидеть, как Ж. Нива — один из немногих — сумел, рассказывая о жизни писателя в изгнании, мудро и просто снять всю паутину политико-газетных маразматиков и, нисколько не уменьшив его гражданского подвига, спокойно вернул мастера мировой литературе.

Вероятно, книжка-справочник Ж. Нива, раз уж вышла она в популярной массовой серии, послужит долго и — в первую очередь — тем самым студентам, которых не было еще на свете, когда появился «Денисович». Им, немало одурманенным за последние годы, крайне важно увидеть и узнать Солженицына в подлинном его значении.

Сам Александр Солженицын в недавнем интервью «Нью-Йорк таймс» справедливо огорчился: «За последние 18 лет публикации, мои литературные труды почти никогда и нигде не получили серьезного критического анализа. Все многочисленные отзывы на мои труды сосредоточивали свое внимание исключительно на их политической стороне».

Книга Ж. Нива, таким образом, счастливое исключение, основное в ней — как раз литературный разбор, тонкий и точный, почти всех произведений писателя. Блестящее знание не только каждой солженицынской строчки, но и всей русской литературы, а — еще важнее — ясное, безошибочное чувство всех ее корней и истоков, а, значит, души — столь редкое, столь невозможное для иностранца, признаться честно, немало удивили меня.

Талант и эрудиция позволили Ж. Нива сделать традиционно скучную критику увлекательным чтением — Боже, как редко это бывает! — а любовь, и не только к сочине-

ниям Солженицына, но и к русской земле, русской культуре, русской истории — уважение и любовь — без сомнения, вызовут у читателя ответное уважение и полное доверие к автору.

Кроме обязательных справочных разделов — надо отметить, очень насыщенных и точных — вот примерное звучание нескольких заголовков: это даст некоторое представление о книге — «Возглас и лавина», «Континенты реального», «Ключи к небосводу», «Борец», «Атлет Божий», «С другого берега», «Быть русским»...

«Мы не можем мерить Солженицына на свой аршин, — пишет Ж. Нива, — играть в привычные слова наших интеллигентских споров: левый — правый, националист — универсалист, экзистенциалист, прогрессист. Мы имеем, конечно, такое право, но только прежде — пусть-ка пылающие жернова пройдутся и по нашей шее... Встреча с его творчеством — испытание, главный экзамен в жизни, и до того, как судить, надо взвалить его бремя на свои плечи, надо самим пережить все это...».

Самой интересной мне показалась глава «Писать по-русски». «Солженицынский язык просто потряс его русских читателей, — начинает автор, — и существует даже толстый справочник «сложностей языка Солженицына»... Эмигрантский критик Роман Гуль упрекнул его в дурно звучащих неологизмах и в «советских» анахронизмах...». Но дальше, постепенно, страничка за страничкой, потихоньку опровергаются первые строчки этой главы.

Да и задуматься — в самом-то деле! — каких русских читателей, кроме, разве, немногочисленных эмигрантских, мог так потрясти своей «сложностью» предельно ясный и чистый язык Солженицына? Такой же обычный и родной, как солотчинский перелесок на фотографии, помещенной в начале главы.

«Денисовича» в свое время, когда была такая счастливая возможность, читали в лагерях, в деревнях и в рабочих «общагах», читали повсюду, захлеб. И не думаю, что кому-нибудь из миллионов благодарных читателей мог бы понадобиться хоть раз специальный словарь. А своим богатством и непередаваемой красотой народный язык, наверное, поставил в тупик лишь одних переводчиков.

Перевести Солженицына на другие языки, конечно ж, немыслимо трудная задача. Можно перерисовать, стараясь быть максимально верным, но неизбежно поблекнут краски, нарушится музыкальный строй, уйдет та едва уловимая поэзия вольного обращения с фразой и словом, которую можно почувствовать, но о которой все равно невозможно рассказать. Владея свободно французским, я пришел в отчаяние при попытке однажды перевести на этот язык несколько строчек «ГУЛага», оказалось, что это — абсолютно гиблое дело. Раскрыв потом французское издание, я был восхищен во многих местах отвагой переводчиков, свершивших столь безнадежную работу, но и быстро — увы! — увидел, что, может быть, самое главное и самое ценное — безвозвратно утеряно: по-русски «ГУЛаг» был захватывающим многотомным *рассказом*, по-французски же оказался лишь *документом* — неощутимая ниточка живого народного повествования в переводе порвалась, и сразу изменился литературный жанр. Наверно, поэтому каким-то читателям-иностранцам увлекательнейший «ГУЛаг» показался слишком длинным, однообразным и скучным. Может, потому — но прежде всего, конечно, стараниями поверхностных и торопливых газетчиков — литературное чудо обернулось для многих на Западе только шумной политической сенсацией. Ничего не поделаешь: как Пушкин, как Илья Муромец, как Покров на Нерли — Солженицын принадлежит только России, и его так же нельзя перевести на другой язык, как невозможно перенести на другую землю из Ферапонтова расписанный Дионисием Храм Рождества Богородицы...

Для меня и все другие произведения Солженицына — *рассказы*. В неизменной их эпической правде ничего общего нет с пустой придуманностью романских фабул. Жорж Нива справедливо отмечает, что писательская фантазия Солженицына носит, скорее, характер математический — прямо противоположный, например, искрометной выдумке непредсказуемого Булгакова.

Мне понравилось, как Ж. Нива пишет о борьбе Солженицына с порчей родного языка, как разделяет он боль нашего писателя. Он подробно разбирает статью «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана» и приглашает француза задуматься, как будет лучше: Ленинград или Новгород? Наверное, и французскому читателю будет понятна и любо-

пытна фонемная игра: *строгость, острота, острога, осторожность, рог* — и производное старое русское *острог*, взамен мерзких неологизмов советского тюремного словаря, давшего слово, теперь известное всему миру...

Но зачем словарь для слова *оглядь*? Какой смельчак возьмется перевести его? Какими комментариями передать его исконное естество и неуловимое очарование? Неграмотный бакенщик с Оби произнесет *оглядь*, не задумываясь — как видит. Отзвуки былинной музыки и поразительная свобода, даже после всех надругательств деревянной казенщины, даже после десятилетий пыток искусственным соцреализмом, вовсе не убиты в сегодняшней народной речи, как многим думается...

Жорж Нива приводит множество подобных примеров — искать их у Солженицына долго не приходится — и с нежностью пишет он о любви писателя к своему великому языку, и досадует искренне, что иностранец слышит лишь мощное его эхо.

Ж. Нива отметил парадоксальную, но, кажется, слишком редко упоминаемую в критике схожесть Солженицына и Цветаевой. А ведь у них — совершенно одинаковая пружинность каждого слова, щедрые яркие россыпи афоризмов, в ненавязчивом изобилии — фольклор, та же ослепительная сжатость каждой строки, и — в меру — скромный узор милой старины.

А еще больше я обрадовался сравнению Солженицына с Селином. Таких разнопланетных — их в равной мере занимала реформа литературного языка, максимального сближения с речью народной. Наверное, лучше всего через Селина серьезный французский читатель сможет оценить то, что сделал Солженицын для литературного языка русского...

Тщательно исследует Ж. Нива и «архитектурную структуру» солженицынских романов — это, бесспорно, интересное занятие: Солженицын-архитектор поражает математической отточенностью и продуманностью каждой детали. Здания-романы Солженицына Жорж Нива находит удивительно схожим по форме с сартровской эпопеей «Дороги свободы».

Этическое же значение творчества Солженицына будет французу намного яснее в сравнении его с другим нобелевским лауреатом — агностиком Альбером Камю, динамич-

ным и мужественным философом послевоенных европейских десятилетий. «Лишь тяга к прекрасному освободит человека от рабства» — не то же ли это, по сути, что и «Жить не по лжи»? Главными учителями Камю были Лев Толстой и Достоевский. Совершенно очевидно, что и у Солженицына все его этические корни там же — в русской литературе XIX века. Ж. Нива отчетливо видит эту — от Бога — неделимость и этическое единство всей настоящей литературы земли. Ведь Чехов, Солженицын, Бёльль и Камю, хоть на разных языках и по-разному, но писали и пишут одну и ту же великую книгу — против насилия, зла и лжи.

«В сравнении с ложью всегда побеждает искусство»...

Книга оформлена с изящной простотой. В ней множество прекрасных, не часто виденных, фотографий, с большим вкусом подобранных и размещенных. На фотографиях — не только Солженицын и его друзья и близкие, есть и виды Ростова-на-Дону, и деталь рублевской фрески, и суздальский пейзаж, и памятник на Куликовом поле. Ведь книга Ж. Нива не только об Александре Солженицыне и не только о его творчестве, она — о России, которую Ж. Нива носит в своем сердце, которая так удивительно близка и понятна ему и которой он так щедро делится с французским — в первую очередь — молодым читателем.

И наверное, слова из последнего письма Василия Шукшина были бы самым точным эпиграфом к этой замечательной книге:

«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами...

Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Владимир Филандров

В МИРЕ МОЛНИЙ

*«Греби, товарищ, — в мире молний
Необходимо быть гребцом».*

Виктор Соснора еще в начале шестидесятых годов заявил как-то: «Что я делаю? Пытаюсь переписывать мировую литературу наново». Это не оригинальничание, не сомнение — это просто метод видения мира. В столкновении кремня культуры и стального кресала наших дней высекает поэт искры своей неповторимости. Прекрасный тому пример — большой цикл стихов, воссоздающий из крох, упоминаний, из нескольких фраз «Слова о Полку Игореве» биографию и само творчество легендарного Бояна. Поэт-бунтарь и вместе с тем бард, воспевающий героинку своих дней, трагический лирик и вместе — чуть ли не бытописатель эпохи — таков Боян, предстающий нам в этих стихах.

**«Но я не военный потомок славян —
Я всадник весенней земли!»**

Боян ли это говорит о себе или Виктор Соснора — неважно. Это — поэт о себе. Поэт вообще. Но прежде всего — поэт национальный. А сквозь одиннадцатый век прекрасно проглядывается то общее, что есть в судьбе поэтов всех времен и народов. Так образ Бояна возникает «не по замыслу боянову, а по быти нового времени». Когда в корчме плачет ближайший друг Бояна — Поток, кается, что, когда Бояна казнили, его, Потока, назначили палачом и он не посмел отказаться, — одна эта сцена говорит современному читателю больше, чем любые пересказы легенд верных истории в деталях, но тем и лгущих: ибо верность истории — это возможность найти в ней общее с сегодняшним днем...

**«В то утро смутилось четыре полка Ярослава.
Они посмущались, но смуты не произошло»...**

Как писал однажды академик Д. Лихачев, Соснора ищет историю у корней слов — приведенная цитата тому прекрас-

Виктор Соснора. Летучий голландец. «Посев», 1979.

ный пример. Внимание к слову как первооснове вообще характерно для поэтов «медного века» — поколения 1956 года. Сейчас, когда следующее поэтическое поколение, поколение «тайной свободы», родившееся в самиздате после встряски 1968-го и поныне не публикуемое, уже достигло возраста от 30 до 40 лет, становится ясно, кто из заявивших о себе в 56-м продолжает оставаться верным тем поэтическим и гражданским принципам, которые хотя и не были никем сформулированы, но проявились и в стихах, и в общении прежде всего к слушающей аудитории (в большей мере, чем к читающей), и в отношении к слову и форме. «Иных уж нет, а те далече».

Виктор Соснора продолжает оставаться собой. И в новой книге, выпущенной не в СССР, а за рубежом — в издательстве «Посев», — Соснора публикует две поэмы и несколько прозаических произведений. Книга называется «Летучий голландец» (по одной из повестей, в нее включенных). Но стержень ее — две поэмы («Живое зеркало» и «Один день одиночества») и, конечно, повесть «Вечера сирени и ворон», которая прекрасно показывает, что же именно имел в виду автор, сказав о «переписывании наново мировой литературы». Причудливо соединив Пушкина с Дон-Кихотом, он развивает сегодняшнее невеселое, но лирически пронзительное повествование.

Но сначала — о поэзии. «Живое зеркало» — поэма, наполненная символикой. Мир замкнут в комнате поэта. И вместе с тем это весь мир с его извечной борьбой добра и зла, конкретизирующейся в простых, казалось бы бытовых, деталях — в предметах, находящихся в комнате. Колорит поэмы — вечерний, послесумеречный. И все вещи оживают, и начинается фантастическое действо — мистерия, имеющая внешне вид чуть ли не балагана из-за легкой иронической интонации, но краски сгущаются, и тут уже не до иронии. Такова динамика стиха. Что же касается самих вещей — действующих «лиц», — то сам их подбор кажется поначалу более чем странным, но вскоре нам ясно становится: нет тут ничего случайного.

И семь свечей в канделябре (семисвечник?), похожие на балеринок, и семь львов, и ручная бабочка, и шпаги — все, что находится в этой комнате, имеет тот или иной символический смысл. Даже статуэтка (не статуя!) Командора... И

все эти образы эфемерного, но такого необходимого прошлого и нынешнего бытия гибнут один за другим в битве со змеями, просыпающимися, когда «молнии освещают комнату мельканием — тогда вульгарно и страшно гремит государственный гром...»

И шпаги, которые служили поэту в его извечной битве, которые верно служили ему веками — «как сосульки таяли капля за каплей». Ибо если вечная битва со злом была сильна для этих донкихотских шпаг Поэта, то сегодняшняя битва сложнее, тут шпаги бессильны. И тут появляется Зеркало. Зеркало как символ понятия «познай самого себя», как образ собственной духовной устойчивости, увиденной собственным взором... Но едва ли все значения этого символа можно вот так приблизительно пересказать (ведь когда — о поэзии, так всегда приблизительно!)...

«Это зеркало смутно кое-что отражало,
Но когда появилось, перестало что бы то ни было отражать.
И все змеи опустились,
И загипнотизированные собственным взглядом,
Они вползали в пасть собственных отражений,
пожирая сами себя».

Таков тот романтический катарсис, которым разрешается апокалипсическая ситуация. И в ином, уже прямом, не символическом плане в третьей части поэмы, голосом автора, уставшего

«от тюрем, казарм и больниц
в тоталитарном театре абсурда»,

произносится молитва Поэта, поэта вообще, поэта как явления мировой духовности:

«Не береги меня, Господи, как тварь человеческую,
но береги меня, как Свой инструмент».

В короткой статье нет возможности подробно остановиться на второй поэме «Один день одиночества» — которая не менее интересна, чем «Живое зеркало». Это — описание праздника, какого-то очередного, официального, но как бы с изнанки, как бы глазами «иностранца», а попросту — че-

ловека нестандартно видящего, сохранившего непосредственность восприятия. Это фантасмагория, увиденная человеком, живущим «тридцать лет в состоянии расстрела». И постоянная психологическая двойственность советского человека, его орвелловское «двоемыслие» выражено в поэме с иронией и беспощадностью:

«И потому что солнышко уже показалось в пространстве,
я сделал такое официальное заявление:
— Красота! Да здоровствует солнце!»

И непосредственно за этими строками начинается последняя глава, мольба о бегстве: «О, унеси меня в мир, где нет пользы ни в силе моей, ни в бессильи, / сделай меня мертвым монгольской смертью случайной, или сумасшедшим, / будь оно проклято, ваше вассальное счастье каменных комнат, административного ада...»

Обе поэмы написаны белым — почти «свободным» стихом, максимально приближенным по звучанию к ритмической прозе, так же и проза Сосноры максимально приближена к стиху. Это создает мелодическое единство всей книги. Повесть «Летучий голландец» — почти абсурдная, говорящая о том плавании, когда нет ни пространства, ни времени, о запредельном, в котором дикой издевкой над бытием (и небытием) выглядят нелепые поступки и неожиданные детали, эта повесть местами вообще ближе к поэзии, чем к прозе.

Совсем иначе написана повесть «Вечера сирени и ворон» — повесть ли, очерк ли, путевые заметки, не в жанре суть. По сюжету — просто посещение Пушкинских мест — Михайловского, Святых Гор (Пушкинские Горы), Тригорского и так далее. И вот тут, где все прозаично, все обычно до пошлости (даже вокруг Пушкина — более того, именно тут особенно все пошло, ибо турист есть фактор, опошляющий все в мире), возникает странная личность — по прозвищу (данному автором) Спидола. Спидола — популярнейший радиоприемник, символ того, как современная техника, доступная мешанину, опошляет все на свете. Но человек этот на «Запорожье», в желтой шляпе и желтых джинсах, который вынимает сигарету, как шпагу, который зажигает спичку, как факел, — дикая смесь романтического героя — героя воистину, героя без всякой иронии, с пошлостью

сегодняшнего бытия страны. Он — образованщина, и уши вянут от его фраз, в которые втиснуты все модные имена. Он — типичный кандидат неизвестно (да и неважно) каких наук, он, утверждающий, что «Спидола — пластмассовый кусок древа познания», он гений банальности при всей оригинальности своего облика — он, может быть, потомок сразу Спинозы и Савонароллы — он, плоть от плоти от мира конформизма, мира носорожьего, сам не вписывается в этот мир. И попадает в положение Дон-Кихота — человек облика и натуры скорее Санчо Пансы... Над ним, как над Дон-Кихотом, разыгрывают какую-то непристойную комедию — и когда эта издевка над романтической половинкой несчастного Спидолы кончается его отнюдь не фарсовой смертью, «гибелью всерьез», то как бы спадает с него весь мусор, из-за которого он кажется и Санчо Пансой, и кандидатом наук, и Спидолой... Ведь так же — или почти так же разыграла Пушкина Воронцова... Это — вставная новелла, о Пушкине в Одессе... И читатель начинает уже заранее, еще до смерти Спидолы подозревать параллель между этими образами... Спидола, фотографирующий туристов на могиле Пушкина, постепенно уходит в небытие, когда погибает Спидола-романтик, Спидола-Донкихот... И тут же: «Пушкин слишком большое значение придавал дружбе, поэтому он потерял всех друзей». И в подтверждение — отрывок из письма Тургенева Вяземскому: «Перестань переписываться с Пушкиным, и себе и другим повредить можешь».

И когда кто-то, как Спидола, просто не боится мнения людского, над ним смеются. И вовсе он оказывается не кандидатом каких-то наук, а учителем с Сахалина... Вся подчеркнутая прозаичность этого образа все время спорит с какой-то тайной в этом нелепом, даже пошлом на вид, но на деле романтическом без кавычек герое нашего времени. И даже — предвидение смерти, которое, как замечает автор, дано было лишь избранным. Толстой, Байрон, Лермонтов, Достоевский, Есенин, Маяковский и... Спидола. И когда он нелепо погиб в результате «шутки» с похищением Натальи, от него не осталось имени — но осталась железная палка, которая и вонзилась в горло незадачливому похитителю, при резком торможении «Запорожца». Железная палка, напоминающая ту, с какой бродил в этих местах Пуш-

кин... А Наталья и ее муж — «фиолетовый», «старший научный сотрудник»? «За что они так развлекались, почему пошутили так легкомысленно и страшно?». Нет ответа на этот вопрос у Сосноры. Нет на него ответа и у Времени, и финал повести, не имеющий вовсе отношения к ее сюжету, только приоткрывает перед читателем уголок той надежды, которая может быть и сможет спасти каждого, если он поймет, как человек, заплывший слишком далеко в море, что «умирать сейчас постыдно», что «надо плыть и плыть до последней судороги мускулов, до последнего грамма воздуха, до последнего удара пульса».

Очерки «День Будды» — не то очерки, не то «дневник души» — рассказывают о мире, в котором ничего не происходит. («и времени больше не будет», как сказано в Апокалипсисе). И в этом мире задыхается писатель, который может фразу Булгакова о том, что «рукописи не горят», назвать «жалким утешением». И ясно, что он имеет право на такое суждение.

В мире, где времени нет, «человек, который может чего-то добиться — скучнейшее существо, он добивается и только. А вот у раба — всегда мечта». И в этом мире, где есть телефоны, оказывается, звонить-то некому...

«Самое лестное представление о писателе — он пьяница и бабник. В последнее время к этой характеристике прибавилось: он пьяница и бабник, он — верит в Бога». Мир, в котором все разорвано на части и части перемешаны — сложи-ка снова эту мозаику? И как позвонить из сна в явь? Некому звонить... И вообще, ты просто писатель, и никакого «творчества» у тебя нет... Вот так еще можно прожить в этом мире. «Ну, подымай якоря, капитан, в золотое и лазурное будущее, там фрукты и фанфары, династии гениев и принцесс, чего там только нет!.. Там нет — меня».

Так заканчивается это грустное, мудрое и болезненное эссе. Оно доказывает, что мужество «все знать, ничего не иметь, и не требовать и творить — в небытие» есть у Сосноры, несмотря на то, что сам он утверждает обратное, ибо он все-таки может «плыть и плыть до последней судороги».

В. Бетаки

KHRONIKA—PRESS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018

- Андрей Сахаров. *Тревога и надежда*. Один год общественной деятельности А. Д. Сахарова. 1978, 198 стр., цена — 8.00.
- Андрей Сахаров. *О стране и мире*. Сборник произведений. 1976, 183 стр., цена — 6.00.
- Петр Григоренко. *Сборник статей*. 1977, 121 стр., цена — 6.00.
- Валентин Турчин. *Инерция страха*. Социализм или тоталитаризм. 1977, 296 стр., цена — 10.00.
- Валерий Чалидзе. *Права человека и Советский Союз*. 1974, 304 стр., цена — 8.00.
- Валерий Чалидзе. *Уголовная Россия*. Очерки преступности в СССР. 1977, 395 стр., цена — 12.00.
- СССР — рабочее движение?* Составитель В. Чалидзе, 1978, 166 стр., цена — 7.00.
- Владимир Буковский. *И возвращается ветер...* 1979, 384 стр., цена — 12.00.
- Александр Некрич. *Наказанные народы*. 1978, 170 стр., цена — 7.00.
- Самосознание*. Сборник статей, составленный П. Литвиновым, М. Мерсоном-Аксеновым и Б. Шрагиным. 1976, 320 стр., цена — 9.00.
- Михаил Лунин. *Сочинения*. 1976, 175 стр., цена — 10.00.
- Память*. Исторический сборник, выпуск № 1, Москва, 1976 — Нью-Йорк, 1978; 600 стр., цена — 15.00.
- Александр Подрабинек. *Карательная медицина*. 1979, 192 стр., цена — 7.00.
- Антон Антонов-Овсененко. *Портрет тирана*. 1980, 390 стр., цена — 15.00.
- Составитель Л. Алексеева. *Дело Орлова*. 1980, 326 стр., цена — 12.00.
- Анатолий Марченко. *От Тарусы до Чуны*. 1976, 124 стр., цена — 5.00.
- Хроника текущих событий*. Номера с 28 по 56. Цена каждого номера — 5.00.
- Хроника текущих событий*. 1-й том, 95 стр. (номера с 1 по 15), 2-й том, 87 стр. (номера с 16 по 27), Издательство Фонда им. Герцена (Амстердам, 1979). Цена двух томов — 17.00.
- Хроника Литовской Католической Церкви*. 1979, 245 стр., цена — 8.00.

Коротко о книгах

NRL: NEUE RUSSISCHE LITERATUR. ALMANACH.

Institut für Slavistik der Universität Salzburg.

Redaktion: V. Len, G. Mayer, R. Ziegler

Альманах двуязычный, можно сказать, настолько русско-немецкий, что на обложке забыли проставить его заглавие по-русски. В переводах на немецкий язык есть замечательное, но встречаются и досадные смысловые ошибки. Ошибкой кажется и перегруженность критической части альманаха трудами современных адептов семанто-структурализма, которым больше подходит называться шаман-структуралистами. Направление исторических публикаций альманаха, так или иначе связанное поэтикой футуризма, супрематизма, обериутства и катакомбного художества в Советской России, по-своему чертит по «особо подчеркнутому» в предисловии москвича В. Лена желанию, чтобы альманах являлся «только литературно-художественным». Без социологии и политики в осмыслении искусства, находящегося в СССР под запретом, тоже не обойтись. Слишком кратка и непредставительна антология стихотворений, данная под заглавием «Бронзовый век». Слишком много места отведено под поэзы и словесную графику Е. Мнацакановой, в которых, однако, с наибольшей выпуклостью подтверждается положение редактора Р. Циглер, что «обсуждение литературной традиции и традиционного статуса русского писателя становится... предметом самого литературного творчества». Поэзы Мнацакановой в таком количестве действительно могут усыпить или взорвать терпение слушателя и читателя экспериментально-поэтическим обсуждением канона русской поэзии посредством немецкого экспрессионизма, современного поэтического структурализма и оскопленного корнесловия, которое с Хлебниковым дано нам днесь. Обсуждение это происходит у Мнацакановой (в отличие от поэтов полного диапазона, таких, каковы сейчас И. Бродский, Э. Лимонов, Е. Шварц) на слишком высокой ноте и в диапазоне донельзя суженном; так, например, ее «Маленький реквием» (на 8 страниц просторного альманаха) — это большая нагрузка для глаза, считающего гласные в подобной строке:

— о — о — о —

так пою навсегда надгрюоообнонадгрюооообно пою пою наааавсе-
гда рыыыыдаю...

Фонетико-поэтический смысл в этом есть, и слышится, но он экспериментально, можно сказать, злонамеренно загроможден для произношения и для уха. Жалко, что поклонники этой протестантки от звука не печатают ее конкретных по размеру вещей, а только подобные полотнища.

С благодарностью перечитываешь в НРЛ полуэссе В(енедикта) Ерофеева: РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА, почему-то столь долго не находившее западного издателя. Это не только Розанов, это и ерофеевский канон, и искусство вскрика руки, лежа посмешнее «на канapé». Ерофеев, в душевном с в о е м печаловании, лучше многих шаман-структуралистов вычисляет и все чисто розановские мотивы, когда:

«Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело, не вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые со времен злополучной Ходынки... Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал...»

Именно — сказал. Таковы внутренние течения (и вполне структуры) Голоса в современной русской словесности. Не нуждается в подробном представлении и Ю. Мамлеев, который начал заявляться в общежитие русскоязычных изданий за рубежом со своим уставом, не раскланиваясь будто ни в какие чужезнаемые стороны:

«Напившись кофеечку... стук сердечка своего послушать, да в зеркала насмотреться... У деревьев, укрывшись от дождика, рисовали что-то сюрреалистическое два художника...»

— Нет, вы меня не поняли, — спохватился толстячок. — Моя жена...

Я глянул на его жену. Только теперь я увидел в ее лице что-то лисье. Впрочем... нередкость у людей, особенно у женщин. Правда, на висках волосы...»

И т. д. до «реализации» Ирины-Как-АБСОЛЮТ... («Путешествие»). Впрочем, об абсолютности своей относительно Достоевского «БОБАК» Мамлеев сам критически высказался в эссе на эту тему («Р.М.» за 30 авг. 1979). «Черные притчи» Мамлеева кажутся демонами из платоновских «котлованов», попущенными в ров Даниила (Андреева). Остальное, как сказала бы З. Шаховская («В поисках Набокова»), остается еще «тайной» писателя (и «реализа-

тора»). «Взгляд был туповатый, я бы даже сказал субстанциональный...», — замечает Мамлеев. Это опять-таки — обсуждение «статуса писателя», литературного канона и контекста, как он сложился в Москве в 60-е годы.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

Е. Козловский, Б. Брикер и А. Вишневский

Поэзия:

Ч. Милош, К. Померанцев, И. Блиднецова

Публицистика:

**М. Джилас, М. Хейфец, И. Ледерер,
З. Фауст, Я. Вальц, П. Вайль и А. Генис**

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,
USA**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

По страницам журналов

О ЖУРНАЛЕ «22»

(Заметки постоянного автора)

«Наша секта наделена всеми необходимыми признаками тайных еретических сект: гонимостью, твердой убежденностью в своем высшем предназначении, особым жаргоном... Лишь названия ей еще не придумано — хотя многие из нас в судорожных попытках самоидентификации чаще всего употребляют два эрзац-имени: «еврей» и «русский интеллигент». Думаю, что второе ближе к нашей сущности и меньше отдаёт на вкус самообманом...»

Илья Рубин

1

Наш читатель остался в России. А уехали — мы. Сочинители, литераторы, наконец, писатели — за названием дело не станет. Читатели же в своем подавляющем меня большинстве остались там — на своем месте.

По вполне понятным и простительным причинам этот факт — ни в каких специальных доказательствах не нуждающийся, видный невооруженным глазом, — многими из отъехавших категорически не приемлется. Возможно потому, что глаз у нас не только, так сказать, невооруженный, но — разоруженный. В звание читателя того, что мы здесь сочиняем, возводятся то выпускники Пажеского Корпуса с сыновьями, внуками и правнуками, то студенты «русских факультетов» Техаса, Квебека и Мельбурна, то какие-то «советские евреи». Иногда упоминают «западную публику» («западную общественность»). Нет сомнения, что все перечисленные категории прочли «Архипелаг ГУЛаг», прочли «Карантин» — каждая категория на своем языке. А западная публика (общественность) уже довольно долго наблюдает за шастаньем упитанных «зэков» по телевизион-

ному экрану. На «эзках» — пыжиковые шапки, обвязанные для тепла махеровыми шарфами. Все это называется так: «Уан дэй оф Иван Дэнисовитш»... Но топорный здравый смысл, от которого я стараюсь по мере сил не отказываться, твердит, что основная масса написанного на японском языке читается в Японии, а основная масса написанного на русском в России.

Я намеренно начал с эмигрантских плоскостей, так как они — эти плоскости, банальности, примитивности, — меньше отдают на вкус самообманом: о коем и писал российский литератор Илья Рубин, умерший в 1977 г. в Израиле. Для того, чтобы двинуться дальше, мне придется продолжить цитату, вынесенную в эпиграф. «...окружающие распознают нас мгновенно — и всякое лыко ставят нам в строку — уклон в иудейство и уклон в христианство, дурацкую торжественность на фоне всенародного хихиканья и неуместную улыбку во время торжественной церемонии, космополитизм и национализм, любовь к России и ненависть к России».

2

Журнал «22» создан участниками тайной секты, к которой принадлежал и сам Илья Рубин. Не умри он так рано — его имя вошло бы в алфавитный список членов редколлегии, вместе с остальными... Они основали журнал после того, как их в полном составе выставили из издания «Сион» — израильского официоза на русском языке. Сектанты тихою сапой пытались превратить «Сион» — в журнал. Это им почти удалось. Но хозяева вовремя заметили опасность — и двадцать первая книжка «Сиона» стала для сектантов последней. Д в а д ц а т ь в т о р о й номер стал первой книжкой журнала «22». Неприятеля дразнят этот журнал «перебором», а знатоки (скажем, карточной игры) — называют его «золотое очко» — два туза.

Скорее всего, «двадцатидвушники» со мною не согласятся — или согласятся лишь частично, — но мне кажется, что читатель их также остался в России.

Все наши журналы, выходящие за бугром, я меряю единственной меркой: что произойдет с данным набором текстов, если при фантастическом изменении ситуации его можно будет покупать и выписывать в России? Речь идет непременно о свободном распространении, а не о проникновении

«тамиздата», — потому что к практически любому неподцензурному материалу российский читатель относится с пиететом. Так вот, по моему глубочайшему убеждению, журнал «22» это испытание выдержит — не сломается, не исчезнет. В отличие от многого другого.

Я не знаю, что это за птица — «еврейская интеллигенция из СССР», для которой и от имени которой будто бы издается «22». Но из моего незнания — или непонимания — абсолютно ничего плохого не следует. Журнал — вещь вполне конкретная, стало быть, всяческие автоименования, лозунги, программы, устремления на шуму-титулах сами по себе малосущественны. «22» получился чтением российским, а то, что выходит он в Израиле и члены его редколлегии — сплошь новые израильтяне (бывш. «советские евреи»?), никакому нормальному читателю не помешает. Более того — поможет. Ибо «22» лишен трогательного притворства — он не подделывается ни под коренного русака, ни под намертво укорененного израильтянина. Он таков, каков он есть. Именно этот серьезный н о н - к о н ф о р м и з м , не пытающийся выдать необходимость за благо, свойствен журналу «22». Умение и желание быть самим собой — никакой иной «нон-конформности» не бывает...

3

«Безумие мое бредит по-русски», — писал Борис Хазанов, собираясь уезжать. А старый парижский поэт-россиянин, похороненный в Израиле, — Довид Кнут: «Особенный еврейско-русский воз дух — блажен, кто им когда-нибудь дышал...» Говорят, что есть такая стра та : русский еврей. Сидел человек в России, знал себя русским (интеллигентом, слесарем, композитором). И словно бы по наитию произнес: «Я еврей!» Поехал в Израиль. Приехал — и утверждает: «Я — русский!». Что его понесло, куда его занесло? Страх сорвал его с места, смелость ли? Авраам, Исаак и Иаков? Галилейские рыбаки Андрей и Симон, прозванный Петром? Ответа покуда не слышать — да и не верится, что когда-нибудь услышим.

Журнал «22», взятый как целокупное, — порождение этих вопросов, порождение трагедии, дом и стол для ее персонажей. Вне зависимости от желания участников. Главное — не лицемерить. Не приставлять к трагедии похабных эпитетов, вроде «оптимистическая»... Хотя существуют и другие мнения. Дивится-удивляется

рецензент книги Г. Смита «Русские»: «Вид русского еврея, плачущего по своей тюрьме, вообще недоступен никакому пониманию...»

Как и всякий журнал, выходящий на языковой чужбине (даже если и называется эта чужбина исторической родиной), «22» чуть ли не больше, чем читателям, надобен авторам. Российский журнал, выходящий в Израиле, надобен русским литераторам, живущим в Израиле. На цибуке с косметическим порошком можно поставить: «Нью-Йорк - Лондон - Париж - Тель-Авив». Косметика — дело международное, что вполне правильно. На журнале «22» стоит: «Москва - Иерусалим». И прямая, соединяющая эти две точки. Здесь опять возникает тема притворства. Литература в эмиграции может притворяться двояко: 1) никуда я не уезжал и 2) ниоткуда я не приехал. Те из нас, что живут в Европе и Америке, бланятся притворством по первому способу, живущие в Израиле — по второму. Но над израильскими жителями, облегчая притворство, валандается в голубых небесах призрак еврейской литературы на русском языке. Русская по форме — еврейская по содержанию. Советские евреи пишут и читают еврейскую литературу на русском языке... Несмотря на чисто филологическое омерзение, вызываемое у меня этим призраком, понимаю — заманчиво. Не менее заманчиво, чем писать на русском языке книжки для американцев. Мгновенно в перевод — и нет никакого «русского гетто». Американская литература на русском языке. Точнее — русская литература на английском языке для «западной общественности». И с такой идеей я успел встретиться. Языковая чужбина легко порождает подобных уродцев, потому что трудно человеку сразу примириться со своим, прямо скажем, незавидным положением.

«22» почти и не пытался заработать на притворстве. Почти — то есть очень быстро сообразили там, что ничего не выйдет. Признались себе и читателям, что приехали из России, а живут — в Израиле. А признаться было трудно, потому что читатель — из тех немногих, что находятся сравнительно недалеко от наших журналов, — не спешит внутренне разоткровенничаться. Никуда не приехали — ниоткуда не уехали... И весь первый пяток номеров «22» ушел на подспудную и довольно жестокую борьбу с читателем. Чуть было всех не разобидели. До сих пор не умолкли крики: «Что вы мне тычете свою Россию?!», а в ответ: «Израиль-то свой чего мне пихаете?!»

И я, ей-Богу, не понимаю — откуда взялись у «22» сторонники? Но читают его, покупают, выписывают — стало быть, есть. И

журнал не распался на две половинки: та — московская, та — иерусалимская. Постепенно отыскивается некая пропорция для составления вроде бы немислимой смеси — смеси несмешиваемой, невозможной, идущей слоями, пластами. И получается что-то похожее на истину.

4

О «Дневниках» Э. Кузнецова («22», №№ 5-6, затем — отдельное изд. «Мордовский марафон», 1979, «Москва - Иерусалим») спорено достаточно. Специальное место под дискуссию было отведено в седьмой книжке «22» — и это не считая иных изданий, публичных высказываний и т. п. Хочу обратить внимание только на одну особенность спора — говорилось в основном не о том, «как Кузнецов осмелился так написать», но — «как '22' осмелился это опубликовать?».

Есть такой устарелый оборот: потрясающий человеческий документ. Это — о мемуарах Кузнецова. Интересно, что первая часть кузнецовских дневников никакого спора не вызвала, — хотя все, что в более концентрированном виде проявилось во второй части, присутствовало и там. Перечитайте. Возвращаясь к теме «осмелившийся». Дневник — в его журнальном варианте, прежде всего, — запечатлел (еще один устаревший оборот) состояние личности мемуариста в ситуации, которую принято называть экстремальной, предельной. Да и сама личность — разве так она обычна? Согласитесь, что человек, получивший в двадцать три года семь лет лагерей (не «при Сталине», а в период «оттепели»...), а через год после окончания этого немалого срока — приговоренный к расстрелу, замененному пятнадцатью годами особого режима, может рассчитывать на принятие некоторой своей необычности. Я говорю не о двадцатидвухлетнем сроке, а о том, что за ним... Не будь Кузнецов в 1979 году обменён на советских шпионов — в основу полного текста его мемуаров легла бы журнальная публикация. С теми главами, что и вызвали возмущение: может повредить...

Дневники, напечатанные и без «спорных мест», читались бы всеми. И все бы благодарили редакцию, восхищались бы автором. Худо ли? Никаких конфликтов — стоило только учесть распространенное убеждение: «есть такая правда, что может помешать нашей борьбе за правду». Я не «заостряю»: передо мною заметки одного из противников журнального варианта кузнецовских мемуаров.

Ответы на анкету редакции «Памяти» (сб. 3-й, стр. 470), посвященную десятилетию «Моих показаний» Анатолия Марченко. Читаем: «Книга Марченко — пугает, угнетает, и в этом она не принесет пользы. Перед человеком, впервые попадающим за тюремную решетку, встанут мрачные образы с ее страниц, и это не укрепит его духа. В этом общий ее недостаток со многими самиздатскими публикациями. Они деморализуют».

Деморализованные красной ложью чуть ли не до полной потери самого что ни на есть простейшего, «мещанского» человеческого облика, — неужели хватит нашего безумия на то, чтобы красную ложь замазывать «белой»?

Соответствующие страницы в книге отредактированы. А я все возвращаюсь к ним — журнальным; к т о м у Кузнецову, пред которым еще семь лет мордовского марафона — отчаянному, спокойно-бешеному, опасному, саркастическому.

«Всякой заботе о сплоченном противостоянии врагу есть свой предел, за чертой которого измученное компромиссами нравственное чувство начинает судорожно биться в истерике, вопя: «Не нужно мне побед над врагом *такой* ценой — ценой союза с явной дрянью!» («22», кн. 5, стр. 29).

Документальная повесть Владимира Маркмана «На краю географии» (кн. 3-4) относится к мемуарам б ы т и й н ы м, хотя рассказывается в них о лагере. Только о лагере уголовном. А нынешний уголовный лагерь в СССР — с его «пацанами», «мужиками», «быками», «петухами» (лагерные категории — от высшей — к низшей) — известен недостаточно. Попадающие туда правозащитники и участники национальных движений — по преимуществу краткосрочники. Естественна их брезгливость, заставляющая з а к р ы т ь с я, отгородить душу и тело от окружающей патозоологии. И как нам не поблагодарить Маркмана за его душевную и нравственную силу, позволившую ему превратиться в путешественника, стороннего и внимательного наблюдателя. Можно, разумеется, долго рассуждать — насколько такая позиция «правильна».

По-видимому, обитатели уголовного лагеря доступны только стороннему наблюдению. Из их среды, изнутри — мемуаров (правдивых) ждать не приходится.

«... — Что б ты сделал, Паша, если б мы с тобой когда-нибудь встретились на свободе, и ты бы узнал, что у меня есть 5000 рублей?

— Убил бы, — не задумываясь, сказал Паша.

— Но ведь жизнь человеческая...

— Ну и что? Зачем вы мне нужны? А на деньги я смогу прожить» (кн. 4, стр. 103)...

«— Перед последней посадкой мы с приятелем одного китайца раскололи. Взяли у него целый пуд плану... Китаец, сволочь, не отдавал план. Уж мы его мурыжили, на раскаленную печку садили, по пяткам стегали железом — ничего не помогало. Потом приятель догадался — подвесили мы его мальчишку, лет шести малыша, под потолок...» (там же, стр. 111).

Ведь если подобное слышать и воспринимать незащищенную душою — можно сойти с ума или — «деморализоваться». Записки путешественника Владимира Маркмана — единственные в своем роде, несмотря на внешнюю традиционность.

Воспоминания Клары Пруслиной «Счастливое детство» («22», кн. 6) по «содержанию» еще более традиционны — дочь посаженных «красных профессоров», война, голод...

«Я на работе! У меня рабочая карточка! Я купила картошку (ее давали вместо крупы) и колбасу (вместо мяса). Если бабушка поест, она, может быть, не будет такой суровой и странной...

Бабушка по-прежнему лежала лицом к стене. «Бабушка, — сказала я, — я устроилась на работу, я уже получила рабочую карточку! Сейчас я сварю...»

Она внезапно села и посмотрела на меня... «Вот, — растерянно сказала я, — тут картошка, колбаса...» — «Дай мне! торопливо сказала она». — «Я сейчас сварю...» — «Нет, дай сейчас же!» Я протянула ей колбасу. Она буквально выхватила ее у меня из рук и тотчас отвернулась — лицом к стене.

Картошка наконец сварилась. Я хлебнула несколько ложек восхитительной жидкости и понесла суп в комнату. «Бабушка, — крикнула я, — картошка готова». Она не отвечала. «Ну что же ты, заснула?» — спросила я, наклоняясь к ней... И в ужасе отпрянула. На руке у бабушки сидела крыса и спокойно пожирала колбасу. Бабушка была мертва, а меня крыса нисколько не боялась» (кн. 6, стр. 102).

Эти по-жуткому детские воспоминания напоминают мне прозу Фридриха Горенштейна — сюрреалистическим рубленным льдом кратких фраз. И если в случае с Кузнецовым была у «22» решимость печатать, то с Пруслиной — понадобилось умение найти; нам осталось прочитать...

Документальный роман И. Гиндиса «Хроника местечка Чернополь» («22», кн. 2) назван автором повестью. По-моему, это невер-

но. Временной охват — шестьдесят лет примерно. Поливалентность ситуаций, смена поколений. Но это уже относится к спорам о жанрах.

И. Гиндис написал историю мертвых. Историю уничтоживших друг друга украинцев и евреев местечка Чернополь. Медленный, почти научный, прозекторский переклад штабеля трупов, в последнем смертном усилии вцепившихся друг другу в глотки...

«Через месяц еврейская секция укома мобилизовала охранников в продотряды. Перед отъездом Миша-командир провел давно задуманный расчет «голова за голову». ...Вырезано 150 евреев, убито гайдамаков 130. Корявым солдатским почерком Миша вписал в тетрадь 20 фамилий... Они были взяты ночью, усажены на подводы с привязанными к перекладинам руками, отвезены в уездную ЧК и там расстреляны» (кн. 2, стр. 41).

Я назвал всего четыре из объемных прозаических публикаций в журнале — прежде всего потому, что они кажутся мне одновременно и лучшими и типичнейшими для «22», старающегося одновременно и влезть поглубже в детали, и подняться над деталями повыше. И — опять-таки — не смолчать, не сфарисействовать.

5

Хвалить журнал за разовую удачу — невежливо. Но я отступлю от этого правила. Ибо «22»-м посчастливилось: в девятой книге опубликована одна — из двух! — представительных подборок стихотворений Бориса Чичибабина — крупнейшего, пожалуй, из живущих в России поэтов старшего поколения. Борис Чичибабин обладает качествами, делающими стихотворца большим поэтом: очень высоким «коэффициентом полезного действия таланта», превращающего «первую природу» во вторую — в литературу, не боящуюся литературы; есть у Чичибабина бессознательная нравственно-религиозная концепция, сводящая все «отдельные удачи» и «отдельные неудачи» во единую систему своего мира — с морем и сушею, с небом и землей.

Вместе с подборкой Чичибабина в первом выпуске ардисовского «Глагола», публикация в «22», наконец-то, дает нам поэта — хотя понятно, что сотворенное Чичибабиным за двадцать пять лет работы требует книги — и не одной...

Приведу целиком сонет Чичибабина. Он так долго был изустным, что я рад лишней возможности напечатать его.

СТАРЫЙ КЛАДОВЩИК

Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в младенческом разладе,
весь погружен в наивный полусон.
Должно быть, есть же старому резон —
забыв года и не забавы ради —
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с каким-то колесом.
Ему в одышке, в оспе ли, в мешчанстве,
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен...»
А старичок, в ответ на эту речь их,
твердит в слезах: «Да рази ж я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут причем...»

Понятно, что были у «22» и другие поэтические удачи: поэма Анри Волохонского, стихотворения Е. Шварц... Но, по-моему, стоит Борис Чичибабин отдельного упоминания.

6

Я пишу заметки о журнале, а не о «составляющих его» авторах. Оттого, переходя к публицистическим разделам «22», только упомяну о всегда интересных, едких и профессиональных А. Воронеле, И. Шамире и Юрии М. Меклере. Меклера, впрочем, отмечу особо: жанр сатирического эссе в русской публицистике разработан мало, а Ю. Меклер один из немногих, свободно им владеющих... Смысл этой публицистики для многих читателей (тех, что ниоткуда не уезжали, и тех, что никуда не приехали) невнятен, ибо, живя физически на свободном Западе, а духовно в кругу советских проблем и представлений, не осуществляют ли они тем самым московский идеал? Но для людей, привыкших жить первичной жизнью, каждодневная жизнь здесь ставит множество проблем, которые в российской публицистике и не поставлены.

Так, спор о допустимых границах свободы, вызванный опубликованием сначала повести Ю. Милославского «Собирайтесь и идите!», а потом «Дневников» Э. Кузнецова (№№ 5, 6, 7) имеет значение независимо от самих этих публикаций. Обсуждение писаний Э. Лимонова (№ 8) имеет прямое отношение к нашему самопознанию, что бы мы ни думали о самом Э. Лимонове. Наши представления о приличии и неприличии подвергаются здесь, на Западе, такой ломке, что об этом нужно что-то сказать (№№ 8, 10). Наши политические симпатии и антипатии, отношение к «левым» и «правым» в театральном мире (№ 9), в большом кино (№ 11) или в отношении к прямому политическому действию в раскаленной атмосфере Израиля (№№ 7, 9, 11, 12) обсуждаются на страницах «22» с такой же откровенностью, как и все другие вопросы. Наша склонность сочувствовать всякому диссидентству натолкнулась на неожиданное препятствие в виде самовыражений террористов («Об убийствах и тайном наслаждении», № 5). Наше уважение к искусству и науке подверглись неожиданным испытаниям вдали от источников финансирования, в сравнении с драматизмом реальных судеб и страстей («Страсти по музею», № 10). Наша маниловская склонность ожидать от политики «справедливых решений» и «мудрых предвидений» столкнулась, наконец (давно бы пора, еще со времен Тургенева — «Затруднения современного либерала», № 9), с неумолимой реальностью необеспеченного мира («Кэмп-Дэвид: за и против», № 5, «Интервью с Меиром Кахане», № 11, «Стратегия Садата», № 12).

Пришло время для претензий — не к определенным материалам, а к разделам журнала «Судьбы идей» и «Русский вопрос». Получилось так, что разделы эти почти целиком заполняются историками и философами — сторонниками так наз. «Демократических альтернатив». «Альтернативы» противопоставлены в нашей прессе — и в жизни — «почвенникам». Однако в «22» это противопоставление не выделено. «Проведение плавной линии от русских императоров до членов политбюро» уже давно никого не задирает. Низведение русской истории до скоростной публицистики стало для некоторых авторов традицией — и потому скучно это читать... На страницах «22», отведенных судьбам идей и русской истории, мы слышим голос только одной стороны — и поэтому восстановить суть и смысл беседы читатель не в состоянии. Непонятно, почему надо «облегчать» журнал за счет именно этих разделов — недальновидно и невыгодно.

Слишком много «участков», заполненных пустяковыми, затропленными словами: «летучими заметками о загранице» (так назвал это направление А. Солженицын), абсолютно газетными, к вечеру же умирающими материалами, глубокомысленно-графоманскими рассуждениями о разнице между эмиграцией и репатриацией («дискуссия»?)... Все бы это в лучшем случае петитом, да в кратчайших выдержках, да в самый конец — если не вовсе вон!

* * *

За свое двухгодичное существование (12 книг) «22» успел не только заявить «аз есмь», но и предложить п о з и ц и ю, занять некое место в раскладке российской журналистики — вне России.

Мне представляется, что «22» неосознанно родственен «Новому миру» времен Твардовского — и в своем хорошем, и в своем плохом. И еще — «Миру Божьему» времен Давыдовой. Может, и странные родственники, — но вполне достойные.

Юрий Милославский

ГОЛОСА РУССКИХ ЖЕНЩИН

Обзор самиздатских журналов «Женщина и Россия» и «Мария»

Возникновение в Ленинграде феминистского движения может служить подтверждением теории об убыстряющихся исторических процессах: когда в сентябре 1979 г. Татьяна Мамонова предложила издать женский, феминистский журнал, эта идея вызвала энтузиазм, но сами идеи и принципы феминизма были для большинства участниц новинкой. Меньше чем за год был создан альманах «Женщина и Россия» и вокруг него сложилась группа яростных феминисток, которая успела: и разделиться на несколько группировок, и издать новый альманах «Мария», и добиться перевода большинства текстов на иностранные языки*. Интерес к движению на Западе и репрессии в Ленинграде привели к эмиграции основных лидеров: Т. Мамоновой, Т. Горичевой, Н. Малаховской, Ю. Вознесенской.

Начинается альманах редакционной статьей «Эти добрые патриархальные устои», в которой утверждается, что «положение женщины в обществе — узловым вопросом современности». Это — то, на чем сходятся все авторы альманаха, так же, как и на утверждении, что положение это — ужасно. «Невозможно поверить, что жизнь может так карать ни в чем неповинных людей только за то, что они родились женщинами, — говорится в «Воззвании», закрывающем журнал. — Положение наше настолько невыносимо, что, кажется, должно исчезнуть само, рассеяться как ночной кошмар». При первом знакомстве от альманаха остается впечатление тотального негативизма, и трудно разобраться сразу, к кому относится этот пафос отрицания — протест ли это женщины против своей природы. или против невыносимых условий существования. Сила отрицания может просто оглушить. Но разделить горе, высказать наболевшее — это одна из целей, ради которой создавался альманах. И в этом наболевшем, в этом крике, различаются оттенки, взгляды и подходы к проблеме женщины почти противо-

* «Femme et Russie», Paris, «Des femmes», 1980.
«Rossijanka», Paris, «Des femmes», 1980.

положные. Татьяна Мамонова выражает традиционно феминистский взгляд на современное общество как на общество патриархальное, созданное мужчинами и для мужчин. В статье Н. Малаховской «Материнская семья» сквозь презрение к эгоистичному и жестокому мужчине, поработившему женщину, просвечивает мечта об идеальном обществе из детей и женщин. Две статьи «Роды человеческие» Р. Баталовой и «Обратная сторона медали» В. Голубевой о советских абортариях являются самыми «социально-острыми» материалами журнала. Если считать, что назначение женщины в том, чтобы дать новую жизнь и воспитать дитя, то антагонизм между этим назначением и неприглядной действительностью, в которой рождение ребенка приводит почти неизбежно к потере женщиной человеческого облика (и само сопровождается глубоким унижением), — неразрешим. В «Письме из Новосибирска» Ю. Вознесенская рассказывает эпизод из этапа — об издевательствах охраны и врачей над малолетками — эпизод простой и страшный в своей обыденной жестокости. Она начинает так: «Вот теперь все, вот теперь я уже видела самое страшное. Больше мне ничего не покажут, можно уже и назад возвращаться: дошла до их предела и за предел заглянула».

Но наиболее зрелым и выстраданным мне представляется подход к проблеме у Татьяны Горичевой, ищущей пути не в отрицании, а в утверждении христианских ценностей любви и морали. Ее статья «Радуйся, слез Евиных избавление!» особняком стоит в альманахе, потому что в ней жизнь и духовный путь женщины осмысливаются с других позиций. Страдание, против которого так единодушно восстают авторы альманаха, больше не унижает, жизнь приобретает другую ценность и другую ответственность.

Альманах вызвал большой интерес и был вскоре переведен на французский язык. Его успех и явился причиной скорых и массированных репрессий. Обыски, многочасовые допросы, клевета — все это обрушилось на женщин, которые осмелились выкрикнуть правду о своей жизни. Но, как написано в предисловии ко второму женскому альманаху — «Мария» — «положение женщины из-за этого не переменилось, проблемы, волнующие нас, никуда не исчезли. Вот поэтому мы, читательницы альманаха «Женщина и Россия», решили создать новый журнал для женщин, назвать его —

«Мария». В России достаточно женских имен, и женщин больше, чем работников КГБ».

В журнале несколько разделов. В первом «Наши взгляды, идеи, позиции» помещены материалы конференции, проведенной 29 марта. Журнал знакомит читателя с выступлениями Татьяны Горичевой «Ведьмы в космосе», Наталии Малаховской «Заживо погребенные» и Юлии Вознесенской «Домашний концлагерь».

Доклад Горичевой начинается эмоционально, с личным пафосом: «Когда Господь Иисус Христос шел на последнюю пытку, Его оставили все, даже ученики. И только женщины следовали за Христом, оставаясь верными Ему и любя Его больше своей жизни». Говоря о только что возникшем женском движении в России, Горичева справедливо подчеркивает: «Именно женщины впервые заговорили о тотальном насилии, совершающемся над человеком в советском обществе и заговорили с такой откровенностью, что весь мир увидел: ГУЛАг для советского человека не ограничен лагерем или тюрьмой. ГУЛАг — это его повседневная жизнь. Женщины заговорили о нашей общей боли и тревоге, женщины подняли голос в защиту всех угнетенных и притесняемых. Вновь Господь избрал незнатное мира, чтобы посрамить знатное, и немощное мира, чтобы посрамить сильное». Татьяна Горичева вскрывает и анализирует известное изречение Ленина о том, что кухарка станет править государством. Парадоксально-зловещим образом эта мечта осуществилась, как и многие его идеи, приняв карикатурно-трагический вид. «Советское общество — формулирует Горичева, — это в некотором роде псевдоматриархальная антиутопия, ибо это не общество, а одна огромная кухня». Основной вывод доклада: «...никакая социальная революция не освободит женщину, если одновременно она не будет революцией духовной».

Серьезным анализом социальных условий жизни женщины отмечено выступление писательницы Н. Малаховской. «Угнетение человека в нашем обществе зашло гораздо глубже мыслимых пределов... Мне хочется, чтобы до всех, наконец, дошло: лишение политических прав имеет отношение не столько к политическим интересам человека, сколько к самым интимным сторонам его бытия... Узы тьмы, налагаемые на душу человека, уродуют ее до неузнаваемости».

Наталья Малаховская говорит о страшной альтернативе для женщины, лишенной возможности творить, — такая женщина «...начинает разрушать. По закону цепной реакции вчерашняя жертва становится сама палачом. Палачом собственной души, лучших ее порывов, совершая святотатство. Палачом для близких: детей и всех, попадающих в сферу ее влияния».

Органично вошли в номер материалы раздела «Женщина и ГУЛаг», который открывает пронизанная теплым чувством любви и признательности статья о Татьяне Великановой. Татьяна Великанова воплощает для ленинградок идеальный путь — отсутствие авторитарности, «громкой» славы, — и огромный авторитет и огромная необходимость людям, в силу ее самоотверженности и терпимости, редкого в наши дни таланта «понимания».

Интервью с женой Владимира Пореша, организатора религиозного семинара и журнала «Община», арестованного 1 августа 1979 г., рассказывает не только о Владимире — светлом и чистом человеке, за свои убеждения ставшем новой жертвой ГУЛага, — в нем незаметно высвечивается облик его жены Татьяны, помощницы и соратницы. Две крохотные дочки Порешей остались без отца, без средств к существованию. Но нигде Таня Пореш не говорит о своих несчастьях, через журнал «Мария» она обращается к женщинам всего мира с просьбой помочь женщинам России, помочь семьям мучеников за веру.

Заканчивается раздел маленькой статьей о Татьяне Щипковой, филологе, которая свое 50-летие встретила в тюрьме и получила три года заключения за свою дружбу с Владимиром Порешем, за то, что отказалась скрывать свои христианские убеждения.

Мировоззренческим вопросам была посвящена дискуссия «Феминизм и марксизм». В ней участницы оказались на редкость единодушными в оценке марксизма и его разрушительных последствий. Говорит Л. Васильева: «Марксизм — тяжелая болезнь сознания, карма, которую выстрадали миллионы, и возвращения к нему не будет». Н. Лукина: «Марксистская теория выходит из абстрактных объективных задач, не имеющих никакого отношения к реальности... Самая противоположная ей точка — феминизм». Только у Юлии Вознесенской прозвучал призыв к терпимости в отно-

шении марксизма. Она считает, что всякая теория имеет право существовать и развивать себя. «Я не против марксизма, но против большевизма, т. к. он — бандитизм...»

И особо — раздел «Женщина и церковь» — так актуальный для сегодняшней России. В нем помещены «Письма по молитвам к Богородице» Т. Горичевой и рассказ автора под инициалами К. Р. «О Вере моей». Как уже свойственно Тане Горичевой, текст ее духовно-насыщен, экстатичен, приближается по жанру к проповеди. В первом письме «О духовном нищенстве» Горичева раскрывает смысл знаменитого изречения Иисуса Христа «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное», противопоставляя им духовно нищих, воспитанных советской пропагандой, чей лозунг — «хочу все знать». «Главный принцип — принцип количества, и, соответственно, любопытства. «Хочу все знать» — вот фраза, подменившая духовную жизнь. Исчезло понятие духовной гигиены, перестали различать духов. Перестали вообще что-либо различать». Второе письмо называется «Взыскание погибших» — так называют в народе Богородицу. С любовью и трепетом пишет Горичева о Богоматери, в чьем заступничестве каждый верующий мог убедиться на собственном опыте.

«О Вере моей» — это бесхитростный и трогательный рассказ обычной женщины, воспитанной в атеистической семье, пионерско-комсомольской школой и педагогическим институтом, о том, как все ее представления перевернулись в результате обращения в Веру. Это рассказ о первом причастии и первой исповеди, о том, какой это был великий и светлый праздник.

Как бы по контрасту следует фоторепортаж «Наша счастливая, счастливая, счастливая жизнь» — всем знакомые дома-трущобы, белье на веревках, пьяные, тоска и грязь.

Логическим комментарием и продолжением служат записки Айвы Лаувы из Латвии «Хозяин семьи». Они состоят из ряда новелл, и хоть автор не хочет пугать читателя, становится страшно. А. Лаува описывает несколько семейных историй, сюжет которых — преступления мужей против своих жен, а смысл — униженная и рабская доля женщины в стране Советов.

Неожиданно развивается мысль в интересной статье Софьи Соколовой, прозаика и драматурга «Слабый пол? —

Да! мужчины». Она доказывает, что если у женщины никакие революции и тоталитарные системы не могут отнять возможности выразить себя в материнстве, то для мужчины не осталось другого выхода, как обрести тень самоуважения в алкоголе, остальные возможности стать творческой личностью для него закрыты тоталитарной системой.

Но недаром создатели журнала в своем интервью для французского журнала «Альтернатива» вспоминают хрестоматийного Некрасова:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
И третья — до гроба рабу покоряться...

Но, кажется, что покорность и молчание женщины кончились. И заговорили прежде всего те, кто и раньше не мог молчать.

Вадим Нечаев

8 ноября 1980 года в городской больнице Кёльна (ФРГ), после продолжительной болезни из-за повреждений, полученных в автомобильной аварии, скончался

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ РАР

— долголетний член Совета Народно-Трудового Союза российских солидаристов, член Политической комиссии Совета НТС, руководитель издательства «Посев».

Несмотря на чрезвычайную загруженность работой — всегда на важнейших ее участках (так, он организовал и провел работу Конгресса за права и свободу в России [Гаага, 1957], был первым руководителем Управления зарубежной организации НТС [Париж, 1959-1961] и первым руководителем Фонда Свободной России [Франкфурт, 1966-1967], осуществлял связь с внутрirosсийскими силами, в 1970-1974 гг. был главным редактором журнала «Посев», откуда и перешел к руководству издательством), — Л. А. Рар выкраивал время и для публицистической деятельности: писал статьи (под своим именем и под псевдонимом Д. Шагаров), работал над историей НТС, участвовал в составлении книги о психотюрьмах в СССР «Казнимые сумасшествием»... его перу принадлежит и перевод с англ. статьи Л. Лабедза, опубликованной в 3-м и 4-м номерах «Континента».

НТС, издательство «Посев» и всё Российское освободительное движение со смертью Л. А. Рара потеряли крупного политического деятеля, энергичного организатора, все свои силы и время отдающего работе, а для людей, лично знавших его, — это еще и невосполнимая утрата доброго, чуткого, отзывчивого, обаятельного человека редких душевных качеств.

Редакция и сотрудники «Континента» выражают глубокое соболезнование вдове, сыну, дочери и всем родным и друзьям покойного.

Наша анкета

РАЗГОВОР С ЧЕСЛАВОМ МИЛОШЕМ

После двух наших авторов и членов редколлегии — Сола Беллоу и Андрея Дмитриевича Сахарова — еще один писатель, выступавший на страницах «Континента», удостоен Нобелевской премии. Для тех, кто знает творчество Чеслава Милоша, смешно вообразить, что Шведская Академия сделала «политический шаг», как представили это некоторые славящиеся своей «объективностью» органы западной прессы. Милош — прозаик, публицист, литературный критик, но в первую очередь поэт, — живя в эмиграции, в добровольном изгнании, уже вернулся на родину. И не только книгами, вышедшими на Западе, и постоянными публикациями в журнале «Культура», но и кустарными самиздатскими сборниками, стихами на страницах самиздатских журналов, неофициально (но не подпольно) организованными авторскими вечерами, где только автора нет, а любителей его поэзии битком набито, магнитофонными кассетами с записями его стихов. «Континент» дважды знакомил русского читателя со стихами Милоша: публикуя сами стихи в переводе Иосифа Бродского и печатая статью Эммануила Райса о поэте. Сегодня, после награждения Чеслава Милоша Нобелевской премией, мы предлагаем нашим читателям интервью с польским поэтом. Взял интервью представитель «Континента» на западном побережье США Виктор Соколов.

Под утро 9 октября на уютный домик в Берклийских холмах обрушился шквал телефонных звонков. Первым прорвался какой-то проворный репортер из Токио: «Господин Милош? Вы — лауреат Нобелевской премии по литературе за 1980 год!..» Что испытал в эти ранние часы без малого семидесятилетний профессор славянского факультета Калифорнийского университета польский поэт Чеслав Милош — невозможно дознаться. А хотелось бы. Случай-то явно незаурядный. Политэмигрант, живущий в Америке и пишущий на странном языке странные стихи. И вдруг —

самая авторитетная награда в литературном мире. Вдруг — вспышка ярчайшей славы и — хоть и ненадолго — внимание всего мира. Полусонная кафедра Берклийского университета преобразилась. В коридорах не протолкнуться от многоязычной репортерской братии, под ногами капканы телевизионных и микрофонных кабелей. Секретарши не успевают класть телефонные трубки: звонят буквально отовсюду, включая Варшаву и Москву. А сам лауреат? Он в тот же день, проведя коротенькую пресс-конференцию, в обычный час отправился в аудиторию на лекцию о Достоевском...

На третий день после пришедшего из Стокгольма известия я позвонил лауреату домой. Узнав, что я от «Континента», Чеслав Милош просто и коротко сказал: «Можете быть у меня через два часа? Приезжайте, поговорим».

Условились, что интервью займет не более двадцати минут. Проговорили без малого час. По-русски.

— Профессор Милош, я могу себе представить, как вам надоело в эти дни говорить об одном и том же, но, учитывая условия, в которых находится наш читатель, отрезанный от средств массовой информации, не согласились бы вы коротко рассказать о себе?

— *Не могу сказать, что я большой любитель рассказывать о себе, потому что в пересказе жизнь человека всегда предстает совсем иной, чем она есть на самом деле. Если же говорить о моей литературной биографии, то начать надо с предвоенного времени, когда я принадлежал к тому направлению, которое принято называть авангардом. Мой первый сборник стихотворений вышел в 1933 году, и тогда критики окрестили меня самым главным «катастрофистом». Так называлась наша литературная группа — «Катастрофисты». О какой катастрофе тогда*

шла речь? Это была середина тридцатых годов: политические процессы в Советской России, с одной стороны, и приход Гитлера к власти, с другой. Со всех сторон на нас надвигалась катастрофа, и мы, молодые литераторы Польши, не могли не предчувствовать грядущих событий, которые определили весь облик двадцатого столетия.

Но я бы хотел подчеркнуть, что это было нечто большее, чем политические предчувствия того, что случилось впоследствии с нашей Польшей, с этой частью Европы, с Россией. Это предчувствие, я бы даже сказал, зиждилось на некоем метафизическом основании.

Почти всю войну я провел в Варшаве, многие мои стихи этого периода были изданы в подпольных изданиях того времени. Еще не смолкли бои, как в 1945 году вышла моя книга «Ocalenie». В течение нескольких послевоенных лет я принимал довольно активное участие в литературной жизни Польши. В то же время находился на дипломатической службе. В 1949-50 гг. в нашей стране произошел известный перелом. Коалиционное правительство было физически уничтожено; в художественной же жизни Польши началась тирания соцреализма. На этом кончился мой роман с новой властью, я порвал с этим режимом. Так начались мои долгие парижские годы.

В 1960 году меня пригласили на один год приехать в Америку, преподавать славянские литературы здесь, в Калифорнийском университете в Беркли. Ну, и вот уже 20 лет я здесь живу и работаю.

— С тех пор, как вы покинули Польшу, был ли путь туда вашим книгам, печатались ли ваши стихи там?

— Меня долго не печатали в Польше, и вообще было даже запрещено упоминать мое имя в печати.

Потом, во время либерализации 1956 года, моя фамилия стала появляться в прессе, но уже через два-три года опять наступил период полного замалчивания меня и моего творчества.

— Мы привыкли, говоря о поэзии, о литературе вообще, искать предшественников, искать в истории литературы корни — духовные и стилистические — того или иного явления. Поэзия Чеслава Милоша — откуда ее корни? Можете ли вы назвать своих предшественников и учителей?

— *Для меня самого безусловно то, что корни моей поэзии прорастают из старой польской поэзии XVI века, из в том же столетии сделанных переводов Библии; ну, потом, конечно, я себя вижу в Мицкевиче...*

Если же брать мою поэзию как часть сегодняшней польской поэзии, то придется принять во внимание движение польского авангарда, к которому и меня зачастую причисляли. О том, что из польского стихосложения мы совсем выбросили рифмы и метрические формы, вы знаете. Я думаю, что мы это сделали не напрасно. Польский язык не настолько удобен для ритмической поэзии, насколько ваш, русский. Это два совершенно разных славянских языка, в них действуют совершенно противоположные принципы. И в этом смысле направление так называемого авангарда оказало очень, я считаю, благотворное влияние на польскую поэзию. Но творчество самих авангардистов было слишком формалистическим, оно было заключено в слишком узкие рамки внешнего эксперимента.

Я и моя группа «катастрофистов» — мы были тогда очень молодыми людьми. А в Германии приходил к власти Гитлер, и вся Европа жила ощущением чего-то страшного, надвигающегося на нее. Поэтому

мы жадно интересовались философией, политикой, пытались постичь космический масштаб всего происходящего в нашем двадцатом столетии. Может быть, именно этим объясняется, почему я как профессор славянских литератур заинтересовался Достоевским: он тоже ощущал свой девятнадцатый век как событие космического размаха...

Несмотря на то, что я и мои друзья-«катастрофисты» использовали некоторые достижения польского авангарда, мы делали это не без иронии и, я бы даже сказал, с некоторой насмешкой, потому что мы ясно отдавали себе отчет в чрезвычайной узости этого, чисто формалистического подхода к поэзии, к литературе как таковой.

— А какова дальнейшая человеческая и литературная судьба членов группы «катастрофистов»? Стал кто-нибудь из них настоящим поэтом?

— *Да, но далеко не все. Были среди них и хорошие поэты, но я бы сказал, что многие из них в молодые годы задержались в своем развитии.*

— Русские читатели хорошо знают и горячо любят польскую литературу. Особенно созвучна нам польская поэзия, которая настолько выросла в поэзию русскую, что мы зачастую забываем о том, что стихи польских поэтов мы читаем — в переводах. Когда русский читатель встретится, наконец, по-настоящему с поэзией Чеслава Милоша, услышит ли он в вашем голосе знакомые и дорогие голоса Словацкого, Мицкевича, Тувима?.. Или же это будет нечто совершенно новое и непривычное для нас?

— *Нет ответа на этот вопрос, который я мог бы дать с полной уверенностью. Я думаю, что в Польше мои стихи понимают, чувствуют корни*

моей поэзии. Но моя поэзия очень, очень трудна для восприятия. Вот, если взять такого поэта XIX века, как Норвид, — он тоже, я полагаю, мало подходит русским...

— И все-таки в последние годы русские поэты стараются его перевести, а русские читатели — понять.

— *Возможно, что это получится, возможно. Но, говоря о польской поэзии вообще, я думаю, что на ней сказалось сильнейшее влияние Ренессанса; а быть может, даже еще более сильное — барокко. И вот мои стихи, многие из моих стихов — это иронические стихи, очень иронические, в них несколько этажей иронии, можно сказать. Польские молодые читатели это распознают очень хорошо, для них мои стихи, моя ирония — как для рыбы вода. Но я не знаю, доступно ли это в переводах. Этого я не знаю совсем. Дело, видите ли, в том, что эта ирония, она очень исторична в том смысле, что вся держится на аллюзиях к польской поэзии прошлого.*

— А кто-нибудь из русских поэтов уже предпринимал попытки перевести вас?

— *Иосиф Бродский и Наталья Горбаневская.*

— Вы считаете их опыты удачными?

— *Я думаю, да. Но, я повторяю, меня, мне кажется, очень, очень трудно переводить. И вообще, я думаю, что переводить с польского на русский и с русского на польский — это трудновато. Потому что сталкиваются два совершенно разных принципа поэзии, совсем разных.*

— Но ведь при этом у русских и у поляков так много общего в миросозерцании, в историческом опыте, в культуре. Должна же эта общность и в литературах наших как-то проступать.

— В миросозерцании — да. В историческом опыте — да. Но в языке мы очень отличны друг от друга. В опыте безусловно много общего, потому что для нас... Вот меня тут спрашивали американские журналисты, считаю ли я себя политическим писателем. Я ответил: нет, не считаю. И тут же звонят из Варшавы, и варшавский уже журналист спрашивает: «Вы сказали американским корреспондентам, что вы не политический писатель. Это так?» Я отвечаю: да, конечно, но ведь вы понимаете, что в Америке понятие «политический писатель» — это совсем не то, что в Польше, потому что вся наша литература, вся наша поэзия в каком-то смысле сугубо политическая. Так же, кстати, как и ваша, русская.

— Ну конечно: поэт — пророк, учитель...

— Да, да!

— В эти дни вы внезапно получили доступ ко всем микрофонам и во все печатные издания мира. К вам без конца пристают репортеры и все просят вас что-нибудь поведать миру. А есть ли у вас что-то такое, чего вам раньше никак не удавалось донести до людей? Что вы стараетесь сказать людям в эти дни?

— Вы знаете, я думал об этом. И я пришел к заключению, что не могу выразить что-либо важное в форме, приемлемой для репортеров, для телевидения, потому что все мною сказанное почти обязательно будет испорчено, искажено. А как писатель я знаю, что со словами надо быть очень осторожным,

когда говоришь или пишешь. Когда я пишу, я знаю, что мои слова находятся под моим контролем, я знаю, что я говорю то, что я хотел сказать. Но когда я выступаю и они слушают, я совсем не знаю, во что могут обратиться мои слова. Да, я хочу, конечно, хочу сказать много вещей. Но не в таком шуме, как сейчас. Это во-первых. А во-вторых, я должен сказать, что я никогда не искал такой славы, такого всеобщего признания. Я, знаете, всегда был писателем очень камерным.

Во время войны, под немецкой оккупацией, я работал в подпольной прессе и издал там антологию антигитлеровской поэзии. И я видел, как происходило что-то очень странное: самые хорошие в смысле пропаганды против оккупации стихи были не очень хорошими стихами в поэтическом плане. Вы знаете, какое это было время, вы знаете, что происходило в Польше, чем была Варшава тогда, — Варшава была самым последним кругом ада, европейского ада. И вот уже тогда, даже тогда я искал в моих стихах, которые были как раз обо всем этом, искал какой-то формы, артистической формы. А это очень трудная задача. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что я не могу прямо так сказать то, что я думаю и чувствую. Это не в природе моего таланта и моего подхода к жизни. Это вы, русские, любите сказать прямо так все, что думаете.

— Но было у вас то чувство, о котором пишет в своих воспоминаниях Солженицын, вы помните, когда он рассказывает о получении Нобелевской премии Пастернаком и о вынужденном отказе последнего от этой награды. Солженицын, помните, рычал: «Мне бы эту премию — я бы им все сказал!..»

— Он и сказал все.

— А у вас такой тоски, такой жажды быть услышанным не было? Вы говорили все, что хотели сказать?

— Я говорил, я говорил. Я же написал книгу, которая называется «Порабощенный дух». И я там многое сказал, я вообще многое сказал в своих книгах, которые давно уже, еще в 50-х годах, были написаны и изданы.

— И были услышаны, вы считаете?

— Да, я думаю, был. Но только в узких кругах. Конечно, теперь выпустят новые издания этих книг, и много людей услышит то, что я говорю. Я, знаете, не стесняюсь, у меня нет никаких, как это говорится, психологических тормозов, но я знаю, что я предпочитаю написать, а не произнести то, что я думаю и чувствую.

— Россия и Польша. Польша и Россия. Совершенно уникальное, на мой взгляд, явление любви и ненависти, дружбы и соперничества. Русский поэт Булат Окуджава в одном из своих стихотворений так и поёт, что мы связаны «давно одной судьбою...» Отбросив в сторону современные преходящие политические обстоятельства, можете ли вы сказать, в чем вам, польскому поэту, видится эта «связанность одной судьбой»? И что мешает этим связям?

— О, это трудный вопрос! Это трудная проблема, потому что говорить лишь о славянской дружбе и о славянском соперничестве — этого явно недостаточно. Вы знаете, что Польша и Россия шли разными путями. Но все-таки есть и общее: и вы, и мы стоим перед Западной Европой, мы с вами близки, а Западная Европа — нечто иное. Это парадокс, конечно, потому что Польша, можно сказать, западная

страна, если смотреть с вашей стороны, но, глядя с Запада, Польша вместе с Россией — это Восточная Европа. И этот парадокс, мне кажется, многое объясняет.

А потом ведь надо не забывать про существование мессианской идеи, про русский мессианизм и польский мессианизм. Я признаюсь, что очень критически отношусь к русскому мессианизму, потому что у меня не менее критический взгляд и на мессианизм польский.

— Сегодня мы, русские, и здесь, в Зарубежье, и, я верю, там, на родине, с восхищением и надеждой смотрим на Польшу. Я уже говорил про польскую поэзию, которую мы читаем и почитаем. А надо ведь еще сказать и про Польскую Церковь, удержавшуюся на высоте и удержавшую в себе верующий народ. И избрание на Римскую кафедру польского кардинала Войтылы не воспринимается иначе, как некая мистическая коронация этого трудного подвига Польской Церкви. А теперь вот и рабочие Польши дали всему миру прекрасный урок несломленности. Не кажется ли вам, что вся эта череда польских событий имеет некоторый высший, нам, возможно, непонятный смысл?

— Я думаю, имеет. В Польше, знаете, есть много общественных течений и нет одного-единственного русла, по которому бы шло развитие событий. Но я должен признаться, в чем заключается для меня самая большая перемена в общественном сознании поляков. Перед войной, если вы возьмете писателей, художников, ученых, была в Польше определенная интеллектуальная среда, которая очень не любила католическую Церковь. А польская католическая Церковь — я, пожалуй, не скажу, что сотрудничала, но все-таки ориентировалась на правые националистические партии. Прямо скажем, совсем немного

было тогда в Польше художников, поэтов, писателей, которые бы считали себя католическими писателями или художниками. Была какая-то граница, какая-то пропасть между интеллигенцией и Церковью. И вдруг теперь, в самое последнее время, произошло что-то очень интересное. В последние десятилетия Польская Церковь, конечно, очень многому научилась, опасные условия существования и откровенный террор правящей партии закалили Церковь, дали ей новую, совсем новую силу, и сама Церковь переработала себя внутренне. И мы видим, что в Церкви и вокруг нее появились очень интересные молодежные круги, группы религиозно настроенной молодежи.

С другой стороны, все те, кто в предвоенные годы придерживался левых убеждений, ориентировался налево, теперь они приблизились к Церкви. И это парадокс: теперь, в последнее десятилетие, в католических публикациях все чаще встречаются имена всех тех, которые прежде были атеистами, марксистами, агностиками и т. д.

Важную книгу об этом процессе написал Адам Михник. Это «Церковь, левые, диалог»*. Это очень важная книга для понимания того, что происходит в Польше, там он говорит как раз об этих переменах, об изменении отношений между интеллектуалами и Церковью. Михник рассказывает, как те, кто, будучи коммунистами, в свое время считали Церковь оплотом реакции, начали пересматривать свое отношение к ней и буквально недавно пришли к убеждению, что именно Польская Церковь на протяжении всех этих лет была оплотом доверия и сохранения прав человека. Это очень значительная книга.

* Недавно эта книга вышла в русском переводе в лондонском издательстве Overseas под заглавием «Польский диалог: Церковь — левые». — Прим. ред.

— Следите ли вы за тем, что делается сейчас в русской литературе? Кто из русских литераторов вам особенно близок и созвучен?

— Я, к сожалению, не могу сказать, что читаю очень много из современной русской литературы. Кто мне созвучен, так это Иосиф Бродский. Может быть, это потому, что он мой друг, а может быть, он мой друг потому, что он хороший поэт, и я его очень уважаю. Могу также сказать, что я большой поклонник Надежды Мандельштам. Ее воспоминания я считаю одной из величайших книг двадцатого века. Я знаю, говорят, что Н. Мандельштам часто несправедлива в своих суждениях, она пишет о людях такие вещи, которые могут обидеть и рассердить. Но это, по-моему, не имеет большого значения, это все проходное. Но тот громадный опыт, которым пропитана эта книга, это просто что-то фантастическое! Вы согласны со мной? Но, конечно, перечислять фамилии писателей неприятно, потому что кого-нибудь все равно забудешь упомянуть, и это будет, я чувствую, несправедливо.

— Из двух упомянутых вами имен одно принадлежит поэту, живущему в изгнании. А может ли литература жить в изгнании? То есть ваш случай — является ли он исключением или все-таки это нормальное явление?

— Ну, если иметь в виду, что вся польская поэзия в XIX веке была в изгнании, то это не такое уж и исключение. Это во-первых. А во-вторых, известна такая легенда, такой миф, что изгнание, эмиграция — это смерть для писателя. Я, знаете, могу в это поверить. Очутившись в начале 1951 года в Париже, я был убежден, что для меня как писателя все кончено. Читателя у меня нет и не будет. И я был прав: чита-

теля у моей поэзии на Западе не было. Я писал польски, а поляки, жившие здесь, на Западе, ничего в моих стихах не понимали, ничего... Прошло тридцать лет, и те же самые стихи стали понятны.

— Кому? Тем же полякам?

— *Ну, не тем же — новому поколению. И новому поколению не здешнему, не на Западе, а тем, кто там, в Польше. Но ведь понадобилось сколько времени ждать этого!.. А пока я, когда мог, писал стихи, когда стихи не писались — сочинял прозу, тем более, что прозу можно переводить. С переводами мне, надо сказать, везло.*

— На прощание, профессор Милош, что бы вы хотели со страниц «Континента» сказать специально для русских читателей журнала?

— *Мне хотелось бы сделать все возможное, чтобы воздвигнуть мосты дружбы, взаимопонимания и доверия между нашими народами. Вы сами сказали, что отношения между русскими и поляками очень сложные: любовь — ненависть. Наверное, я очень типичный поляк, потому что я люблю русских и не люблю Россию. У меня очень хорошие отношения с русскими, я чувствую себя очень хорошо, когда я с русскими. Но я не люблю Россию — что поделаешь?*

— Вы верите, что мы будем свободны — и поляки, и русские?

— *На такой большой вопрос у меня нет ответа.*

Интервью провел 13 октября 1980 г. в Беркли
Виктор Соколов

МИЛОШ Чеслав — поэт, прозаик, публицист, родился в Литве в 1911 году, окончил Виленский университет. До войны член виленской поэтической группы «Жагары». Во время оккупации участник культурного подполья, составитель подпольной антологии стихов «Независимая песнь». В 1951 году, будучи на Западе, стал невозвращенцем, выпустил книгу «Порабощенный дух» — о том, как коммунизм подчиняет умы и души. Автор многих сборников стихов, эссе, повести «Долина Иссы», постоянный автор журнала «Культура», а в последнее время — и самиздатских журналов. Профессор Калифорнийского университета в Беркли, переводчик английских, американских и французских поэтов, переводчик польской поэзии на английский язык, автор трудов по истории литературы. В 1980 награжден Нобелевской премией как поэт, «который с бескомпромиссной пронизательностью раскрывает угрожаемое положение человека в мире, полном насильственных конфликтов».

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— ДМ, или 25.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

В течение последних лет редакция нашего журнала проводила устные и письменные опросы своих авторов и читателей с целью изучения проблемы оплаты публикуемых материалов и пришла к выводу, что в настоящее время назрела необходимость изменения системы гонорарной практики «Континента».

Отныне нами вводится новая шкала оплаты авторов, в соответствии с которой материалы, получившие наибольший читательский отклик и максимальное распространение в иноязычных изданиях журнала, будут вознаграждаться по более высоким ставкам.

Мы уверены, что это будет способствовать стимуляции творческих исканий наших авторов и дальнейшему повышению уровня «Континента».

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГ

Дорогой Чеслав Милош!

Вместе с нашими польскими друзьями радуемся решению Шведской Академии. Воистину награда увенчала достойного. Русский читатель знает Ваше имя, но почти не знает Ваших стихов — главного труда Вашей жизни. Будем надеяться, что наша давняя публикация Ваших стихов в переводе Бродского — лишь первая ласточка, которая несла русским читателям глубину, мудрость и сложность Вашей поэзии, дав им лишь почувствовать, ощутить. Новые переводы, новые публикации позволят их узнать.

С надеждой на плодотворное продолжение сотрудничества

«КОНТИНЕНТ»

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГ